

А. Игумнов

ПУ  
ЗЫ  
РИ  
*жазна*

РОМАН

Улан-Удэ  
НоваПринт  
2019

УДК 882  
ББК 84(2Рос=Рус)кр  
И286

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии»

Редактор: Хандарова О.  
Корректоры: Лазарева Э., Дабаева С.  
Орфография и пунктуация частично авторские

**И286** В книге представлен новый роман А. Игумнова «Пузыри жизни», написанный в конце 90-«х» годов XX в. В романе рисуется отчасти реалистическая, отчасти фантастическая картина жизни России и большого сибирского города на протяжении нескольких веков.

ISBN 978-5-91121-292-6

УДК 882  
ББК 84(2Рос=Рус)кр

© А. Игумнов, 2019  
© ГАУК РБ «Национальная библиотека РБ»

*Шатов, понимаешь  
ли ты, как хорошо жить  
на свете!*

*Штабс-капитан  
Игнат Лебядкин  
(взревев)*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I. О ПЕТРЕ

«Что искал Фулер в доме Слокана?..»

Начинался первый по-настоящему теплый весенний день, когда пробудившаяся природа – одно сплошное радостное иносказание. Норные земляные муравьи в эту пору дружно раскупоривают запечатанные на зиму норки, пыльные воробьи трещат, тучей перелетая с куста на куст, ласточки режут острыми крыльями высокие небеса, рыбы в сибирских реках всплывают из мутных глубин. Над Мысковью<sup>1</sup> же простиралась темная, влажная, тревожащая ночь. По центральным проспектам, не ведающим сна, струились желтые потоки иллюминации, ущелья между домами спящих окраин чернели провалами во времени и пространстве – в самое вечность, дубы и

---

<sup>1</sup> Раз «Москва» восходит к древнерусскому «мысь» – «белка», то так и следует ее называть – «Мысква»; сравни в «Слове о полку Игореве»: «мысью по древу, серымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ под облакы», то есть именно «мысью», белкой, но не «мыслью», как в мусин-пушкинском издании 1800 г. – Здесь и далее примечания автора.

клёны в таинственных парках расправляли ветви с набухшими почками, собираясь с силами для тяжкого цветения, и, пронзая низкие ночные облака, плыл над варварской столицей бетонный шпиль Останкинской башни.

С ее высокой стальной антенны, покрытой капельками высотной росы, сорвалась радиоволна, одна из множества. Протолкавшись сквозь скорбные сводки грозных новостей, звяканье и щебет музыкальных передач, монотонную членораздельность служебных прогнозов погоды, по черной ночной стратосфере она устремилась навстречу встающему далеко на востоке солнцу, вздрагивая и колеблясь от шорохов и скрипов северных сияний над полюсами, и скользнула по антенне «Океана», радиоприемника первого класса качества. Передавали классический английский детектив, а добротный надежный «Океан» стоял у Петра на холодильнике, поблескивая хромированными железными панельками. За панельками что-то напряженно происходило. Транзисторы и какие-то резисторы за ними выцеживали и ловили неощутимые колебания эфира, опутавшего Землю, как облаком, чтобы вернуть им вещественность и звучание. Уловив волну, полторы секунды назад сорвавшуюся с Останкинской антенны, пропарывающей небо за четыре тысячи километров отсюда, транзисторы заставили ее продираться по чащобе проводков и сопротивлений, вновь превращая ее в живые звуки, какими она была несколько лет назад, когда ее записывали в студии, и выплеснули ее, преображенную, на мембрану динамика. Черная бумажная кожица мембраны мелко задрожала и провещилась:

– Что искал Фулер в доме Слокана?..

И донесла интригующий вопрос до чуткого слуха Петра.

Петр был сильный тридцатитрехлетний мужчина чуть выше среднего роста и от природы хорошего телосложения. Все его достоверные прадеды ковыряли землю сохой, и у них была широкая кость и толстые ступни с короткими пальцами. Такими ступнями хорошо наминать черную, мягкую, жирную землю, полной грудью вдыхая сильный запах работающей лошади, слушая чирканье лемежа по камешкам и тихонько попердывая от трудовых усилий и напряжений. В Петре же возродился дикарь, прирожденный охотник на мамонтов и диких оленей: он был строен, в меру мускулист и ши-

рокоплет, а его грудная клетка легко перекачивала литры воздуха, сколько нужно для бега на километр, на два, на три, пока изнемогший олень не упадет замертво.

Еще у него была чистая шелковистая кожа, умный, веселый, ласковый взгляд и сладострастные губы. Родись он маленькой курносенькой девочкой, родители назвали бы его нежным именем Аленушка, он полюбил бы платочки и бантики, но он родился маленьким крепким мальчиком, ему дали каменное имя Петр, и он полюбил пинать звонкий футбольный мяч. У него сформировался красивый и мощный череп, и с закрытыми глазами он был прекрасен, как спящий Аполлон.

Нежность и целомудренность, силу и мужественность – вот что чувствовали в нем женщины и тайно томились, заслышав его быстрые уверенные шаги по коридору.

А некоторые, прижимаясь белыми грудками к его мускулистой спине, сюсюкали: «Петру-уша... Петрушечка!» – и быстро целовали его под лопатку.

## **II. ПРАБАБКИ И ПРАДЕДЫ**

Подавая вонючему нищему горячий блин, прабабки Петра, жалостливые крестьянки, вздыхали и поминали усопших тятю и маму. Прадеды, лютые кулаки и снохачи, заводили с нищим обстоятельный разговор. Прадеды осторожно выпытывали, не вышел ли царский указ о переселении. Им грезились вольные земли: пашни до горизонта, бескрайние заливные луга и строевые леса, отданные крестьянству на порубки.

Рыгнув, насытившийся нищий откладывал деревянную ложку и шамкал беззубым ртом, забывая креститься, что где-то далеко на восходе солнца есть божья земля, где баба, отправившись на реку за водой, редко-редко не зачерпнет ведром белорыбицу, где мальчишки бьют дикого гуся палками, а распахать земли можно сколько осилишь. Почесывая в сивых бородах, прадеды рассудительно гудели промеж собой:

- Мирон, а ведь о Беловодье-то я слышал.
- И я слышал, Софрон.
- Пойдем, что ли, поищем? Зря говорить не станут.

– Ну пойдем...

После чего Софрон и Мирон клали в котомки по мешочку сухарей и шмату сала, надевали белые рубахи, вешали на жилистые шеи ладанки, крестились на засиженного тараканами потемневшего Спаса и отправлялись навстречу солнцу, на восточные окраины молодой империи, мужавшей с кровавым гением Петра.

Проходили по деревне цыгане и крали лошадей и детишек; цыган догоняли и били смертным боем. Объявлялся нечесаный пророк и предвещал пришествие царя-антихриста; пророка забивали в колодки и навсегда прятали в каменных подвалах Соловков. Случался недород, и в муку подмешивали лебеду и опилки. Прискакивал охлюпкой пастушок, кричал: «Башкирцы! Башкирцы!», – и в деревню чинно въезжал крестьянский царь Петр Павлович в красном казакине; крестьянский царь вешал седоусого барина на воротах барской усадьбы и объявлял волю крестьянам. Ставили на постой полк охальников-солдат, и крестьянские девки учились целоваться по-городскому. Находили подметные грамотки с пририсованным от руки топором, и из деревни под конвоем увозили молодого гордого разночинца в смотрительных стеклах и смазных сапогах. Давали волю, но не давали земли. Начиналась война, и мужики уходили из деревни в белых смертных рубахах. Когда их уводили, старухи причитали над ними, как на похоронах, чтобы их тела не остались лежать неоплаканными:

Как сегодняшним господним божьим денечком  
Во несчастный час, во злу эту минуточку,  
Уж как приняли бурлакушков молодых  
Во приемную палату белокаменну,  
И их подбрили-то удалых добрых молодцев  
И во злодейную во службу государеву.  
И тут сводили в божью церковь посвященную,  
И приводили их к присяге вековой,  
И тут повыдадут им ружьица тяжелыи,  
Их отправят в путь-дороженьку незнамую...

«Завыли, старые!» – смеялись белыми зубами молодые парни, а мужики постарше в тоске отворачивали лица. Бабы в белых ко-

сынках льнули к ним, гладили их руки и плечи, заглядывали им в глаза, чтобы нагладиться и насмотреться на всю оставшуюся вдовью жизнь. Война не заканчивалась, но с нее возвращались солдаты – озлобленные дезертиры, сифилитики и калеки; они сосредоточенно рубили топорами венские стулья в барской усадьбе, крутили толстые самокрутки из пожелтевших листов семейной хроники и толстым слоем гадили на наборный паркет в разоренной гостиной.

А потом на железном тракторе «Фордзон-Путиловец» в деревню въезжал веселый пролетарий в тельняшке и очках-консервах. Путиловец забирал ненужную волю, устраивал коммуну, упразднял кулачество, и его быстро пропарывали вилами на гумне, выпуская его молодые кишки на унавоженную землю.

И, позабыв о кипарисных деревьях, виноградных ягодках и соловушках во темных лесах, подлая деревня заунывно завывала:

На горе – колхоз, под горой – совхоз,  
А мне миленький да задава-ал вопрос...

Может ли колхозница полюбить единоличника и подкулачника?  
На что эмансипированная милая резонно ему отвечает:

А я – колхозница, не отрицаюся,  
А любить тебя – не собираюся!

А нищие все ходили и ходили по земле. Вековую мечту о привольной жизни они не сберегли, но, проходя мимо протянутой руки или лежащей кепки, Петр всегда клал в руку полтинник, а в кепку бросал двугривенный.

– Спаси ты Христос, милый! – крестили Петра полуслепые нищенки, а мужики-нищие, одноногие инвалиды, еще ниже опускали седые головы над кепками на заплыванном асфальте и глубже затягивались замусоленным бычком.

### III. О БАНАНАХ

#### 1

---

От счастливого пионерского детства в памяти Петра лучше всего сохранились тревожное пение помятых пионерских горнов и мягкий вкус толстых спелых бананов. В горны дудели заносчивые мальчишки-горнисты, а бананы ему однажды привезла в лагерь материна подруга – огромная тетка. Тетка вывела его за ограду, усадила на пригорок и принялась угощать. Сидя рядом с нею на травке, Петр задумчиво и внимательно наглаживал ее голени, удивляясь их необыкновенной твердости и костяной прохладности, пока тетка не отвела его руку, сказав ему зачем-то, что это нехорошо.

Что «это» нехорошо, она торопливо напоминала себе. Ее немолодые усталые ноги проснулись от невинной ласки, и ее сладко потянуло поерзать и подсунуться под скользящую детскую ладошку коленками и бедрами. Но она испугалась, что ласкающий ее мальчик тоже потихоньку возбуждается и замирает, и Петр впервые почувствовал отвращение к мягкому пожилому женскому телу и бабьему волосистому запаху; потом, наевшись ее бананов и пряников, Петр громко пернул на пионерской линейке.

Еще в его памяти остались муравьиные норки прямо посреди дорожек и тропинок, плотно утопанных сандалиями и кедами.

По вечерам горны на все лады выводили пронзительно-грустное: «Спа-ать, спа-ать по пала-атам, пионерам и вожа-атым...». И юные студентки-вожатые, торопливо уложив по кроватям «мальчишек с грязными письками», убегали из спальных корпусов, не в силах противиться губительным соблазнам знойных дней, теплых ночей и маечки, без лифчика надетой на горячее тело.

#### 2

---

Растут бананы высоко,  
Достать бананы нелегко...  
Хочу банан!  
Хочу банан!



Распевали на студенческих пирушках девушки – одноклассницы Петра. Девушки были симпатичны и стройны, стыдливы и целомудренны.

А я на елочку залез,  
Достал банан и снова слез.  
Хочу банан!  
Ешшо хочу!

Выводили они дальше. Банан в их робком девичьем воображении был длинен, толст, горяч, и девственницы пели о нем с тайным, мучительным, жгущим сладострастием.

---

### 3

---

Дворовая жизнь моего детства и отрочества вспоминается мне подобной морю в разрезе – оно все целиком умещалось на красочной картинке из «Детской энциклопедии»: в пронизанных солнцем водах мелкой тропической лагуны снуют под родительским присмотром косяки мелкой беззаботной рыбешки, а в мутных глубинах за прибрежным шельфом ползут по дну кошмарные порождения си-лурийского периода, покрытые ядовитой слизью. Когда Петру было лет одиннадцать-двенадцать, из этого мрака однажды вынесло к поверхности замусоленную колоду самодельных порнографических карт. Так он впервые познакомился с древнейшим искусством, о существовании коего уже подозревал: однажды в гостях его молодым родителям покрадче от него сунули полистать потрепанную тетрадку. За похождениями неутомимого Луки Мудищева родители жадно и торопливо следили с напускным негодованием, искренним смущением и здоровым неутолимим любопытством.

Детские стишки:

Одиныжды один – приехал гражданин.  
Одиныжды два – приехала жена.  
Одиныжды три – в комнату вошли.  
Одиныжды четыре – свет потушили...

Не уверен, чтобы они волновали его как-то по-особому. Он бормотал их механически, больше увлекаясь складным подсчетом событий, да еще, конечно, из безотчетного ориентировочного рефлекс, уясняя для себя, откуда он взялся: Одиныжды десять – из ... ребенок лезет; это «лезет» просто потрясает неодушевленным натурализмом.

Но те карты – совсем другое, к двенадцати годам он уже созрел, чтобы наполнить их сокровенным смыслом; в самой-то по себе голой женщине его не больше, чем в голом мужчине.

Голые груди этих давалок томили Петра меньше всего, он всматривался в их порочные развратные лица. Укладываясь на разложенном диване с клетчатым покрывалом, они выставляли напоказ свои нечистые прелести, возбуждаясь от своей доступности и бесстыдства. Квартира, где все это происходило, точно была где-то в соседнем доме, а фотографировали сами же какие-то наши парни постарше, невообразимые гнилозубые хулиганы. Так эти недочеловеки выражали презрение к человеческой культуре. Потом парни выпивали на кухне водки, со скотской ухмылкой подходили к дивану, спускали штаны, вынимали шланги, давали их надрочить<sup>1</sup>... Обрыв пленки: что должно было произойти дальше, теоретически Петр, конечно, был более-менее в этом уже подкован, но в чувственно-наглядных образах представлял это себе еще как-то смутно.

Да что карты! Года примерно через два во двор стала заходить живая блядь – несчастная девочка лет тринадцати. Ее сразу вводили в подвал в заброшенную кладовку, распивали там с ней пару бутылок портвейна, по-быстренькому улещивали ее снять трусики, лечь на спинку, раздвинуть ножки, и дальше не обрыв пленки, а похабный гогот очевидцев и участников. Свой мокрый банан бедная девочка вкушала среди труб и миазмов.

Петр в подвал не спускался, хотя мог бы.

– А на ... она мне нужна?! – энергично поинтересовался он, словно и на самом деле добиваясь от Обуха ответа.

Обух, этот малолетний пьяница и дегенерат, с гордостью смаковавший, как однажды он выжрал столько, что к утру обгадился, отвел взгляд и кое-как замял тему. Он был старше Петра на целый год и фи-

---

1 От сев. русского диалектизма «дрочушка» – ласка.

зически вовсе не слабак, но недавно Петр вступил с ним в отчаянную мальчишескую драку до синяков, до крови, до полного изнеможения. Причины и исход драки тут не важны, важен сам ее факт, и теперь Обух немного даже заискивал перед ним и уж точно готов был уважать его мнение. (Тем более что в глубине души сам его разделял. Ему было-то всего пятнадцать, он заканчивал восьмой класс и жил пока в двух мирах сразу. В одном мире стайками ходили чистенькие, нарядные, умные, гордые девочки из хороших семей – его одноклассницы в том числе, в одну из которых – самую гордую – он наверняка был платонически влюблен. В другом были подвалы, портвейн, приводы в милицию и такие вот давалки. Эти два параллельных мира пересекались пока в его сознании безо всякого ущерба для него. А через год он сядет в тюрьму по малолетке и уж там окончательно определится, к какому миру все-таки принадлежит. Они обворуют детский сад. Утащат из детсадовской кладовки две огромные аптечные бутылки с нашатырным спиртом. При свете спички кое-как разберут на этикетках: «Спирт наш» – и загогочут радостным шепотом: «Наш спирт! Га-га-га!».)

Я же стоял рядом и молча восхищался моим великолепным другом. Нам тогда было... ему – четырнадцать, мне – тринадцать, и мы уже покидали солнечное мелководье, заплывая в холодные опасные глубины. Петр уверенно рассекал их молодой акулой, лучше – молодой касаткой (млекопитающее все-таки, не холодная древняя рыба), ну а я с опаской держался у него в кильватере. Если бы он принял предложение Обуха (а мог бы!), чего доброго мне пришлось бы последовать за ним, не помня себя, с туманом перед глазами, судорогой в горле, холодным ужасом в сердце, тошнотой под ложечкой, ядовитым медом в паху.

Я тут назвал его другом, но правдой это, конечно, было лишь на одну половину – мою. Просто мы жили на одной лестничной клетке, ходили друг к другу в гости, обменивались журналами и книгами, играли в шахматы и обсуждали какие-то важные вопросы. Как он потерял невинность, я знаю точно.

Он потерял ее в семнадцать лет, и со зрелой женщиной двадцати трех лет, правда, тоже не в постели, а в подъезде в два часа ночи. «Нет-нет, шепчет, что ты делаешь! – посмеиваясь, вспоминал Петр. – А сама ногу задирает, чтоб мне было удобнее». Дальше этой ноги он в своем

рассказе, разумеется, уже и тогда не позволял себе зайти. Тем более что тут о блудящую парочку запнулся в темноте припозднившийся мужик, плюнул, выругался и убежал вверх по лестнице, дабы не искушать судьбу. Поздняя осень стояла на дворе, кстати, и парочке пришлось повозиться, избавляясь от лишней одежды.

#### **IV. ЗАМЫСЛЫ ПЕТРА**

Плотно заплетенный кончик пастушьего кнута, уносясь по крутой спирали, на самом конце ее переходит звуковой барьер, и над затихшей землей далеко разносится громкий хлесткий хлопок. Теплые коровы вздрагивают, а прохладные ангелы в небесах ласково улыбаются сверху пастуху, коровкам, молодой травке, жаркому солнышку.

«Га!» – страшным голосом кричит тогда пастух в тяжелом брезентовом плаще, сбивая стадо, и вновь пускает по кнуту сверхзвуковую волну, забавляясь и играя.

Оттаявшая земля дышит и нежно зеленеет, а голубые небеса расчерчены двойным перистым следом микроскопического самолетки, медленно ползущего по стратосфере далеко впереди рева и грохота раскаленных турбин. Почти не слышимый с земли грохот рвет разреженный воздух на большие куски и тяжело сотрясает неизмеримые просторы небесной тверди. У незлобивых ангелов низших чинов, то есть у собственно ангелов да еще, может быть, архангелов и начал, чешутся руки потихоньку сунуть в турбину зазевавшуюся утку, а буйные престолы, господства и херувимы порываются схватить за неподвижное крыло страшного орла и с размаху припечатать тяжелой птицей по прозрачному колпаку кабины, чтобы сверзить боевую машину с небес. Серафимы же, относящиеся к высшему чину небесных бесплотных сил, заняты, как известно, другим: непрестанно поют славу Богу: «Свят! Свят! Свят!» (Ис. 6.3, Откр. 4.8), – и им нет дела до такой ерунды.

Этой зимой Петр по случаю обзавелся семью сотками кочковатой целины в Уточкиной пади. Целину он задумал вскопать под картошку, обнести забором из жердей и построить на ней сарай, чтобы хранить в нем лопаты и укрываться от дождя.

«Какой мужчина пропадает!» – узнав о замыслах Петра, вздох-

нули женщины, слабея коленками. А мужчины заинтересовались: «Зачем тебе холостому сажать картошку?». «Боже, прости дураку», – лаконично отвечал Петр.

И чувствовал, как сверху на него кто-то с интересом и приязнью посматривает. Господу было приятно, что его вспоминает красивый трудолюбивый мужчина, желающий обрабатывать землю в поте лица своего. Чаще-то его поминали полудохлые старухи с мутными глазами и невообразимые гниющие на ходу калеки. На паперть старухи и калеки выползали, шевеля костылями, как пауки.

Глядя сверху на этих, господу хотелось прогнать на всю Вселенную:

– Га! Ничего я вам, уродам, не должен! Я не такого Адама создавал!

И с потягом хлестнуть по Земле длинной, долгой, страшной ветвистой молнией.

## **V. МЕСТОИМЕНИЕ**

### **1**

Петр никогда ничего не искал. «В картах есть тайный ход мастей. В любви есть тайный ход страстей. В мире вещей есть тайный ход вещей. В этом мудрость, – говаривал, бывало, он. – Вещи плывут по реке жизни, как опавшие листья».

Медный рукомойник с фигурной пипеточкой на крышке приплыл к нему на куске брезента. На брезенте были разложены гаечные и газовые ключи, старые электророзетки, мотки проводов и гигантские гайки, поскрученные с каких-то циклопических конструкций. Посреди этих останков цивилизации начищенный рукомойник блеснул, как шлем Ахилла на заросшем бурьяном поле давно забытого танкового сражения.

– Откуда? – спросил Петр, задумчиво указывая пальцем на медный раритет.

– Оттуда, – равнодушно отозвался торговец железным старьем.

На вид торговцу было немного за сорок, он носил стоптанные пыльные туфли, потертый и помятый темно-коричневый костюм, жесткие усы, кожаную кепку блином и курил народные сигареты

«Прима» из мятой пачки. Телосложение у него было истинно пролетарское: он был невысок, узкоплеч, сухопар и жилист. Его деды и прадеды по шестнадцать часов в день тянули из себя жилы, долбя киркой железную руду на демидовских Змеегорских рудниках, выплавляя чугун для пушек петровских преображенцев, клепаая гулкие стальные корпуса дредноутов на верфях Петрограда; по двенадцатым праздникам они шли с утра в церковь, а к вечеру напивались до скотоподобного состояния и люто дрались на площади перед кабаком; остепенившись, рожали детей и скоро вели их к проходной родного завода. Их потомок хорошо был приспособлен к работе с горячим и холодным железом во всех видах и на всех станках: токарных, фрезерных и сверлильных.

Общее выражение его острого лица было тем не менее довольно примечательно. Люди с такими лицами неутомимы в любви и злобе, в драку они вступают без оглядки и, как собаки, верны в дружбе.

– Не жалко?

– А ... ее жалеть?! – оживился торговец.

Когда русскому человеку требуется местоимение высшей степени емкости, он употребляет «ее». Это «ее» объемлет работу, судьбу, страну, вселенную.

---

## 2

---

С тугим звоном вколотив последний гвоздь, Петр изогнулся и, радуясь полноте жизни, метнул топор. Тяжелый топор улетел и смачно впился в сосну.

– Индеец ..., – оценил меткий бросок Василий.

Жилистый, как старая лошадь, и выносливый, как сохатый, он помогал Петру со строительством. Топоры играли у них в руках, мелькая и поблескивая, и забор, сарай и туалет в углу участка выросли за неделю. Своим ладным видом они наводили на мысль, что это только начало и на участке скоро появятся бак для воды, теплица, баня, домик с мансардой и приبلудная кошка.

– А ты думал! – согласился Петр и повесил на гвоздь медный рукомоиник с пипеточкой.

Рукомоиник Василий отдал ему даром:

– Бери так. Я тебя узнал.

Полгода назад Петр вынес из горящего мысковского планетария

двух маленьких девочек, и о нем написали в газетах. Ему тогда тяжело пришлось в Мыске, хотя он только что и вернулся на родину.

– Было ли вам страшно? – допытывалась у Петра молоденькая, веселая, разбитная корреспондентка пронырливой «Комсомолки».

– Нет, – честно отвечал Петр, прямо глядя ей в глаза.

И корреспондентка потрясенно начеркала в блокнотике: «У этого человека вместо невра́ров стальные проволоки». Заметку же свою она озаглавила так: «Сибиряк вынес из огня десять человек». Она так и написала – «невра́ров»; еще она вместо «червяк» любила говорить «чевряк» и мечтала употребить «чевряка» в газете, отведя как-нибудь глаза корректору Степану Трофимовичу, въедливому бдительному старичку в старорежимных синих нарукавниках, – выдумщица и хитрушка!

А в Уточкину Василий увязался за ним сам, бросив провода, ключи и гайки, прихватив только новенький топор и банку с гвоздями-«соткой».

### 3

Сарай у Петра на участке вовсе не был таким уж сараем и курятником. Скорее, его следовало называть маленьким домиком. Трудолюбивый Василий даже пол в нем настелил и поставил железную печурку.

– Как оно все повернется – неизвестно, – мудро рассуждал он, плотно подгоняя доски, – а дом – он и есть дом. Пригодится. Жить, может, еще придется.

Многие видели приبلудных дворняг на разных проходных. Ведомые безошибочным инстинктом любви к человеку, они неведомо как прибиваются к своему месту и живут на нем, пока не попадают под тяжелое двойное колесо «КамАЗа» или не умирают от собачьей старости. Петру случилось однажды зайти по делам на территорию автобазы Читинского<sup>1</sup> райпотребсоюза, и вдруг прямо у лодыжки он услышал злобный собачий лай. От внезапности нападения он отпрыгнул, рассмешив несуразным прыжком шоферов, кутивших на завалинке, но вместо понятного гнева сердце его сжалось от

---

1 Читá – город в Восточной Сибири; нас. – 3,5 млн; металлургия, среднее и тяжелое машиностроение, судостроение; крупный порт – по рекам

жалости к собаке и гордости за человека. Чтобы самоотверженно тяпнуть чужого, собака рывками подтягивалась к нему на передних лапах, волочась по земле мягким желтым брюхом с черными сосками. Собаки, облаивающие человека, рассчитывают в случае чего поджать хвост и спастись бегством (кроме, разумеется, собак бойцовых пород или серьезных овчарок, натасканных на команду «Фас!»). Эта на бегство рассчитывать не могла. Если бы Петр, животное гораздо более крупное, тяжелое и сильное, напал на нее, то забил бы ее ногами с безопасной дистанции, совершенно не рискуя быть укушенным. Вместо задних лап у несчастной болтались короткие культяшки, увертываться она не смогла бы. Лапы ей отдало, когда она в восторге любви бросилась к знакомому самосвалу. Ни у кого не поднялась нога пинками выгнать ее подышать под забором.

Фигуристая подруга Петра Маргарита радовалась домику и обживала его, как кошка. Повесила на окошечко тюлевую занавесочку, застелила стол клеенкой и привезла тарелочки, кастрюльки и стаканчики, какие не жалко, если сопрут.

## VI. О МОРЕ

Раз в неделю Петр вел амбулаторный прием больных в медпункте при городской мэрии. Рядом с медпунктом находился отдел технической обработки информации областного статуправления, и Петр иногда заглядывал туда к девчонкам-программисткам.

– А почему вы ушли? – осторожно допытывались они у Петра причин, по которым он ушел из военно-морского флота. – Платить перестали?

– Исключили из списков как погибшего, – улыбался Петр.

– Как?!

– В шторм меня смыло волной со шкафута, и я полгода жил на необитаемом острове.

– И вас не искали? – замирали девчонки.

– Искали, но не там. До острова я плыл трое суток. Никто не верил, что я продержусь.

– А что вы ели?

---

Шилке и Амуру имеет выход в Тихий океан, по Аргуни и Витиму – в Северный Ледовитый. С 1922 по 1933 год – столица Дальневосточной Республики.



– Кокосы, – смеялся Петр, – бананы, червяков.

И девчонки кривили губки. О его воинском звании они Петра, конечно, не спрашивали. Морская табель о рангах лукавым евиным внукам была недоступна. Они слышали, что бывают лейтенанты, полковники и генералы, и догадывались, что существуют и другие какие-то воинские звания, но если бы спросили их, кто главнее: майор или капитан-лейтенант первого ранга или даже проще – генерал-майор или генерал-лейтенант... Впрочем, мужчину ведь тоже можно спросить, какие колготки носят дольше – Levante или San-Pellegrino.

На острове Петр питался иглокожими червями и двустворчатыми моллюсками, и лишь однажды ему удалось зашибить камнем уставшую чайку.

Из слабоалкогольных напитков в нашем городе большим успехом пользовались в том году пиво «Тамерлан» и винные напитки компании «Винап», из молодежной музыки лучше всего расходились отечественная Лумба и иностранный Кухуллин Руй, а мясо на городских рынках подорожало с начала года на тринадцать с половиной процентов. Об этом Петр узнал благодаря дружеским отношениям с программистками.

– А если не врачом, кем бы вы хотели стать? – спросили однажды они Петра, угощая его чаем со сладким пирогом.

– Комендантом концлагеря.

Иногда он сам боялся своей готовности к запредельным ощущениям. Врачом он стал вовсе не потому, что в детстве подбирал раненых птичек, перевязывал собачкам лапки или сам болел.

– Или архиепископом. Или уголовным авторитетом, – продолжал он перебирать возможные варианты жизни. – Или римским императором.

– А римским папой?

– Нет. Я не хочу быть таким старым.

Девчонки смеялись.

Море Петр любил, но разговоров о нем избегал.

Разве есть в человеческом языке слова для тяжелого шторма в зимнем Баренцевом море? Для всей этой массы воды, воздуха и света, называемой Тихим океаном? Для блаженства, охватывающе-

го моряка, выброшенного прибоем на песчаный пляж неизвестного берега? Для его отчаяния и покоя, когда он видит, что его остров необитаем, что его спасительная твердая суша торчит посреди зыбких пучин Мирового океана, как булавочная головка в стеганом одеяле.

## **VII. СТАРМЕХИ И СТАРПОМЫ**

Лет тридцать назад здесь добывали песок. Когда же его залежи выбрали до водоносного слоя, тяжелые бульдозеры погрузили на могучие КраЗы, и те с натугой перевезли их куда-то в другое место. Из ям в земле просочилась вода, и на месте карьера образовались два чистых закрытых озерца. На берегу большого построили лодочную станцию и небольшой стадиончик с футбольным полем, гаревой беговой дорожкой и деревянной трибуной на тысячу мест, а маленькое озерцо оставили, как было. По ближайшему проспекту озера называли Семеновскими прудами, и на схеме города они были выкрашены в зеленый цвет.

На берегах Большого Семеновского загорали и купались все, а в Малом Семеновском – парни из четырех пятиэтажек по его берегам. Озерцо зарастало камышом, понемногу превращаясь в болото, но зато, чтобы с разбега в него плюхнуться, достаточно было выбежать из подъезда. Парни привыкли считать его своим бассейном и не понимали, почему по воскресеньям они должны уступать его судомоделистам. По воскресеньям моделисты проводили там свои карманные регаты, но в самый их разгар выбегали парни в плавках, с гоготом бросались в воду и принимались плавать, поднимая опасную волну. С берега их пытались урезонить, на что парни недоуменно кричали из воды: «Да мы всегда здесь купались!» – и плескались себе дальше. Они искренне презирали взрослых мужиков, играющих в детские игрушки. Регата прекращалась, и мирные капитаны грозных дредноутов и броненосцев терпеливо ждали, скрипя зубами, пока парни не нахлюпаются до отрыжки.

Петр тоже пару раз приезжал сюда. Его поражали и радовали пушечки главного калибра, способные одним залпом разнести в щепки целую флотилию вражеских лоханок, лесенки на пушечных башенках для канониров росточком с ноготь, шлюпочки размером со спичечный коробок с принайтованными весельцами – послед-

няя надежда отважного экипажа доплыть до спасительной суши, до камышей на далеком другом берегу. «Что ж вы в мореходку не поступали? – мысленно сочувствовал чудакам-моделистам Петр. – Вышли бы из вас неплохие стармехи и старпомы, кавторанги и даже каперанги».

Потом он переводил взгляд на гогочущих парней, безнаказанно плещущихся в своем болоте, и поправлялся: «Ни черта бы из вас не вышло! Настоящие стармехи порвали бы этих уродов, как Тузик тряпку!».

## **VIII. ХИТРЫЕ МУРАВЬИ. О МУЗЫКЕ**

Несомненно, Петр мог показаться блаженным: уходя от подружки ранним утром, когда все спешат на работу и не видят тихой красоты мира, он неторопливо шел по улице, с ног до головы занесенный первым обильным снегом. Холодный осенний дождь не заставлял его убыстрять шаги, когда промозглым вечером он возвращался из библиотеки, или с симфонического концерта, или с театральной премьеры. В скверике у Гостиных рядов он по часу мог наблюдать за мягкими выверенными жестами безработных шахматистов, играющих партию по рублю, не больше, чтобы расплатиться с хозяином доски и часов, но не оскорблять игру королей и мудрецов мятыми пятерками, и послушать их реплики по ходу игры. «Есть ли у нас план? О-о, у нас есть план!» – «Что пешка? Не в пешки играем!» – и как итог всему: «Мастерство не пропьешь!». Перед началом отопительного сезона Петр любил поглазеть на рабочих, торопливо копающих одну и ту же огромную яму в разных частях города, и часто его можно было видеть по вечерам под цветным тентом где-нибудь на тихой улочке в окружении задумчивых друзей и веселых подруг-болтушек.

Когда же ему случалось идти опасной ночной улицей рабочей окраины, походка его и посадка его головы неумовимо менялись. Одну руку он держал в кармане, плечи его чуть приподнимались, спина чуть сутулилась, в походке появлялись дворянжья легкость, неприкаянность и вечная настороженность, а в очертаниях фигуры – общая готовность к немедленному действию. На ночной улице он сам был опасен.

Словом, по реке жизни, протекавшей через его город, Петр уверенно плавал кролем, брассом и баттерфляем; лежал на спине и рассматривал уплывающие звезды над крышами или быстро нырял и выныривал, зажав в руке горсть блестящих бутылочных осколков со дна.

Петр был открыт миру и был поэтому очень наблюдателен и чуток, заплывая на субботу и воскресенье в тихие заводи под белыми березками. В быстрых струях городской жизни он плавал, облаченный в тугие плавки, а в пасторальных заводях, разгребая зеленые кувшинки, плавал голышом, белея красивыми мускулистыми ягодицами. У себя на огороде он не брился, не мыл рук перед едой, в любую погоду ходил босиком и, лишь если было совсем холодно, надевал на голый торс телогрейку.

Он был наблюдателен и чуток, и если бы кто проходил мимо его участка ровно в два часа дня воскресенья, наступившего сразу за той субботой, когда они с Василием закончили строительство, то тому было бы чему подивиться. Посторонний прохожий мог бы увидеть, как Петр на корточках перебирается с места на место, опираясь костяшками пальцев о землю, позой и движениями являя большую обезьяну, изумленную хитрым устройством мира.

Когда он принялся за целину у себя на участке, обнаружилось одно обстоятельство. Хитрые муравьи забросили свои норки посередине участка. Петр полчаса прыгал на корточках с места на место, и ни одной муравьиной норки там не обнаружил. Зато вдоль забора в густых зарослях сухой прошлогодней травы, куда в этом году острая лопата Петра никак не могла бы добраться, муравьиная жизнь кипела.

Петр заглянул к соседу. У соседа муравьи устраивали свои подземные жилища где попало, чтобы погибнуть в них, обрушенных каблуком тяжелого кирзового сапога.

С земляными работами жилистый мастеровой Василий Петру не помогал.

– Трактор пусть ее копает, он железный, – решил Василий и стал сколачивать козлы, чтобы забивать в землю трубу – качать из-под земли воду; ручной насос он выменял на карбюратор от старого «Мысевича».

– Ну и ...? – так он отнесся к наблюдениям Петра, а фигуристая

Маргарита вообще не поняла, что тут такого. Она готовилась кормить мужчин. Тонко нарезаая колбасу, она вполголоса нежно напевала:

Не смотри-и ты так неосторожно –  
Я могу подумать что-нибудь не то...

Петра передернуло. Когда послевоенный голод забылся, на Политбюро ЦК КПСС было решено развивать в стране массовый туризм, и компасы, доступные прежде только геологам, советским офицерам и вражеским диверсантам, поступили в свободную продажу. Для какой-нибудь новой целины и боевых действий в тылу какого-нибудь нового врага требовались закаленные, стойкие к превратностям погоды юноши и девушки, умеющие ориентироваться на пересеченной местности. Молодое невоевавшее поколение тоже нуждалось в собственном подвиге и полезло в горы. Манящий мир подлинного человеческого братства, скрепленного риском, тяжким трудом на туристской тропе и невиданными заоблачными красотами, открыл ему туристские песни под гитару.

Но Петр-то жил в другое время. Что когда-то было подлинным и глубоким, стало поддельным и жеманным<sup>1</sup>, что было искренностью – стало духовным самообнажением, а этого Петр не выносил. «Лучше голый нудист, чем духовный эсктибиционист», – говаривал, бывало, он.

Вообще-то к убогим музыкальным пристрастиям своей жизнерадостной подруги Петр относился снисходительно, он даже не водил ее слушать мужскую музыку – грандиозные симфонии Брукнера, холодноватые концерты Малера и запредельные квартеты Шостаковича. Сильная, гибкая, сложная, немного театральная музыка Сергея Прокофьева, рослого сына провинциального агронома в коротковатых брючках и пиджачке, была Петру, может, и ближе, нежели беспощадные диссонансы щуплого подслеповатого еврея и потомственного петербуржца. Но когда речь заходила именно о мужском начале в искусстве, первейшим проявлением его Петр

---

<sup>1</sup> Ну как, спрашивается, ему теперь на нее смотреть, если он, видно, только к тому и стремится, чтобы она подумала как раз «что-нибудь не то»? И о чем же таком «не том» она сама-то чуть не подумала, о чем даже нельзя сказать вслух? Как она размножаться-то собирается – почкованием?

определял способность, не отводя взгляда, смотреть в мрачные бездны человеческой истории и души. «Истинное искусство – как молеплавание, это занятие мужское, – развивал Петр свою мысль. – А женщина у моря подобна кошке: ее удел – ожидание, и лишь мужчина способен созерцать эти гибельные красоты».

Еще Петр хотел бы побывать на первом фестивале в Вудстоке эпохи истинного, искреннего рок-н-ролла, когда американская молодежь так бурно продемонстрировала миру свое неприятие буржуазных ценностей (обкурившись прежде марихуаны), но для этого ему пришлось бы родиться в другое время и в другом месте.

## **IX. ДВА ПОКОЛЕНИЯ**

Василий еще застал в детстве инвалидов на колесиках. Мелодично позванивая медалями «За отвагу», по будням инвалиды с утра выкатывались опохмеляться к пивным и винно-водочным ларькам, а по воскресеньям вереницами катились на городские барахолки – собирать подаяние в большие солдатские кружки.

После войны ходила циничная загадка. Вопрос: «Без рук, без ног – на бабу скок! Что это?». Ответ: «Самовар». То есть совсем безрукий и безногий. Таких, рассказывали по секрету, держали в специальном интернате в глухих Псковских лесах. Женам «самоваров» милосердно сообщали, что их мужья, ушедшие на войну молодыми и целыми, пропали без вести.

Повзрослев, многие из поколения, к которому принадлежал Василий, сами возвращались домой на костылях. Только их уже не встречали как героев. На вернувшихся смотрели со страхом и редко кто с жалостью. И в очередях им кричали: «Мы вас туда не отправляли!». Или: «Я Родину защищал, а ты чужую землю заедал!».

Сила и молодость в перепалках побеждали, но горький осадок в душе у вернувшихся копился.

Петр принадлежал к другому поколению.

В раннем детстве его отвозили на лето в деревню к бабушке, но он уже не застал бывшего командира партизанского отряда, жившего по соседству. Поздно вечером Девятого мая, когда за столом оставались уже только неугомонные старики и терпеливые старухи, чтобы допеть долгую, как жизнь, неразборчивую песнь, и даже не-

утомимые дети, устав проживать долгий праздничный день, полу-сонно возились на полатах, из последних сил противясь приступам счастливого сна, старый партизан задира л рубашу и, белея в полутемной избе большим израненным телом, показывал шрамы от немецких пуль и осколков.

---

## «МЫ ИХ НЕ ЗВАЛИ»

*Из воспоминаний Николая Мироновича Ткачева,  
бывшего партизанского командира*

«У нас тогда в плену набралось человек сто немцев. Что с ними делать? Расстрелять – патроны по счету, живыми оставить – кормить надо: что мы – фашисты, голодом морить?! Подумали-подумали с комиссаром и надумали.

Выкатили на поляну большой чурбак, на каких мясо на рынках рубят. А над ним приладили вроде молотка другой, поменьше, на длинной жерди заместо ручки, вроде журавля над колодцем. Один немец этим молотком колотит, а остальные подходят и кладут голову на чурбак. Хрясь – и готов, следующего! Как с молотком сомлеет – его самого на чурбак, а заместо него – из очереди кто следующий; тоже ведь пожить еще чуть-чуть охота.

Так они сами себя и переколошматили.

Они знали, что живыми от нас все равно не уйдут. Мы троих-то закопали сначала живьем для демонстрации, долго земля над ними шевелилась. А как иначе? Мы их не звали.

Последнего-то, который у молотка остался, мы сначала оставили. А потом кто-то пожалел его и пристрелил».

## Х. РОМАНТИЧЕСКАЯ МАРГАРИТА

Маргарита, фигуристая подруга Петра, принадлежала вообще-то к неспортивному поколению нашей молодежи. Ее отрочество пришлось на те злосчастные годы, когда строителя нового общества похерили, взамен его белозубой улыбки физкультурника навязав впечатлительной молодежи блядскую улыбочку валютной проститутки. (Песню даже для проституток специальную сочинили, что-то вроде: «Путана, путана, путана...» – и дальше как-то очень трогатель-

но, кто же во всем виноват. Потом ее сочинитель, подсакивая, запел о русских офицерах, а те слушали; гимн о мысковских колоколах сочинил. Стыдобища.) Во младенчестве Маргарита егозила и кувыркалась, как все здоровые резвые дети, но родители усмотрели в ее лягушачьих кульбитах какую-то необыкновенную гибкость и грацию и за ручку отвели в секцию спортивной гимнастики. На высоком узком бревне она играючи крутилась на одной ножке, словно маленькая индеаночка из племени мохавков<sup>1</sup>, «солнышко» на турнике она крутила, как заведенная, по брусьям порхала, как белка, через коня могла перелетать любой частью тела вперед, но... ей захотелось какой-нибудь музыки и красоты. Боль и пот этой квинтэссенции жизни, которую называют спортом, наслаждения ей уже не доставляли. Из спортзала, освещенного будничным дневным светом, она сама собой перетекла в зал бальных танцев, освещенный яркими софитами, а в десятом классе научилась петь под гитару: перебирая тугие струны крепкими пальчиками, задушевно запела со школьной сцены печальные романсы о вуалях, калитках, сиренях и глупые бардовские песни о лесных солнышках. Потом она даже поступила на филфак пединститута, по недоразумению. Она любила, заученно улыбаясь, красиво и быстро двигаться в блестящем обтягивающем платье с глубоким декольте (было ли тогда у нее хоть что-то поверх острых девчоночьих косточек?), всплакнуть о несчастной любви Дианы де Меридор, попеть под гитару при свечах, но никакой тяги к высоким страстям подлинной литературы и холодноватому совершенству синтаксических конструкций человеческого языка у нее не имелось. С глубоким недоумением пролистав кровавую трагедию Шекспира, с отвращением заучив плюсквамперфект старославянского глагола, в зал бальных танцев она врывалась, как каравелла в родной порт, вывесив флаги и паля с обоих бортов.

После института же, без зарплаты проработав год учителем в школе и полгода побегав на посылах на городском радио, Маргарита стала вести секцию спортивного рок-н-ролла в спорткомплексе олимпийской подготовки борцов-вольников.

Олимпийским спорткомплекс назывался по старой памяти.

---

1 Мохавки генетически лишены страха высоты, и их охотно берут в монтажники-высотники.



– Никто теперь не занимается спортом, как англичане, – из любви к физическим упражнениям и благородному соперничеству, – возмущалась Маргарита. – Даже мои девочки не танцуют. Они тренируются. Они все хотят стать супермоделями. Чувство красоты им недоступно, а танцевать человек должен красиво.

– И совсем не способны заниматься на открытом воздухе, – сетовала она. – Без стен и потолка у них пропадают координация и чувство ритма.

– Что ж ты хочешь? – мягко возражал Петр. – Когда Дягилев хотел поставить «Петрушку» Стравинского на Марсовом поле, Нижинский на это сказал: «Современный танец – детище ночных огней большого города. Его нельзя танцевать под звездами».

– Штангисты тоже не могут тягать штангу, если им не за что зацепиться взглядом, – добавлял Петр. – Поэтому они не любят больших залов.

– Мы не штангу тягаем! – не соглашаясь и не понимая, смеялась Маргарита.

Еще она любила обтягивающие кофточки с глубоким вырезом и туфли-лодочки на высоких каблуках. «В кроссовках ты идешь, как нечесаная мымра, – смеялась она, – а на каблуках – вся такая ля-ля-ля!». И при этом кокетливо крутила упругой попкой. Она была очень мила, эта Маргарита. И что с того, что такие, как она, достигнув бальзаковского возраста, слово «мужчина» произносят чаще, чем следовало бы, и любят присовокуплять к нему уменьшительный суффикс. «Какой мужчинка!» – говорят они о большом, сильном и красивом мужике, теплея и обмякая. Пошлость и вообще присуща женщинам.

## **ХІ. БАБУШКА И ДЕДУШКА**

Маргарита была достаточно по-женски умна, чтобы не ожидать и не требовать от мужчин больше того малого, на что они способны. «Да пускай он мне изменяет! – смеялась она в кругу подружек в первые самые радостные и волнующие недели знакомства с Петром. – Лишь бы я не знала. Мужчина – он и есть кобель: пускай себе бегаёт – все равно никуда не денется, приползет, когда захочет». «А ну как не захочет и не приползет?» – подкидывали Маргарите. «Ну и хрен с ним тогда!» – смеялась она, не совсем, впрочем, искренне и

не так уж безоглядно. Ее молодыми устами посмеивалась больше ее покойная бабушка. В молодости бабушка меняла мужчин, как перчатки, мужики липли на нее, как мухи на мед, и страшно дрались под окнами ее вагончика: молодость ее прошла на великих сибирских стройках. «Мой Ваня от меня всех отвалил, – любила вспоминать она. – Он каждый день дрался, а я ему каждый день рукава пришивала. Такой удалец был!» «А потом?» – спрашивала маленькая Маргарита. «А потом – известно, что потом, – смеялась бабушка. – Я тоже не без греха». Тут она вовремя укорачивалась. «А еще потом? – не отступала романтическая Маргарита. – Когда дедушка всех отбил». «А потом твой дедушка за меня принялся», – ласково усмехалась бабушка. – «А ты?» – «А я ему драники пекла, а когда жизнь наладилась, борщи варила». – «А еще потом?» – «А потом он умер, и я его схоронила». – «И ты тоже умрешь?» – «Умру». – «И тебя похоронят рядом с дедушкой?» – «Ну нет, не рядом, хватит, покуражился надо мной...»

Бабушку все равно похоронили в одной оградке с ее куражливым удалцом. Две могилки рядом были оплачены еще при его жизни. С портрета на памятнике дедушка Вася смотрел настоящим орлом, выпятив грудь с орденами и медалями. Их было не так много, но это были все настоящие боевые награды. Он умер прежде, чем ветеранам войны стали давать памятные медали, похожие на настоящие, а их самих называть «выдиранами»: за особые продуктовые пайки на праздники ветераны бились в очередях, как некогда бились за Родину в окопах.

## **ХII. О БАБАХ**

С женщинами Петр был честен до щепетильности. Не спал одновременно с двумя, даже если невольные соперницы никоим образом не могли одна о другой проводить, а в любви признавался лишь в те сокровенные минуты, когда голос мужчины важнее для женщины смысла его слов и она самозабвенно мурлычет, не придя еще в себя от содроганий и восторгов. Но как только его женщины оживали и оживлялись, выпускали понемногу коготочки, вновь обретая способность улавливать осмысленную членораздельную речь, Петр ласково называл их «толстушками», или «плотвичками», или «шоколадками», или еще как-нибудь. Он не подавал напрасных надежд.

Грядущая жизнь его была непредсказуема, как полет буреви́стника.

И по той же причине крайней щепетильности его мужской опыт был не совсем полон, имел один изъян, среди мужчин считающийся едва ли не постыдным, умаляющим мужское достоинство. Целомудренные мужчины об этом меж собой почти даже и не разговаривают.

– Сколько у тебя было целок? – спросил как-то у Петра неугоми́мый Василий.

– Ни одной.

– Значит, бабы тебя любят! Бабам больно, когда им ломают целку.

– Все, что ли, бабы меня теперь любят? – рассмеялся Петр. – Откуда они все-то могут знать, ломал я им целки или не ломал?

– Все! Бабы – как пчелы: чуют, где сладко! – уверенно заявил Василий.

Ну, с этим-то Петр был согласен и как опытный мужчина, и как хороший врач.

Василий в сорок лет был уже однажды разведен и собирался жениться вновь.

– А я без бабы не могу, – покручивая головой, опередил он резонный вопрос, зачем ему, безработному, жениться.

Петр посмотрел на него, подумал и сказал:

– Таких, как ты, можно убивать без особого ущерба для остальных, если убивать пропорционально.

Нечто подобное он говорил пожилым женщинам после операции:

– Вас, стареньких старушек, нужно убивать, чтоб зря не мучались.

– Нужно, Петр Андреевич, нужно. Только уж вы сами нас, Петр Андреевич... – охотно соглашались женщины и с готовностью задирали мятые ночные рубашки, не стесняясь отвислых грудей и складок жира на боках.

### **XIII. МОКАСИН**

К виду больного человеческого тела, некрасивого и часто просто уродливого, трудно привыкнуть даже врачам, и они скрывают страдание за напускным цинизмом, или обращаются к богу и принимают сан, или берутся за перо.

Сдавать документы в медицинский Петр пошел по самому истин-

ному призванию к медицине, какое бывает. Прекрасное, так хитро устроенное человеческое тело волновало и радовало его само по себе.

Рассматривая маленькую височную кость (*ossae temporale*), он, подобно микроскопическому Тезею, мысленно пробирался по прихотливому лабиринту слуховых каналов к ее молоточкам и наковаленкам, тихонько выстукивающим в тишине черепной коробки звуки окружающего мира. Их перестук волновал и радовал его, как капли воды, падающие со сталактита, радуют и волнуют промокнувшего замерзшего спелеолога, в гулкой подземной тишине напоминая ему о весенней капели наверху, под горячим весенним солнцем.

Расправляя мягкие слипшиеся трубочки мелких кровеносных сосудов или широкие гибкие трубы артерий, ведущих от не знающего устали сердца к бессонному мозгу мыслителя или к аккуратным пальчикам на удлинённых девичьих ступнях, он ощущал себя неутомимым и ответственным шариком гемоглобина, крепко ухватившим за бока ленивую молекулу живительного кислорода, чтобы вовремя доставить ее к задыхающемуся *musculus'у gluteus maior* и смеющаяся девушка смогла и дальше бежать по зеленому луку. Этот *musculus*, говоря по-русски, – большая ягодичная мышца.

Эпителий, выстилающий внутреннюю поверхность тонких кишочков, завораживал его воображение зрелищем мириад согласованно шевелящихся микроскопических червячков, высасывающих из вязкой кашицы полупереваренной пищи, поступившей из толстой двенадцатиперстной кишки, нужные организму жирные кислоты.

Молочные железы в мягкой глубине женских грудей, полные молока или жирного молозива в первые дни после родов, приобщали его к теплой тайне человеческой жизни (по-латыни женская грудь так и называется – *mamma*).

И тонкая иголочка с острым жалом, с неуловимым хрустом протыкающая вздувшуюся вену, чтобы впрыснуть в нее тугую струйку спасительного аденозин-три-нитро-фосфата и восстановить нарушенный болезнью порядок в сложном и прекрасном человеческом организме, была для Петра таким же священным, таинственным и могущественным амулетом, каким для Мерлина был витой рог финвала.

Военно-полевую хирургию Петру преподавал мудрый старый ев-

рей, полковник медицинской службы. Боевой путь он начал на Халхин-Голе вместе с маршалом Жуковым, последним национальным героем русского народа.

– Встать! Смирно! – металлическим голосом гаркнул дежурный.

И в дверях замершей аудитории выросла грузная фигура в белом халате. Халат был надет поверх кителя с орденскими планками.

– Товарищи, будущие офицеры! – пророкотал вошедший, встав за кафедру. – Самое главное в военно-полевой хирургии – не разрез. Самое главное в ней – зашить бойца. Вольно. Тема нашей первой лекции – «Хирургические швы и способы их наложения в полевых условиях». Первым прооперированным в полевых условиях был, как вам известно, Адам...

В общежитии Петр аккуратно разрезал потертую клеенку со стола на тысячу мелких кусочков, чтобы сшить ее обратно. Клеенка уменьшилась в размерах и стала походить на старый индейский мокасина. Товарищи над ним вволю посмеялись, а Петр взял себе за правило начинать день со ста стежков с закрытыми глазами и очень скоро смог бы на ощупь заштопать паутину. Хорошего шахматиста видно по быстрому, уверенному, мягкому движению кисти, когда он «толкает», как говорят шахматисты, королевскую пешку на два поля вперед. Хорошего плотника видно по двум хлестким ударам тяжелого топора, которыми он вырубает ровный паз. Хорошего хирурга видно по первому стежку его шва на нежной раневой поверхности, покрытой кровавой росой: разрез на толстом кожном покрове неумелыми тонкими пальцами кое-как заштопает и студент-троечник, вшить митральный клапан в левое предсердие – под силу лишь волосатым сосискам ювелира-профессора.

Врачом-хирургом Петр стал по призванию, и больные очень редко умирали у него на столе.

– Ты нам, Петр Андреевич, всю отчетность портишь, – шутил заведованием на планерках, подводя итоги прошедшей недели.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I. ЧУЖОЙ УГОЛ

#### 1

---

По лесистой зеленой возвышенности, довольно большой даже по геологическим меркам, город расплзся серой, грязной, дымной каменной лепешкой. Когда солнце низко над горизонтом, летчики видят ее за четыреста километров, а ангелы, пролетая над городом, забираются в такую стратосферу, где даже им зябко, или делают большой крюк, чтобы не закоптить белоснежные крылья.

По железной же дороге лучше въезжать в город ранней весной или поздней осенью. В эту пасмурную и ветреную пору со всем, что на ней понастроено, железная дорога величественна и прекрасна, как становой хребет окаменевшего динозавра. Но прежде железнодорожный путешественник может сполна насладиться медленным зрелищем тяжелых речных вод, текущих меж крутых обрывистых берегов в клочьях густого тумана, ползущего из темных и сырых таежных распадков. И лишь затем его взгляд погружается в созер-

цание нечеловеческих пропорций промышленной архитектуры, не рассчитанной на солнечный свет, игру теней и человеческий глаз.

Виды карьеров грандиозны, как марсианские ландшафты; производственные корпуса потрясают, как египетские пирамиды; водоотстойники с мертвой водой словно выкопаны тысячами механических китайцев; доменные печи шипят, пускают ядовитые газы и плюются огнем, ни на что, кроме самих себя, не похожие; серебристые газгольдеры подобны раскатившимся шарам гигантского биллиарда; градирни городской ТЭЦ, внутри которых со стометровой высоты падают и охлаждаются потоки, ниагарские водопады кипящей воды, окутаны белым паром, как железные вулканы; водонапорные башни из фигурного кирпича подобны остаткам Боробудура; кладбище паровозов – это кладбище черных кайнозавров; в лабиринтах серых бетонных заборов вокруг пакгаузов и складов водится маленький, пугливый, злобный минотавр, и лишь ярко раскрашенная «Овечка» – паровоз серии «ОВ», установленный на постаменте в начале перрона, напоминает о временах, когда всякое перемещение в пространстве было волнующим и долгим, как истинное приключение.

Словом, двоим путешественникам, курившим у открытого окна транссибирского экспресса «Мыскава – Владивосток», с погодой просто повезло. Глядя из стратосферы, к городу их вместе с поездом нес фронт небывалого атмосферного циклона. Циклон закрутился над свинцовыми пучинами Северной Атлантики, вовлекая в свое движение огромные массы воздуха и влаги, на неделю завис над лесистой Скандинавией, набираясь сил, и тяжело устремился через весь континент на юго-восток, принося с собой обложные дожди и холодные порывистые ветры, напоминая сухопутным жителям о хлябях и зыбях Мирового океана, в котором плавают их маленькая суша.

Оба курильщика были высоки, но этим их похожесть исчерпывалась.

Первому стоило бы родиться в Древнем Риме эпохи солдатских императоров, чтобы его безжалостный вертикальный профиль чеканили на золотых тетрадрахмах в лавровом венке триумфатора. Лицо и грудь его сильно обдувало холодом и сыростью из окна, но

этого он словно не замечал: прямо и пристально смотрел на собеседника круглым орлиным глазом, лишь изредка поводя по сторонам бледным отвислым носом, словно принюхиваясь к сырому тинному запаху большой реки, заносимому в окно. Под его расстегнутым летним пальто виднелись дорогой серебристый пиджак в микроскопическую клеточку, черная шелковая рубашка с двойными металлическими пуговками; в расстегнутый воротник нарядной рубашки вылезала пегая кучерявая поросль. Вокруг его худых бедер болтались светлые кремовые брюки, а завершали щегольской наряд мягкие кожаные туфли с прошитым рантом и черная шляпа с высокой тульей и широкими твердыми полями, по-ковбойски загнутыми вверх.

Имя и отчество щеголеватого ковбоя находились в удивительном согласии с его запоминающейся внешностью и с первого взгляда ощущаемым нравом, будто имя-отчество он сам подбирал себе перед зеркалом. Его звали Николай Мирликиевич – довольно противно, но ни забыть, ни перепутать.

Второй представлял собой полную ему противоположность. У окна он стоял спиной по ходу поезда и не обдувался, но утянул молнию коротенькой кожаной куртки под самый подбородок; куртка плотно обтягивала его округлое мягкое брюшко, а ниже куртки он был в джинсах и кроссовках. Звали мерзляка звучно и приятно, но вполне неопределенно – Илья Владимирович. И его новые знакомые поначалу путались, как его все же зовут: то ли Иван Владимирович, то ли все же Илья, но Иванович, или вовсе Алексей Викторович; некоторые, из самых рассеянных, так те вообще порывались называть его почему-то Степаном Трофимовичем.

Лицо и осанку Ильи Владимирович имел соответствующие. Если отчетливое лицо Николая Мирликиевича поражало полной законченностью, то лицо Ильи Владимировича поражало, прямо сказать, какой-то недоделанностью. Нос его был столь же отвисл, но заканчивался какой-то несуразной покрасневшей нащепкой; брови тоже кустились, но как-то клочками; глаза тоже выцвели, но не от возраста и прямых солнечных лучей, а, судя по мешочкам под глазами, от всяческих излишеств и пристального рассматривания карточных раскладов. Ну и, наконец, Николай Мирликиевич был



уверен в себе до наглости, а Илья Владимирович – осторожен до малодушия. Он и голову-то даже держал в каком-то неопределенном положении – и не прямо вроде бы, но и не опустив, а как-то искательно подбородком вперед, слегка приподняв при этом плечи. Если же он поворачивался, то тоже двойственным образом: вроде бы и не всем телом, как тамбовский бирюк, но и не одной головой, как горный орел, а как-то и так, и сяк одновременно; что, забегая вперед, не мешало и ему при нужде действовать быстро, решительно и даже безоглядно, только Илья Владимирович этого не любил, предпочитая действовать тихой сапой. Словом, если бы и ему рождаться в иное время, то лучше всего ему подошло бы торговать шелками, пурпуром и варварскими афродизиаками в Византийской империи эпохи ее пышного упадка.

Когда мимо них стал протискиваться молодой человек с большим саквояжем, именно Илья Владимирович уловил нечестное выражение у него на лице.

И усомнился:

– А твой ли это саквояж, дорогой товарищ?

Молодой человек хотел было отбросить саквояж и устремиться в тамбур, к свободе, но фортуна ему изменила: Николай Мирликиевич сжал его плечо железной клешней циркового борца.

– Уй, пусти, пусти, падла, больно же! – испуганным зайчонком заверещал молодой жулик.

---

## 2

Двадцатилетний Васька Косой боялся собак, хулиганов, пьяного отца, работы и милиционеров. Греха не боялся и в воровском искусстве достиг звездных высот. Впервые воровская слава осенила его в тринадцать лет. Он давно уже не тырил шапки из школьных раздевалок. В тринадцать лет он способен был на большее – вошел в городскую прокуратуру с черного хода. Худенький, ушастый, заплаканный мальчик искал маму, чтобы сказать ей, что дедушка опять закатил глаза, дергает ногой и хрипит. Пока у него участливо выясняли фамилию мамы, из сейфа, оставленного на миг без присмотра, мальчуган спер две тысячи долларов. Потом он просачивался на охраняемую стоянку у мэрии и уезжал с нее на валютных иномарках бизнес-класса. Выбирал в галантерейных отделах подарки

девочкам на Восьмое марта и мимоходом снимал золотые часики с продавщиц. С потупленным взором входил под высокие своды кафедрального собора Божией Матери Одигитрии и вскрывал церковную кружку. Забраться среди бела дня в коммерческий киоск было для него самым плевым делом, обчистить богатую квартиру под сигнализацией – незамысловатым развлечением. Очень скоро о нем все узнали или услышали, но никто его не сдавал. В жестоком воровском мире его оберегали как мечту о ласковой фортуне, которая никогда не изменяет, им восхищались как трагическим античным героем, бросившим дерзкий вызов разгневанным Олимпийцам с молниями, и даже продажным барыгам было бы в падлу сдать его ментам. Его не трогали даже в бандитском казино «Эльдорадо», где он у кого ни попадя вынимал лопатники. Бандиты ставили на него сто к одному, что не попадетсЯ, а у новых русских возникла примета: если тебя обворовал Косой, обналичишь платежи, и к концу финансового года в казино было не протолкнуться. За свою славную воровскую жизнь Васька имел всего один привод в милицию – за ту самую детскую прокуратуру, да и то попался случайно. На две тысячи долларов он честно купил у соседа дяди Сережи горбатый «Запорожец», счастливо проехал на нем через весь город в час пик, выехал на Гусиноозерский тракт, но прямо перед постом ГАИ горбатый заперхал-заперхал и затих, тихо подкатившись к гаишникам. В машине кончился бензин, а датчик уровня топлива не работал. Больше Косой не попадался.

И вот его сняли с поезда с чужим углом<sup>1</sup> и завели его, тихого и покорного, в помещение линейного отдела милиции. Отдел располагался на первом этаже нашего большого, просторного, удобного и красивого железнодорожного вокзала, известного своей монументальной красотой на весь Транссиб.

– Как же ты спалился на такой ерунде, Вася? – посочувствовал Косому дежурный капитан.

Капитан был немолод и, разглядывая большой мягкий саквояж из дорогой итальянской кожи, подумал: «Пора на пенсию». Менты о Ваське придумали свою примету: взять Косого с поличным – все равно что посадить на рогатину девяносто девятого медведя; а со-

---

1 Чужой угол – чемодан (блат.).

тый медведь, как известно, задавит. Потом капитан с неохотой перевел взгляд на залетных фраеров; на них капитан смотрел с острой и отчетливой неприязнью, как солдат на жирную вошь. Досадно и обидно было, главное то, что спалили Косого совершенно чужие люди и совершенно случайно, даже не догадываясь, на что они руку поднимают. Да и сами они были капитану антипатичны.

Особенно неприятен ему был тот, что был в светлом длинном плаще и ковбойской шляпе, сухощавый до старческой худобы. В шляпе как зашел в помещение, так сразу и уселся на стул перед столом нога на ногу, положив на стол локоть. «Откуда ты к нам залетела, гордая птица?» – размышлял опытный капитан, примериваясь, как бы повернее прижать наглого пижона к толстому ногтю. Другой, в куртке и джинсах, с пузечком и толстыми ляжками, хотя бы держался скромно: стоял у двери, дожидаясь разрешения садиться.

– Ваши документы, пожалуйста, – сухо сказал капитан фраерам и стал неспешно вносить в протокол их паспортные данные, словно надеялся, что мечту и миф еще удастся как-нибудь спасти.

Новехонький паспорт Николая Мирликиевича выдан был в поселке Тахта Каракалпакской республики, потерянная паспортница Ильи Владимировича выдана была в поселке Тахта-Базар Башкортостана. «Специально, что ли, подбирали?» – размышлял капитан. Билеты у обоих были до Владивостока, но они сами вызвались сойти с поезда, хотя показания в таких случаях снимаются по пути следования прямо в поезде сотрудниками линейного отдела, и их предупредили, что проживанием обеспечить их не смогут.

А Васька томился. Ему было очень странно, что вот он стоит и не может сесть, что его могут поставить лицом к стене, могут приказать ему держать руки за спиной, могут повести его куда захотят, а стоит ему чуть заартачиться, его изо всей силы ударят по лицу или куда придется, и ничего им за это не будет. Он очень хотел повернуться и выйти в дверь, но даже такого простого движения не смел сделать.

Если бы его стыдили, ругали, угрожали ему, принялись бы его избивать – это было бы понятно и не так страшно, но его ударили бы равнодушно и совершенно беззлобно, как бьют животное, не желая его унижить, а только чтобы причинить боль и добиться по-

слушания. Вот что было страшнее всего – оказаться бессловесным животным, с которым можно сделать что угодно.

– Ну что, Васенька, плохо тебе? – вдруг обратился к нему толстожопый в джинсах. – А вот не надо было, Васенька, божий храм осквернять! Ты думал: боженька – старенький, слепенький... А он все видит, и вот тебе, Васенька, – пожалте на цугундер!

И сделал снизу широкое движение согнутой рукой, ладонью другой отсекая задранное вверх предплечье с напряженным волосатым кулаком, изобразив в результате этого сложного согласованного движения огромный хер, вставший на дыбки.

– Не кощунствуй, Илья Владимирович, – холодно произнес его пижонистый спутник. – Не так уж много он и взял в Одигитриевском, а благочинный, говорят, привержен содомии и Бахусу, только что иконы не пропивает. Того и гляди, чертей в Одигитриевском разведет. Один, говорят, уже завелся, из мелких, прыщавый такой...

– Верно я говорю, капитан? – отнесся Николай Мирликиевич через стол к капитану, тот даже опешил от такой наглости.

– Неладное у вас в городе творится, неладное, – никем не останавливаемый, проговорил Николай Мирликиевич дальше.

Говоря, он поводил вислым носом по сторонам, словно сквозь стены с облупившейся краской прозревал улицы, дома, площади, парки и скверы неладного города и словно в его силах было очистить город от скверны, какая в нем скопилась со времен последнего Потопа.

В детских глазах Васьки Косого искоркой вспыхнула и затеплилась сумасшедшая надежда на перемену невеселой участи.

Надо тут заметить, что город наш мало чем отличался от других больших городов нашей бескрайней империи. В нашем «Эльдорадо» давно уже поджидали, когда Чире сделают укорот: слишком уж большую силу он набрал в городе, нарушая равновесие сил и интересов. Неважно даже было, кто делает: «синяки», «чурки» или сами менты, чтобы облегчить себе борьбу с оргпреступностью. Золотых цепей и перстней Николай Мирликиевич не носил, равно как и Илья Владимирович, но это-то как раз и могло свидетельствовать о новых веяниях в том сложном и жестоком мире, по неписанным законам которого жил Васька Косой. «Чем я ему масть перебил?»

– лихорадочно размышлял Косой, искоса посматривая на Николая Мирликиевича. Тут в голове у Васьки промелькнула, как светлая молния, мысль, что сдают его за церковь, и он мгновенно нашел способ решить все легко, быстро и по-хорошему; оставалось только довести спасительное решение до того, кого оно касалось. «Завтра крещусь!» – твердо сказал себе Косой и заулыбался, как мальчишка, с живым любопытством поглядывая по сторонам.

К нему вплотную подошел сержант, пробуравил его свирепым взглядом, размахнулся, как футболист, и изо всех сил саданул его по голени жестким носком тяжеленного армейского ботинка.

## II. CREDO

Планерки обычно проводил зав. отделением, но в понедельник, наступивший за воскресеньем, когда Петр обнаружил хитрость муравьев у себя на участке, на планерку пришел главврач.

– Уважаемые коллеги, – с некоторым напряжением в голосе произнес он, – к вам приехал ревизор. Позвольте представить – Николай Мирликиевич Скворешников.

В белом врачебном халате Николай Мирликиевич уже не производил впечатления неутомимого авантюриста. В белом халате он выглядел старым земским врачом, опытным практиком и замечательным диагностом. Старые земские врачи умели диагностировать грудную жабу по осанке больного, а диабет на ранних стадиях – по склерам глазного яблока.

– Коллеги, – выступил вперед Николай Мирликиевич, чуть улыбнувшись тонкими бесцветными губами, – у каждого из нас свое маленькое персональное кладбище...

Врачи поморщились. Хирурги так не шутят.

Первым делом Николай Мирликиевич счел нужным принять участие в утреннем обходе.

– Вам, Петр Андреевич, впору хоть господу ассистировать, если ему придет в голову еще одну Еву сотворить зачем-то, – оценил он хирургическое мастерство Петра, пальпируя впалый живот пожилого слесаря.

Петр прооперировал слесарю сложную язву двенадцатиперстной кишки.

– Подскажите ему при случае, – улыбнулся Петр.

– Он и так в курсе, можете не сомневаться, – заверил Николай Мирликиевич, похлопав по холодному животу.

Слесарь хмыкнул.

– А кстати, Петр Андреевич, вас не угнетает тщета ваших усилий? Вот он выпишется и на радостях так нахлещется... И пить-то будет катанку, которую и здоровому-то пить опасно!

Слесарь потупился, но не счел нужным скрывать лукавую предвкушающую улыбку. Врачи и медсестры, стоявшие вокруг, переглянулись, шушукнулись и замерли.

– Не угнетает, – твердо сказал Петр. – Я делаю, что должен.

– Кому должны?..

Петр промолчал.

Николай Мирликиевич подождал ответа, не дождался и встал.

– Ну-ну, – произнес он. – Похвально.

В палате уместилось девять коек: пять вдоль стен и четыре посередине, попарно впритык одна к другой. Больные, лежавшие на них, могли слышать, как бурчит у соседа в животе, как он сопит и бормочет во сне и сильный испуганный вздох человека, когда он, проснувшись рано утром, обнаруживает себя на больничной койке.

– Поменьше на гороховый суп налегайте, – уже покидая палату, посоветовал этим четверым Николай Мирликиевич. – А то перестреляете друг друга ночью.

Больные дружно заржали про себя.

Но был ли Петр до конца искренен, когда произносил свое ясное и простое *credo*, свой лапидарный символ веры? Не является ли всякая ясность результатом долгих взвешиваний и осознанных соизмерений и не на ее ли достижение был направлен и сам вопрос, когда ничего еще не было толком предreshено? Причинность не отменяет вмешательства и чуда, и последовательность событий представляется таковой лишь тогда, когда произошедшие события по ранжиру выстраиваются у нас в голове, снисходительно потакая нашей любви и привычке к прямой линии.

### III. КЕРЖАК ЕВСТИХИЙ

#### 1

Наш город, как и многие другие русские города, вырос в среднем спокойном течении большой равнинной реки. Но вот назвать русской и саму реку, как иногда называют великую Волгу, уже нельзя. Начало свое она берет в заснеженных горах далеко на юге, впадает в Ледовитый океан далеко за Полярным кругом, и на ее суровых берегах издавна обитали многочисленные народы, привыкшие считать ее своей. В верхнем ее течении пасли лохматых яков и охотились на горных козлов низкорослые, скуластые хори-тумуты; в степях пониже пасли овец мирные потомки воинственных кара-уйгуров – кумоны, похожие на круглоглазых китайцев; в темных хвойных лесах среднего течения обитали племена узкоглазых хонгудоров, лесных охотников, мазавших толстые губы деревянных идолов горячей кровью; еще дальше на север ходили за оленями орочны – миниатюрные оленные звенки; а за Полярным кругом, среди льдов и торосов, охотились на морского зверя совсем уж непостижимые для русского человека эскимосы: эскимосы жевали сырое мясо, освещали чумы вонючим нерпичьим жиром, не мылись, а в чумах расхаживали голыми. Это всегда была великая сибирская река. Она протянулась с юга на север на несколько тысяч километров, и редкий-редкий речной капитан знал все ее отмели и быстрины. Из нынешних – никто не знает: ни одному из белоснежных быстроходцев на подводных крыльях не под силу пройти нашу реку от истоков до устья. Знали ее лишь старые капитаны чумазных колесных буксиров, начинавшие плавать сызмалетства, – да где теперь те капитаны? Лет пятнадцать тому можно было еще, правда, услышать в коридорах нашего речного пароходства зычный голос шестипудового Савельича – он на спор проводил свой буксир по всему фарватеру с завязанными глазами, на слух, по ароматам цветущих лугов, плеску волн, журчанию струй, но и легендарный Савельич теперь там же.

А Ермак о нашей реке даже и не слыхивал: плавал туда-сюда по мелкому петлистому Иртышу, постреливая из пушечки.

Лучшие и красивейшие, замечательнейшие на худой конец, здания нашего города возведены вдоль набережной, надежно сковавшей реку бетонными плитами. Гостиница «Сибирь», в виду которой сошлись Николай Мирликиевич, сопровождаемый Петром, и никем не сопровождаемый Илья Владимирович, относилась как раз к роду именно замечательных строений.

Советская страна долго и упорно отгораживалась от мира, но мир-то от нее не отгораживался<sup>1</sup>. Ничего такого по большому счету неповторимого в ее обширных пределах не происходило, ни в политике, ни в искусстве; ни раньше, ни тем более теперь, когда все совсем смешалось. Гостиницу строили в эпоху бездушного конструктивизма двадцатых-тридцатых годов, и издали ее фасад напоминал стопку огромных каменных блинов совсем в духе Ле Корбюзье, тоже грезившего фаланстерами и коммунами.

На часах могло быть уже часов семь, или восемь, или даже девять вечера. Бывают такие состояния атмосферы, когда внутреннее чувство времени обманывает самого дисциплинированного и организованного человека. Тому причиной – длительное отсутствие на небосводе солнца, когда для того, чтобы в слабых разводах низкой облачности углядеть желтое пятно и сориентироваться в положении Земли относительно Вселенной, нужно долго стоять, задрав вверх голову, да и то без особой надежды на успех.

– А хорошо здесь должно быть поздней осенью, – заметил Николай Мирликиевич.

В те же тридцатые годы, когда не жалели ни земли, ни людей, перед гостиницей разбили обширный сквер, сровняв для этого с землей несколько одноэтажных мещанских переулков – тихое, обжитое, насиженное, нагретое место. Но как-то слишком уж хорошо принялось здесь все расти: тополиные саженцы тут же вытянулись, расправились и задеревенели, раскинув понизу от стволов корявые сучья; осинки и ивы мигом подперли их снизу; травы какие-то по пояс полезли; невидимые побеги сразу принялись дружно проламывать асфальт из-под земли; в одном углу земля просела, выступила вода и образовалось чудесное болотце. Топкие его берега обросли

1 Парафраза из «Властилина колец» Дж. Р. Р. Толкиена.



изумрудно-зелеными, нежными, ломкими суставчатыми хвощами, и болотце чуть было даже не взяли под охрану как кусочек первобытного ландшафта. Так что у городских озеленителей хватало сил только следить, чтобы вся эта буйная растительность не выперла за невысокую чугунную решетку по трем сторонам сквера. Слишком, может быть, плотно и долго здесь жили люди, чтобы на этом месте получился регулярный английский сад, или в первые годы попустились, недоглядели, а потом поздно уже оказалось бороться с жирной землей.

– Поздней осенью здесь должно быть пусто, просторно и печально, – продолжил Николай Мирликиевич.

– Хороший человек испытывает от жизни печаль, то есть благородный вид тоски, – пояснил он чужими словами, при чем тут печаль.

– Да-да, на свете счастья нет, а есть покой и воля, – подхватил Илья Владимирович, несколько не в лад.

Николай Мирликиевич перевел задумчивый взгляд на блинчатый фасад гостиницы:

– Этот архитектурный стиль я бы назвал «советским колониальным»...

– Совершенно точно изволили определить, – с готовностью согласился Илья Владимирович. – Россия – не Европа, Сибирь – не Россия, сибиряк – не русский, мысквич – не человек, а хуже всех – хохлы и узбеки.

– Мысквичей любят в России только иностранцы, – присовокупил он к сказанному. – Верно я говорю, Петр Андреевич?

Николай Мирликиевич удивился:

– Э-э, а вы-то тут при чем? Вы же не сибиряк.

– Сибиряк, да еще какой! – смеясь, не согласился Илья Владимирович и хлопнул себя по толстым ляжкам, словно собираясь пойти в пляс на манер подгулявшего старателя. – Таких сибиряков, как мы с Петром Андреевичем, еще поискать! Белку мы бьем в глаз, на медведя ходим с рогатиной, целку ломаем с первой палки и всех, кто с запада, зовем хохлами. А, Петр Андреевич?

Петр счел нужным подтвердить:

– Конечно.

– Ну а узбеки-то чем вам помешали? – снизошел Николай Мирликиевич.

– Под руку подвернулись, под руку! – вновь засуетился Илья Владимирович.

Вообще создавалось впечатление, что перед своим хладнокровным спутником он как-то даже заискивает.

Перед гостиницей они сошлись случайно. Петр провожал Николая Мирликиевича из больницы, а Илья Владимирович возвращался из города, обделав какие-то дела, или просто выходил размяться.

Мимо процокала тонконогая девушка в тонком платьице. С близкой реки налетел сырой порыв ветра, и девушка бросилась ловить и прижимать вздувшийся подол. Юная щеголиха оделась легко не по погоде.

– Никак не возьму в толк, – заметил Илья Владимирович. – Почему русские женщины ходят в платьях? Ходили бы в шароварах, как узбечки!..

### 3

В каком бы духе гостиницу ни строили, декор ее внутренних помещений нес на себе печать того особого рода прихотливой роскоши в духе советского барокко, которую теперь у нас можно увидеть лишь в привокзальных ресторанах, в старых кинотеатрах, в бывших домах политпроса, да еще в провинциальных гостиницах конечно. Империи рушатся, новые миры строятся, но обильная лепнина под потолками, пышные и пыльные, чего греха таить, занавески из красного бархата, ковровые дорожки по лестницам, персидские ковры на всех этажах сохраняются в неприкосновенности; о дубовых перилах и медных кольцах на мраморных ступенях и говорить нечего – их-то и беречь нет нужды, древний и вечный материал!

У квадратной колонны в центре фойе, облицованной серым гранитом, не просто так стоял статный бородатый мужчина.

Для большого промышленного города и культурного центра выглядел приезжий экзотично. Яловые сапоги, подвязанные под коленями ремешками, в сибирских деревнях самая обычная обувь, так же как пестрядинные штаны и порыжевшая штормовка с романтической нефтяной вышкой «МинГео» на правом плече; русая борода на лице зрелого мужчины в сибирской деревне столь же обычна, как белый платок на голове

замужней женщины, – все так, но часто ли увидишь такое в городе? Не часто, но и не в этом даже дело.

В бородаче поражал его взгляд. Взгляд его был ясен, спокоен и строг. Возраст его по этой причине по лицу не определялся: ему могло быть и тридцать, и все шестьдесят, – и уж тем более не определялся по фигуре. По фигуре ему вообще нельзя было дать больше сорока, возраста, когда мужчина уже полностью расправился, набрал полную мощь и силу и стоит, как крепкий столетний кедр, как дуб, но еще не обрюзг и не отяжелел, обросши прядями седого мха, как старая елка. «Какой Добрыня Никитич!» – пронеслось в голове у дежурной за стеклом. (Каждый сибиряк в детстве выучивает наизусть две-три былины, а любимая детская игра в Сибири до сих пор – старинная русская игра «А мы просо сеяли, сеяли»: светлые, как одуванчики, детишки становятся в круг и изображают, как именно они просо сеяли – «А вот эдак, а вот так», как его потом пололи, жали, молотили, как варили кашу и угощали пробежавшего мимо серого зайку; за угощение зайка должен был потом поплясать: «Зайнька, попляши, серенький, поскачи!». Зайнька... серенький...)

Ничего загадочного в статном бородаче для опытной женщины, впрочем, не было. Это был кержак конечно. Так у нас называют раскольников, живущих в глухой тайге.

– А вот еще один сибиряк! – совсем оживился Илья Владимирович, углядев кержака быстрым взглядом бухарского торговца, и вступил с кержаком в конкретный разговор:

– А что, отец, паспорт у тебя есть?

– Нет, – пропустил тот в ответ такую низкую ноту, что задрожали хрустальные подвески на люстре, а гостиничная кошка, дремавшая в укромном теплом уголке за стойкой, дернула во сне хвостом и недовольно проснулась.

– Печать антихристовая? А ведь не поселят тебя без нее.

– Не поселят.

– Ну пойдем тогда с нами, – радушно пригласил Илья Владимирович.

---

#### 4

Как грустны ночные перроны бессонных вокзалов! Как щемит сердце от стука колес на стыках! Как отрадна горечь сигареты, вы-

куреной в тамбуре, несущемся сквозь темные пространства и просторы спящей Родины, и сколь долгожданен для неприкаянного странника немудреный уют гостиничного номера! Какое душевное отдохновение доставляет заваренный в стакане плиточный чай Семипалатинской чаеразвесочной фабрики, дающий густой тягучий напиток темно-кирпичного цвета; как освежает и бодрит его терпкий вкус, отдающий полынными степями и вересковыми полянами! Какими грезами и надеждами манит и обольщает мигающая мелкими огоньками панорама чужого большого города, открытая блуждающему взгляду из окна номера на шестом этаже! И какие покойные сны навевает прохладная кочковатая подушка на панцирной кровати, даже если сосед всю ночь беспокойно ворочается и нервно всхрапывает.

Илья Владимирович и Николай Мирликиевич оказались командировочными старой закалки: у них и плиточный чай нашелся нужного сорта, и вареная колбаса, и даже сморщенные соленые огурцы с рынка, не в пример командировочным новой формации. Нынешние, хоть они и хранят верность алкогольным напиткам Отечества, закусывают поддельной ветчиной неизвестного происхождения, которую даже голодные кошки не едят, и пьют гранулированные чаи, отдающие безвкусной беспородной горечью. У Ильи Владимировича и Николая Мирликиевича имелся даже ужасающий самодельный кипятильник из двух бритвенных лезвий. Такой аппарат кипятит ведро воды за три с половиной минуты, а еще через пять секунд вода в ведре начинает бурлить огромными пузырями и выплескиваться на пол. Тут кстати будет сообщить, что Илья Владимирович и Николай Мирликиевич взяли дорогой люкс на третьем этаже, из двух спален, гостиной и отдельного санузла, выложенного финским кафелем.

Кержак стянул сапоги и к дивану прошлепал босиком. Он был пока тих и послушен, как зачарованный ребенок, но упорно не желал натягивать сапоги обратно:

– Ноги пускай подышат.

Мощное движение кузнечных мехов, нагнетавших воздух в его голосовые связки, кержак привычно сдерживал, и выходившие из него звуки напоминали дальние раскаты грома.

– Вот это голосина! Труба иерихонская! – Илья Владимирович, притворяясь, прикрыл уши руками и едва не забыл следить за могучим кипятильником, ревущим и бьющимся в тесном стакане.

– Ни одна аспиды не сдюжит! – с гордостью подтвердил кержак, начал пояснять и увлекся: – Аспиды есть змея крылата. Нос имеет птичий и два хобота, а в коей земле поселится, ту землю пустой учит. Живет в горах каменных, не любит же трубного гласа. Так ее и ловят: трубят в медные трубы, она затыкает уши хвостом, а хвост-то у нее ядовитый. От него она и смерть принимает, так-то. Потому и говорят о злом человеке: «Ах ты, аспид!», то есть от своей злости ненавидной сам же и погибнешь. Так в книгах написано.

– Однако! – воскликнул Илья Владимирович, переглянувшись с Николаем Мирликиевичем. – Какие книги ты читаешь! Это уж не Дамаскин ли Студит? Или «Откровение Варуха»? Как зовут-то тебя, отец?

– Евстихием люди кличут.

Николай Мирликиевич, на любого умевший нагнать стужи, представился кержаку по-свойски:

– Николой зови меня, Евстихий.

После чего совсем не странно было Петру услышать из уст Ильи Владимировича:

– Меня зови Илюхой, отец.

Против своего обыкновения Петр тоже представился по имени:

– Я – Петр.

Молодые люди, только начинающие матереть, придают часто слишком большое значение тому, как они выглядят в глазах окружающих. Потому они и напускают на себя такой неприступный и ответственный вид, «держат спину», как говорят балетные, и не ходят, как то делают нормальные люди, то есть куда попало ставя ноги и как получится размахивая руками, а носят себя, как полное ведро, словно боятся расплескаться, а некоторые так даже сразу сообщают новым знакомым имя своего отца.

Петр, имея обыкновение представляться по имени-отчеству, делал так не потому, что искал уважения. Он не желал обременять новых знакомых обязанностью вставать с собой на короткую ногу. Подобно тому, как в русском дуэльном кодексе не допускалось, чтобы стреляю-

щий по жребии первым намеренно стрелял в воздух, узурпируя право оскорбленного противника целить в сердце.

## 5

Донельзя общительный Илья Владимирович первым делом бросился выяснять у кержака его обстоятельства:

– А что, отец, по какому делу в город пожаловал? Грех ведь это для тебя поди?

– Отмолю, – отвечивал тот. – Внука хочу забрать. Отец его другой жизни захотел – мало я его порол, а теперь: жена – ..., прости господи, сын – ворюга, а сам того и гляди от винища сгорит. Ну он-то человек конечный, а внука заберу, пока не поздно.

– А не наш ли это крестник, Илья Владимирович, как вы думаете? – предположил Николай Мирликиевич.

– Допускаю, вполне допускаю, – засуетился и заподмигивал Илья Владимирович. – Прозвище-то у тебя, отец, какое – не Косой ли случаем?

– Косой, – улыбнулся кержак.

– Смотри-ка! – Илья Владимирович хлопнул себя по толстоватой ляжке. – Как мир-то, оказывается, тесен!

– Это не мир тесен, – поправил Николай Мирликиевич. – Слой тонок.

– Вот-вот, – подхватил Илья Владимирович, попутно заваривая чай по стаканам. – Слой тонок, тонок, а что там под слоем бурлит и пускает грязные пузыри, осуществляет жизнедеятельность, так сказать, – лучше и не знать от греха подальше! Ох, лишний стакан заварил! Не положен ведь, поди, вам чай-то?

Вопрос относился к кержаку.

– Не положен, – доброжелательно подтвердил тот.

– А в Библии ничего о нем не сказано...

– Вот и не положен.

– А о водочке сказано?

– Сказано: «Претворил воду в вино, а камни в хлебы».

– Вот тогда ее, родимой, и хлопнем, – заключил Илья Владимирович.

И усомнился:

– Да ведь не поедет он с тобой к медведям! Или ты его и спраши-

вать не станешь?

– Не стану.

Ироничные и несколько даже насмешливые вопросы и прямо-таки иногда нападки Ильи Владимировича отскакивали от Евстихия, как от каменного или там железного, но неутомимый Илья Владимирович его доехал, вдохнул в кержака живой интерес к разговору. После второй дозы, быстро жуя, Илья Владимирович позволил себе пошутить:

– Ну а молитесь-то вы как? На дырку в потолке или, как говорятся, «в лесу родился, на пень крестился»?

– Мил человек Илюха! – загудел Евстихий без знаков препинания.

– Человек я горячий рука у меня тяжелая бычка-трехлетка я убиваю кулаком с одного удара ты человек еще молодой тебе жить да радоваться а ты богу неудобство показуешь.

Илья Владимирович добродушно рассмеялся, Евстихий, так откровенно и до конца высказавшись, доверился новым людям, расслабился, и разговор полетел, как птица. Чокались, выпивали, закусывали и обсудили дождливую весну. Впали в арианство, усомнившись в догмате троичности.

– Тут уж что-нибудь одно: или ты человек, или бог! А если бог, среди людей тебе не место. Вот и распяли, – рассудил Евстихий.

Пришли потом к выводу, что Антихрист уже пришел, но властвует невидимо; тут, впрочем, подискутировали, останется ли он мысленным или нужно ожидать его плотского воплощения.

И Евстихий, кстати, процитировал огненного протопopa Аввакума:

– «Дело-то его и ныне уже делают, только последний-ет черт не бывал еще».

Согласились, что в любом случае мир лишен благодати и нужно спастись в пустынях.

– Тесно тут у вас, как в муравейнике, –дохнуть нечем, простора душе нет, вот и сатанеете друг на дружку! – заключил Евстихий.

Поговорили, разумеется, и о русских, не сберегших истинного православного царства, а там совсем легко и незаметно заговорили о бабах.

Мужики, даже сильно выпивая, между собой о бабах не говорят никогда. У них есть множество более важных тем для разговора: о

машинах и ценах на бензин и запчасти, о видах ламината и марках сухой штукатурки, о разрешениях на нарезное оружие, о танках и самолетах, о спиннингах и блеснах на худой конец. А о бабах они могут лишь вскользь упомянуть, так, по совсем экстраординарным обстоятельствам, не больше двух-трех фраз (типа: «Жена, овца, мясо проквасила!» или «И тут пришла моя Наталья Николаевна...» – и под.), и эти фразы никто не подхватывает.

Страшно вообразить себе время, когда в подпитии мужики будут говорить о бабах!

Ну, вот что сказал о них, к примеру, пошляк Илья Владимирович:

– А не обращали вы внимания, Петр Андреевич, как ловко они устроены? Даже если самая что ни на есть страшенькая, то все равно так может улечься – одеяльце там как-нибудь с плечика припустит, одну грудку выставит, ножки кривенькие как-нибудь так сложит – слюной изойдешь, глядя на нее. А, Петр Андреевич?

---

## 6

---

Он и о женщинах заговорил конечно же; но и не совсем о женщинах. Приподняв плечи и сооротив на лице сокровенное выражение, Илья Владимирович ни с того ни с сего взялся за тогдашнего американского госсекретаря. Нужно напомнить, что в то самое время наша патриотическая интеллигенция вновь дискутировала старую проблему черноморских проливов. Есть в народной жизни такие узлы, завязываются которые в доисторические времена и развязываются потом не легко и не скоро: слишком уж много крови проливается, чтобы их завязать. Но уж если народ возьмется за них, то крови своей и уж тем более чужой он тогда не жалеет. И берегись свои и чужие, соседи ближние и дальние, виновные и безвинные: кровавые зори будут вставать над мирными пажитями, солнце будет садиться в дымы пожарищ, а в разоренных селениях будут подрастать мальчишки, любимой игрушкой для которых навсегда останется «Калашников». Так и с проливами. Как и двести, и триста, и даже четыреста лет назад, да и много, много дальше в летописную историю, перед нашей одряхлевшей империей в который раз встала во весь рост необходимость отвоевать обратно Тавриду, Константинополь, Босфор и Дарданеллы, дабы дать застоявшемуся без дела российскому флоту свободный и широкий выход на просторы Ми-



рового океана.

Не об этом ли мечтал безымянный книжник: «Русии же род с прежде создательными всего Измаила победят и Седмохолмаго примут с прежде законными его, и в нем воцарятся и содержат Седмохолмаго русы, язык шестый и пятый...»?<sup>1</sup>

И немалые препятствия на пути к этой цели виделись как раз в некрасивой коренастой фигурке тогдашнего американского госсекретаря – старой женщины с мармеладным именем «Мадлен» и тяжелым белым ястребиным лицом. У всех на памяти еще была жесткость и даже жестокость в межгосударственных делах, выказанная этой маленькой холеной ведьмой в ходе нескончаемой Балканской войны, когда наша империя потеряла все, что некогда было ею удержано на Шипке. И не об этих ли временах минувшей славы грустил наш поэт:

Где повелительные грани  
Стамбулу русский указал,  
Где старый наш орел двуглавый  
Еще шумит минувшей славой?..

– И откуда берутся такие «бабы с яйцом»? – с мужицкой грубоватостью и прямою высказал Илья Владимирович недоумение по поводу бабы-секретаря, способной заткнуть за пояс любого мужчину, несколько напускное и нарочитое недоумение, как показалось Петру.

На что Николай Мирликиевич холодно заметил:

– Что вы хотите, Илья Владимирович? В организации высшей нервной деятельности женщина ближе к троглодитам, утверждаю это как старый физиолог.

---

## РАССУЖДЕНИЯ ФИЗИОЛОГА О ПРИЧИНАХ ЖЕНСКОГО ЕСТЕСТВА

### *Рассуждение первое*

– Определимся сначала с истинными признаками женщины, – начал Николай Мирликиевич. – Итак, женщину мы узнаем по весе-

---

<sup>1</sup> Повесть о взятии Царь-града турками в 1453 году (по рукописи Троице-Сергиевой лавры, нач. XVI в., № 773).

лой живости характера, милой болтливости, трогательной чувствительности и упоительной пылкости. Мужчина серьезен – женщина весела и переменчива, мужчина молчалив – женщина говорлива и подобна ручейку, мужчина устремлен, как горный поток, женщина взволнована, как морская гладь, мужчина напорист – женщина упоительна, спящий мужчина прохладен – спящая женщина горяча. Лукавый взгляд ее пробуждает возвышенные чувства, а когда она, улыбаясь, потягивается, мужчина ликует.

Но что есть все эти милые ее свойства, зададимся таким вопросом, в чем их коренная причина? (*«Зададимся, зададимся!» – закивал Илья Владимирович.*) Причина их с точки зрения современной науки – в неразвитости механизма торможения нервных импульсов. Вы спросите: при чем тут «импульсы»? (*«Спросим, спросим!» – подтвердил Илья Владимирович.*) Ответу: как обосновал еще великий Ухтомский, в восходящем ряду живых существ механизм торможения возникает позже универсального для живой материи механизма возбуждения. Возьмите для сравнения маленького ребенка. Маленький ребенок не может терпеть и сдерживаться, и потому он еще не человек: его обижают – он горько плачет, ему не дают – он безнадежно канючит. Неандертальцы потому и вымерли, что были импульсивны, как дети: обидчиков они убивали не разбираясь, а от саблезубого тигра в панике бежали, бросив женщин на съедение чудовищной кошке. Сумасшедшие тоже, кстати, говорят и делают первое, что приходит им в голову. Если увидит, что вы подъехали на машине, рассмеется и долго будет кричать вам из зарешеченного окна: «Газуй, дядька, газуй!» или «Смазывай мотор, дядька!». Вам не приходилось посещать дома скорби? (*«Что вы, что вы! – замал Илья Владимирович. – Упаси господь!»*) А напрасно, напрасно: от многих обольщений избавились бы. Я, к примеру, много общаюсь с нашей замечательной новой молодежью, и часто мне приходится от нее слышать, что, дескать, сумасшедшие знают якобы нечто такое, что всем прочим, обыкновенным, недоступно, что им якобы открыты некие иные сферы бытия. «Посетите сумасшедший дом!» – говорю я тогда. Ну а раз уж я заговорил об этом – знаете, какого типа женщины ценились на невольничьих рынках Кафы, Стамбула и Дамаска? (*«Пышные длинноногие блондинки!» – уверен-*

но предположил Илья Владимирович и для большей убедительности очертил жестами одну такую пышную.) Ошибаетесь, ошибаетесь: на невольничьих рынках дороже всего ценились расторможенные женщины с плавающим взглядом, захлебывающейся речью и неуловимой мимикой. Их покупали исключительно в гаремы: в любовных утехах им нет равных, их не нужно ничему учить и ни к чему не нужно приучать. Их органами любви руководит их собственная необузданная чувственность. Неудивительно поэтому, как быстро рухнула могучая Порта: неуравновешенные дети истеричек становились пашами и султанами. Вот так... Стойкая любовь ко всяческому услаждению плоти, к дымку кальяна, к арабской педофилии и турецкому мужеложеству на Ближнем Востоке существовала изначально; пойдете, кстати, в Турции в баню – не забывайте почаще оглядываться: как бы кто к вам не пристроился со спины.

– Тут все дело в том, – заговорил Николай Мирликиевич дальше, – что множество тысяч лет тому назад на северо-востоке Африки или где-то на Ближнем Востоке, на побережье Средиземного моря, появился разумный человек *homo sapiens sapiens*. Задолго до него на Земле уже обитал наш неуравновешенный неандерталец – *homo sapiens neandertalensis*. У неандертальцев, нужно вам знать, был такой обычай: если мужчине нужно было показать вожаку, что он ему подчиняется, он становился перед вожаком в коленно-локтевую позу, и вожак его, как бы это помягче выразиться... употреблял. Этот замечательный обычай неандертальцы сохранили с тех времен, когда были еще обезьянами. У обезьян он до сих пор в ходу, любой зоолог подтвердит. Разумеется, разумным людям этот обычай пришелся совсем не по нраву, а так как победить многочисленных неандертальцев они поначалу не могли, им пришлось уходить на все четыре стороны света. Там было слишком холодно или слишком жарко, и неандертальцев было меньше. Там сапиенсы в относительном спокойствии размножились, научились говорить, придумали, как покрепче привязать острый камень к толстой палке, вернулись и поубивали неандертальцев каменными топорами. Кроме молоденьких неандерталок, разумеется. Пылких волосатеньких неандерталочек они сами употребили по их прямому назначению. Вот откуда турки. Если вас призовут служить в турецкую армию,

заранее порастягивайте дырочку пальцем, чтобы в первый раз было не так больно. (*«Не призовут, не призовут!» – заверил жестами Илья Владимирович.*)

– А какой народ не забыл своей прародины в восточном Средиземноморье, откуда в незапамятные времена был изгнан и куда вернулся? – задал последний риторический вопрос Николай Мирликиевич.

### *Конец первого рассуждения*

---

Задав его, Николай Мирликиевич поднял кверху указательный палец:

– То-то же!

Палец оказался неожиданно длинным и потому очень выразительным. Риторический вопрос остался, впрочем, не совсем понятным для слушателей.

– Ну, вы у нас известный физиолог, – подтвердил Илья Владимирович, видимо опасаясь, что Николай Мирликиевич увлечется, тогда как каждый нормальный мужик и без того уверен...

Ну да здесь об этом не стоит, а то для справедливости следовало бы дать слово и женщинам, а им тоже наверняка есть что сказать о мужчинах такого, что тем навряд ли понравится о себе услышать.

– Баба – тварь страшная, но бояться ее не следует, – резюмировал Евстихий, дополнив уничижительную оценку необходимым положительным смыслом.

Прояснив таким образом для себя суть женского естества, Илья Владимирович заговорил почему-то о смерти:

– Правильно умирают только самоубийцы. Человек не может жить дальше и кончает с собой – его право. Зачем его спасать и мучить?! Вы его в психушку садите за решетку, чтобы он с собой чего не учинил, а его не спасать надо, а благодарность еще ему выразить, что землю от себя сам очищает и не будет больше себя и других понапрасну мучить, и веревку дать покрепче, чтобы не порвалась! Все равно ведь потом утопится или в окно сиганет. Так чего и тянуть-то? И лучше раньше, а то ведь еще размножаться начнет!.. Вот еще что запретить бы надо – перинатальную медицину! Но если человек сам

не хочет умирать, смерть его неправильна, не готов, значит, к смерти – и пускай живет, пока не приготовится!

– Святые подвижники правильно умирают, – возразил Евстихий. – Помолился и предал душу свою в руки богу... Старые люди дольше жили, – вдруг перескочил он. – Мой прадед в сто лет ходил с рога-тиной на медведя, зубами гвозди вытаскивал, а доведись до меня...

Илья Владимирович счел нужным поддержать его.

– Да, помрачилась природа человека, помрачилась... – понурился он.

– Хорошая смерть есть следствие праведной жизни, но никакая праведная жизнь не гарантирует хорошей смерти, – заявил на это Николай Мирликиевич.

– У каждого следствия есть причина, – пояснил он свой парадокс, – но не всякая причина имеет следствие. Каждому ответу предшествует вопрос, но не за каждым вопросом следует ответ.

Выслушав все это, Илья Владимирович и Евстихий как бы призадумались, а Петр поймал себя на странном ощущении, что и весь-то этот скачущий разговор был затеян ради одной этой банальной в общем-то фразы и что даже Евстихий в этом молчаливом сговоре.

---

## 7

---

Из больницы Николай Мирликиевич просил проводить себя под тем смехотворным предлогом, что теряется в незнакомом городе. Но по дороге выяснилось, что у него, оказывается, имеется для Петра посылочка от Бузу Чейвиса, крещеного пеона-индейца. Его дочери Петр вырезал аппендицит.

Аппендикс ей Петр удалял ножом, прокаленным в скудном пламени чадающего костерка: которые уже сутки в горах шли дожди и найти сухие дрова было трудно. Дожди их и спасли: правительственные войска утопили два бронетранспортера и должны были прекратить преследование.

Ножом, которым Петр оперировал, подрезали маковые стебли. Индейцы-пеоны выращивали мак и продавали опий-сырец перекупщикам на побережье. На побережье опий доставляли женщины. Когда женщин хватали патрули, их садили в тюрьму на двадцать лет, мать Хулии тоже ждала в тюрьме суда. Командиры повстанцев задумали построить завод по переработке опия в героин, но не нашли пока химиков.

К счастью, команданте третьей бригады Sendero Luminoso товарищ Родригес не мог знать, какие оценки по органической химии и фармацевтике были у Петра в дипломе. Он вообще, кажется, не связывал, что быть врачом означает быть отчасти и химиком, а то не скоро удалось бы Петру вырваться. А может, Родригес просто ему симпатизировал и хотел обратить в свою веру по-хорошему.

О старом пеоне Бузу Чейвисе и его пятнадцатилетней сейчас дочери Хулии разговор как-то не зашел. Два года назад, когда Петр вырезал ей аппендицит, маленькая смешливая индеаночка была еще цапля цаплей, а теперь она должна была быть насупленной дикаркой в сложном подвенечном наряде, сосредоточенной на пышной католической брачной церемонии; девушки примитивных племен рано выходят замуж и рано увядают. Но как хороши они бывают в нежную пору первого расцвета! Каждый моряк, гулявший среди кокосовых пальм на Тробриановых островах, это знает.

Николай Мирликиевич вышел немного проводить Петра. Петр хотел, чтобы Николай Мирликиевич сам вспомнил о Хулии, и всю дорогу, пока они шли по набережной, хранил молчание. Дело тут было, конечно, вовсе не в Хулии. Николай Мирликиевич тоже безмолвствовал, о чем-то глубоко задумавшись.

Так в молчании они спустились по широким ступеням, почти наощупь пробрались среди черных гранитных валунов и подошли к быстрой, непроглядной и невидимой в безлунной ночи реке.

В это как раз время, то есть примерно в половине первого ночи, на подстанции, питавшей жилые кварталы на далеком другом берегу, сторели трансформаторы. По всему Заречью погас свет, и левый берег погрузился в первозданную тьму. Лишь редкие звезды отражались в черной воде, позволяя взгляду почувствовать посреди реки непроницаемую тень плоского каменного острова, бесплодного и безжизненного, как ночная Сахара, как обратная сторона Луны.

– Не оступитесь, – предостерег Николай Мирликиевич. – Ни черта же не видно!

Петр присел и кончиками пальцев нащупал холодную текущую струйку, самый краешек реки.

– А как хорошо было когда-то сказано, – как бы про себя произнес невидимый в темноте Николай Мирликиевич. – «В начале со-

творил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

– Да, хорошо, – сказал Петр, полной грудью вдыхая свежий речной воздух.

#### **IV. «СЕМЬ ПРИВЕТОВ»**

– Что тебе нравилось в армии? – первое время допытывался у Петра дотошный Василий.

Два года в сапогах были лучшими годами его жизни. В казарме он вел простую и жестокую жизнь дикаря, к которой лучше всего был приспособлен.

– На флоте, – строго поправлял Петр.

После первого курса он записался в студенческий строительный отряд. В институте формировались два таких отряда: один – собирать апельсины в Израиле и второй – солить рыбу на Камчатке. Как отличник и староста группы, Петр мог выбирать, и вместо выжженных солнцем каменистых библейских пустынь, треска цикад и ленивой сиесты выбрал белые полярные ночи, простыни, всегда сырые от дыхания океана в ста шагах, и тяжелую работу по двенадцать часов по колено в вонючем ледяном тузлуке.

Бодро постукивая колесами, состав пробежал по густым хвойным лесам Среднесибирского плоскогорья; занырявая в гулкую темноту тоннелей, обогнул с юга самое глубокое в мире пресноводное озеро; посвистывая, оставил за последним вагоном пески и голые сопки южного Забайкалья и углубился в благодатную долину Амура, на правый берег которого русских казаков не пустили в свое время упорные китайцы. В городе, названном по имени легендарного разбойника Ерофея Павловича Хабарова, усталых студентов посадили на самолет. Самолет пронес их над ночным Охотским морем к самому краешку земли, где из бирюзовых рассветных вод всплывало раскаленное солнце, и приземлился у подножия заснеженного конуса Авачинской сопки, давно уснувшего вулкана. А там Петр вышел на причал, увидел серые грязные громады океанских кораблей, застывших посреди тихой Авачинской бухты и далеко на горизонте, где зыбилась уже пасмурная Пацифика – Тихий океан, услышал крики и стоны жирных ленивых чаек и понял наконец, что

так тянуло толстенького датчанина Витуса Беринга к его неприветливым скалистым островам, – сам, то есть слышал зов моря.

В конце третьего курса Петр подал заявление о переводе в военно-морскую медицинскую академию; по ее окончании он твердо рассчитывал получить направление на Тихоокеанский флот. Нежные голосочки одноклассников остались в прошлом, и Петр их одну за другой всех поперезабыл, как все мы забываем, кем были в другой жизни. Он облачился в черный китель, натянул грубые матросские башмаки и погрузился в атмосферу сурового мужского товарищества и нежного братства.

Задержались у него в памяти три подруги: Люся, Света и Маша. К ним Петр испытывал самые дружеские и товарищеские чувства. С ними хорошо было поговорить по душам, подежурить в анатомке и посидеть в читалке. На пирушках подруги любили иногда станцевать разнузданный танец маленьких лебедей, взявшись за руки крест-накрест, а за рост и стройность их прозвали «тремя тополями на Плющихе», по доброму советскому кинофильму. После института Маша уехала с мужем в Киев, а Люся и Света устроились в третью городскую поликлинику: Люся – участковым терапевтом, а Света – отоларингологом. Так получилось, что, вернувшись в город, Петр ни разу с ними не встретился.

Люся и Света сами разыскали его в медпункте мэрии, где раз в неделю он вел амбулаторный прием.

– А мы к вам, Петр Андреевич, – раздались от дверей кабинета два веселых женских голоса.

– Все сразу? – уточнил Петр, не поднимая головы.

– Все! Сразу! – в два голоса рассмеялась его юность.

– Сколько вас?

– Семеро нас!

Когда речь заходила о Люсе, Свете и Маше троих скопом, их называли еще «Семь приветов». Они любили изображать в лицах анекдот о подругах-сослуживицах, вышедших замуж в один день. После первой брачной ночи они приходят на работу и иносказательно сообщают о ее результатах. «Привет, привет!» – говорила Люся, заглядывая в аудиторию. «Привет, привет, привет!» – смеясь, откликалась Света. «И утром два привет!» – подхватывала Маша.



Произнося все это, подруги, когда они пребывали в особенно игривом весеннем настроении, сходились перед кафедрой, становились стеночкой, враз хлопали в тонкие девичьи ладошки, вскрикивали: «Оп-па!» – и замирали в грациозной позе многорукой, сладострастной, нежнотелой восточной богини.

– Мы к тебе на прием, – с порога заявили Люся и Света, несколько принужденно, как показалось Петру, посмеиваясь.

– Чем могу, – пообещал Петр, присматриваясь к подругам и вспоминая третий курс, после которого он с ними расстался.

На третьем курсе Люся еще дичилась мужчин, как маленькая дурочка, предпочитая безопасно кокетничать с кавказцами на рынке. «О, Люуса пришла! – сверкая белыми зубами, перегибались к ней молодые кавказцы. – Когда ты мнэ дашь, Люуса?» «Дам как-нибудь!» – смеялась черноглазая Люся и угощалась спелым гранатом, слизывая с припухших губ терпкую влагу. «Хочэт, но нэ дает. Хорошая дэвушка!» – решали кавказцы, любуясь ее стройным и гибким станом.

Светленькая Света на третьем курсе и готова, и рада была бы, может, подарить кому свои первые восторги, но в ее тускловатом рыбьем взгляде и вяловатых движениях явственно читалось, что как женщина она может быть интересна лишь теоретически, а шутит и смеется больше из хорошо развитого чувства юмора, чем из кокетства и темперамента. Никто не пал жертвой ее невыразительной женственности. Из трех подруг в одной лишь Маше бросалась в глаза постоянная готовность быть зажатой в темном углу, чтобы ее там потискали и вволю пошарили. (Но и та, сколько было известно, не давала.)

– Можешь, можешь... – заверили его не постаревшие подруги.

– Мы хотим, чтобы ты нас дефлорировал, – произнесли они в один голос. – В наши годы неприлично быть девственницами.

И тут Петр ошибся.

– Это лучше к гинекологу... – профессионально прикинул он.

Подруги обменялись долгим ироничным взглядом.

«Почему я?» – удивился и засомневался про себя Петр. «А почему не я?» – отмел он малодушные сомнения.

– Ты не понял... – дрогнувшим голосом протянула черноглазая Люся, мужественно улыбнувшись.

– Мы хотим естественным способом, – поувереннее закончила русоголовая Света.

– С удовольствием, – как кот, улыбнулся Петр и пристально посмотрел на маленькую, нежную грудь Люси.

Подруги взволновались и зарделись, у него в штанах стало тепло, твердо и тесно.

## **V. БОЙ И ПОБЕДА**

### **1**

---

Поднимаясь вечером к себе на пятый этаж, Петр еще с третьего почувствовал, что на его площадке кто-то дышит и тихо переминается с ноги на ногу, пошаркивая подошвами. Потом он уловил струйку свежего и легкого аромата сырой березовой рощи и отдельную горькую струйку гари и пожарища.

Это были забытые запахи его Родины.

Лесной аромат струился от мягких сапог Евстихия, жирно промазанных березовым дегтем, а гарью наносило от его холщового мешка. Эти два столь разных запаха удивительным образом не смешивались. Поднимаясь на пятый этаж, Евстихий протянул их за собой по всем этажам невидимым шлейфом и плотно укутался ими на площадке. Соседская овчарка совсем растерялась. Она никак не могла решить, то ли ей гавкать на запах чужого человека за дверью, то ли уж забыть о сторожевом инстинкте и с наслаждением и тревогой принимать к чудным ароматам вольной собачьей жизни.

Как старший, Евстихий первым протянул руку Петру. Видно было, что рукопожатие для него еще непривычно и странно и он немного стесняется.

– Сгорела гостиница-то, – сообщил Евстихий в объяснение своего появления.

Овчарка за дверью перестала сопеть и принимать к, перебрав лапами, залилась на голос чужого, как злобная болонка.

– Цыть! – сказал ей Петр.

Причина пожара была банальна, как старинный плакат со снятой телефонной трубкой, большими цифрами «01» и строгой физиономией, исполненной чувства гражданского долга.

Сильно захмелевший Илья Владимирович включил могучий кипятильник в розетку, промахнулся им мимо стакана, уронив его на пол, и уснул прямо в кресле. Кипятильник мгновенно докрасна раскалился, от него зачалил край синтетического ковра, потом нежным спиртовым пламенем занялся корабельный лак дубового паркета, а потом пошло и пошло с воем и треском по коридору и через деревянные перекрытия на другие этажи. Да и как пошло-то, будто бензином плеснули! К приезду пожарных правое крыло гостиницы выгорело на корню. Хорошо хоть не подвело чуткое обоняние лесного жителя. Евстихий поморщился, приняхался, соскочил со ступень, как кошка, проснулся, бросился в спальню и столкнулся с кроватью Николая Мирликиевича. Прыгнул обратно в гостиную, забросил на плечо, как куль с картошкой, Илью Владимировича, вынес его в коридор и прислонил там к стене. Метнулся снова в номер, и вывел за руку уже очумевшего Николая Мирликиевича, и гаркнул дежурную. Ну а уж та всполошилась и побежала стучать в двери.

К огнетушителям не кинулись – исправные огнетушители так и провисели на положенных им местах, пока не полопались от жара, выпустив желтую пену.

– Ну что ж, – сказал Петр кержаку, откровенно оглядев его от высокого картуза на голове до запыленных сапог. – Умерла – так умерла, сгорела – так сгорела. Поживи пока у меня, мил человек Евстихий. Любопытный ты человечек...

– Да и ты тоже любопытный. Человек – тварь любопытная, – согласился кержак.

Он успел когда-то стать конфиденстом Николая Мирликиевича и спешил выполнить его поручение. Покопавшись в мешке, он прямо на лестничной площадке протянул Петру маленькую прямоугольную оловянную пластинку, чтобы ее можно было повесить на шею, у нее был красный шелковый шнурок. На пластинке были выдавлены две фигурки в ниспадающих одеяниях, как можно было понять, всмотревшись в плохо различимые линии. Выдавленные фигурки держали что-то в руках, но что держали – этого различить было уже нельзя. Образок Евстихию в последний момент сунул Николай Мирликиевич, чтобы тот передал его Петру; оловянный образок крещеный индеец Бузу Чейвис якобы освятил в кафедральном

соборе Лимы, чем неизмеримо повысил его ценность. Николай же Мирликиевич то ли забыл сразу передать образок Петру, то ли еще почему не передал самолично.

– Кто ж это такие? – стал вспоминать Петр, так и сяк повертывая образок под тусклой коридорной лампочкой. – Козьма и Дамиан, что ли, первые хирурги? Это они отрезали у негра ногу и пришили ее белому гладиатору? Это они ногу держат! Братья они?

– Кузьма и Демьян-то? – перевел на русский Евстихий. – Брателки, а как же. Мы им так и молимся: «На том острове стоит дуб кряковистый, под тем дубом сидят брателки Кузьма и Демьян. Кузьма и Демьян, почто из синего моря выходят женщины простоволосыя, тянут из людей белые жилы, пилят желтые кости, точут черную пень? Велите им, брателки...».

– Так это ж заговор! – удивился Петр.

– Молитва, – кивнул Евстихий.

– Заговор. Народная медицина, лечебная магия. Волхование, бесовство, – пояснил Петр. – Позабывали вы правильные-то молитвы...

В другое время Петр не стал бы, конечно, ничего такого пояснять. Но теперь вокруг него происходили какие-то странные вещи, и эти вещи требовали от него какого-то необычного поведения. О, он всегда умел тонко принаравливаться к течению жизни!

– Рука у меня тяжелая... – заученно загудел оскорбленный Евстихий и потянулся к Петру взять его за шиворот.

Это он сделал напрасно. Этого делать не следовало. Такого Петр не спускал. Левой рукой он перехватил кисть Евстихия и завернул ее против естественного сгиба, а левой ногой быстро и сильно ударил изогнувшегося Евстихия под коленку. Евстихий потерял равновесие, и свободной правой Петр несильно толкнул его в лоб. Заваливаясь назад, Евстихий громко стукнул тяжелым затылком в соседскую дверь.

Соседская овчарка сошла с ума у себя за дверью.

---

## 2

---

Норовистая кровь забурила в Евстихии, грозные глаза его загорелись, могучие мышцы его напряглись, семь станových жил натянулись, толстый позвоночник согнулся, двенадцать крепких ребер

разошлись, сине-склизкая селезенка задрожала.

– Гха! – сказал он, переступив с ноги на ногу.

– Я сломаю тебе колени, – пообещал Евстихий. – Я выверну тебе локти. Я вырву твое сердце, я съем твою печень. Я выпечу твою кровь, я сварю из нее колбасу. Из твоих ягодич я налеплю пельменей, из твоих бедер я нажарю котлет. Твои почки я вымочу в белом молоке. Из твоих костей я сделаю кровать, из твоего жира я сварю мыло. Я выкопаю тебе глаза. Из твоего черепа я сделаю чашу. Твою кожу я натяну на барабан. Твои кишки я намотаю на кулак. Из твоих локтевых жил я сплету струны для балалайки, из твоих коленных жил я сплету струны для хомуза. Твоими позвонками будут кидаться мальчишки, девочки будут нюхать твои яйца. Я брошу твое мертвое тело в пустом месте. Вороны прилетят к тебе на уедие, кости твои сглодают лисицы. Кроме червей, никто тебя не помянет, а когда над твоей безымянной могилкой вырастет верба, я нарежу из нее дудочек.

Петр медленно улыбнулся.

Евстихий пошел на Петра разгневанным крабом –

Петр унырнул от него юрким гольяном.

Евстихий ухватил Петра за рукав –

Петр саданул его каблуком в коленную чашечку.

Евстихий размахнулся –

Петр встретил его прямым в челюсть.

Евстихий замотал головой –

Петр прицельно добавил ему под ложечку.

Евстихий заревел тоскующим лосем –

Петр молчал, как акула.

Евстихий побежал на Петра черным болотным буйволом –

Петр вскочил ему на спину пестрым лесным львом октором.

Евстихий слоном бросился на спину –

Петр выскользнул из-под него скользким налимом.

Евстихий взял Петра в двойной нельсон –

Петр сделал ему якутскую носовую завертку.

Евстихий загнул Петру салазки –

Петр схватил его за теплые яйца.

Евстихий заревел раненым вепрем –

Петр молчал, как крокодил.  
Евстихий задохнулся – Петр дышал глубоко и ровно.  
Евстихий заерзал – Петр извернулся.  
Евстихий разжал объятия – Петр вскочил на ноги.  
У Евстихия дрожали коленки –  
Колени Петра были теплы и гибки.  
Мышцы Евстихия окаменели – мускулы Петра играли.  
Глаза Евстихия помутнели – взгляд Петра был светел и ясен.  
Евстихий колыбался, как морская пучина, –  
Петр стоял недвижим, как скала.  
Евстихий вонял, как силлурийский моллюск, –  
Петр благоухал, как цветущий кипарис.  
Проснулась от шума соседка Петра тетя Тоня.  
Заворочалась тетя Тоня,  
Забурчала со сна тетя Тоня,  
Закряхтела, вставая, тетя Тоня.  
Открыла дверь тетя Тоня.  
Пустила тетя Тоня первой немецкую овчарку Локи.  
Шелковая шерстка на Локи встопорщилась,  
Искорки огневые из шерстки посыпались,  
Острые ушки у Локи поджались,  
С клыков слюна горячая закапала,  
Хвост двухсаженный по бокам бьет,  
Когти по полу скребут.  
Зарычала сука, как Скимон-зверь,  
Завыла сука, как Устиман-зверь.  
Забросалась сука, закидалась сука.  
Тяпнула она Петрушу за лодыжку,  
Хватанула она Евстихия за икру.  
Рассердился Петруша,  
Саданул суку ногой под самые ребра.  
Растерялась Локи,  
Заскулила Локи.  
Рассердился Евстихий,  
Лягнул суку в нежное брюхо,  
Под самые ее сорок восемь черных сосцов.

Заскулила Локи,  
Жалобно завывала Локи,  
Хвост поджала, домой убежала.  
Вышла на площадку сама соседка Петра тетя Тоня.  
Завертела широким задом тетя Тоня,  
Завихляла стройными бедрами тетя Тоня.  
«Крученья-верченья мои!» – сказала так тетя Тоня.  
«Крутелки-вертелки мои!» – запела так тетя Тоня.  
«Гляделки-смотрелки мои!» – завывала так тетя Тоня.  
«Давалки-терпелки мои!» – застонала так тетя Тоня.  
Давала она Петруше затрещину,  
Давала она Евстихию зуботычину.  
Петруше она давала нашлепочку,  
Евстихию она давала наляпочку.  
Сильно-крепко схватила она Петрушу за волосы,  
Сильно-крепко вцепилась она Евстихию в бороду.  
РванулсЯ Петруша – не вырвалсЯ.  
РванулсЯ Евстихий – не вырвалсЯ.  
... тогда Петруша слегка тетю Тоню.  
... тогда ее слегка Евстихий.  
Пуще прежнего разошлась тетя Тоня.  
Петрушу она, взъярившись, пальцем в глаз ткнула,  
Евстихия она, озверев, пнула под муди.  
СхватилсЯ за глаз Петруша,  
СхватилсЯ за правое мудё Евстихий.  
Сказал тогда Петруше Евстихий:  
«Глупый ты, глупый вьюнош!  
Не знаешь ты бабьей ухватки,  
Не знаешь ты, как с бабой сладить!  
Спросил бы у меня, у старого,  
Дал бы я тебе совет, как с бабой сладить:  
Бей, вьюнош, бабу под титки,  
Пинай, вьюнош, бабу под гузно!»  
Послушал Петруша Евстихия:  
Бил Петруша тетю Тоню под титки.  
Пинал Петруша тетю Тоню под гузно.

Пала на нежные коленки тетя Тоня.  
Запричитала тетя Тоня:  
«Муж мой, муж разлюбезный!  
Твою жену тут бьют-избивают:  
Под белые титки кулаками ее пхают,  
Под мягкое гузно ногами ее пхают, –  
А ты, старый козел, того и не чуешь,  
Лежишь на диване, как колода стоеросовая!»  
Вышел на площадку сам сосед Петра дядя Саша.  
Не понял ни хрена дядя Саша,  
Не въехал что к чему дядя Саша.  
... по привычке дядя Саша слегка тетю Тоню,  
... весьма сильно дядя Саша тетю Тоню.  
Пошатнулась тетя Тоня,  
Задрожала, как лист, тетя Тоня.  
Подбежала к косивчату окошку тетя Тоня,  
Высадила плечиком белодубову оконницу.  
Закричала в окно тетя Тоня:  
«Девушки-подруженьки мои,  
Девицы-сестрички мои,  
Певуныи мои, плясуныи мои!  
Бабоньки-портомойницы мои,  
Старушки-поскакушки мои!  
Не выдайте вы меня у дела, у ратного!  
Идите на помощь ко мне, сколько вас ни набирается!  
Спешите на помощь ко мне, где бы вы ни были!  
Торопитесь-поспешайте,  
Не дайте вы меня во обидушку, во великую!».  
Сказав-прокричав так,  
Наполнилась сил тетя Тоня.  
Выкрикнув громко так,  
Взъярилась тетя Тоня.  
Карие глаза ее засверкали,  
Белые зубы ее заблестали,  
Груды ее встопорщились,  
Сосцы ее выскочили,



Волосы на голове дыбом поднялись,  
Из-под жопы паленым понесло.  
Пустила тетя Тоня шип по-змеиному,  
Засвистала тетя Тоня по-соловьиному.  
Взмахнула тетя Тоня крылами совиными,  
Щелкнула тетя Тоня клювами гусиными,  
Замотала тетя Тоня хоботами змеиными,  
Поднялась тетя Тоня под потолок под самый.  
Летает под потолком, в руки не дается,  
А грозитя угрозами великими:  
«А хочешь, Петруша, я тебя огнем спалю?  
А хочешь ты, старый примудила Евстихий,  
я тебя живком сглотну?»  
Ну а с тобой, муженек, разговор у нас будет особый!  
Пожалеешь, колченогий, что на свет родился!».  
Увидал тут Петруша, что дело плохо.  
Увидал Евстихий, что хуже некуда.  
Увидал дядя Саша, что ... им полный приходит.  
Подбегаил к окну первым Петруша,  
Сделал из пальцев козу Петруша,  
Закричал-зазычал громким своим голосом молодецким:  
«Пацаны, дружья-братья мои!  
Ноженьки у вас, молоденькие, быстрые,  
Глазки у вас, маленькие, вострые!  
Играли мы с вами в одной песочнице,  
За девками мы с вами за одними ухлестывали,  
Портвешок мы с вами из одного горла распивывали!  
Не выдайте меня, своего сверстника,  
У того дела, у ратного,  
У часочка у того, у смертного!».  
Услышали его пацаны, потянулись к кастетам с финками.  
Подошел к окну седатый Евстихий,  
Навалился на оконницу старый,  
Закричал-зазычал громким своим голосом молодецким:  
«Старичье вы мое, старичье!  
Воронье вы мое, воронье!

Воронье вы мое старое и бывалое!  
Мимо-то вы, старенькие, не каркаете,  
Борозды-то вы, седенькие, не портите!  
Не выдайте меня, старого своо товарища,  
У того дела, у ратного,  
У часочка у того, у смертного!». Услышало его старичье, потянулось к клюкам,  
шалыганам подорожным.

Проснулся третьим в окно дядя Саша,  
Повел головой дядя Саша,  
Посмотрел на полнощную сторону:  
Льды и торосы там великие,  
Тьма над синим морем выколи глаз,  
Окиан-рыба-кит по синему морю ходит,  
насмешки рыбалям строит:

«А вот-де махну плавником – волна подымется,  
Зальет ваши суда-лодочки, перетопнете к чертовой матери!» –  
Не будет с полнощной стороны помощи.  
Посмотрел дядя Саша на полдневную сторону:  
Пальмы там везде, кипарис-деревца, пески-барханы зыбучие,  
Ананасы под ногами растут, яблоки.  
Только жары стоят там все Петровские, Меженские,  
Людишки ходят все от жару томные, квелые. –  
Не будет от таких толку-помощи.  
Посмотрел на восход на солнечный:  
Жеребьячье молоко там пьют не кипяченое, не цеженое,  
Рыбу там живком едят не вареную, не жареную,  
Бабы волосы на голове бреют,  
Мужики косы отращивают,  
Все в шальварах ходят одинаких,  
Вместо вилок у них по две палочки,  
А о ложках они и не слыхивали,  
Ни бельмеса не знают по-русски, по-человечески. –  
Не дожждаться от них толку-помощи.  
Посмотрел на запад на солнечный,  
Совсем посмурнел дядя Саша:

Немцы там разные немые да албанцы немые,  
Итальяшки-макаронники да французы-лягушатники,  
Немцы колбасу трескают да пивом запивают,  
А полячишки на них облизываются,  
А венгры полячишкам кукиш кажут. –  
Не будет от таких толку-помощи.  
Призадумался дядя Саша, повесил буйну голову  
ниже плеч могучных:  
«Одна у нас остается надеждущка, одна, последняя,  
Последняя такая, распоследняя, последней ее не бывает,  
А от предпоследней и толку нетути».  
Закричал-зазычал дядя Саша громким  
своим голосом молодецким:  
«Мужичье вы мое, мужичье сиволапое!  
Мужичье пьяненькое, мужичье драненькое!  
Головушки у нас с похмелушки побаливали,  
Женушки нас пилами попиливали,  
В ментовку нас, бедненьких, сдавывали,  
Из вытрезвиловки нас, пьяненьких, не выкупливали!  
Дорожка у нас бывала – безпроторица,  
Одежонка у нас бывала – гунька кабацкая,  
Вместо перинушки у нас бывала мать-сыра земля,  
В головах у нас лежало поленце березовое,  
Одеяльцем нам бывало облако бегучее,  
Утиральничком нам бывал кулак мозолистый,  
А самым верным товарищем – пес ледащий,  
Ледащий пес, подзаборный!  
Не выдайте вы мою головушку победную,  
У того дела, у ратного, у часочка у того, у смертного!».  
Услышали тетю Тоню на тонкосуконной фабрике,  
Услышали ее на фабрике верхнего трикотажа,  
Услышали ее на железной дороге,  
Услышали ее в детских садах и яслях.  
Услышали дядю Сашу на металлургическом комбинате,  
Услышали его на кирпичном заводе,  
Услышали его по пивным и бильярдным,

Услышали его в гаражах и подвалах.  
Петра и Евстихия везде слышали.

Швей-мотористки и мотальщицы-вязальщицы собрались на улице имени Восьмого марта. Пошли по улице швей и мотальщицы, забили в тимпаны, задудели в зурны. Блеяли тоненько швей:

– ...! ...!

– ...! ...! – басом рубили мотальщицы.

Сталевары и токари собрались у ДК имени Серго Орджоникидзе, советского наркома тяжпрома. Пошли по улице сталевары и токари, выворачивая из мостовой булыжники.

– ...! ...! – печатали шаг безусые токари.

– ...! ...! – печатали шаг седоусые сталевары.

Пенсионеры двинулись с улицы Советской по старой памяти.

– Е-дрить твою мать! Е-дрить твою мать! – скандировали пенсионеры, размахивая клюками.

Молодежь полезла изо всех щелей.

Девчонки визжали:

– Отсосикоза! Отсосикоза!

– От-ва-ли, козел! От-ва-ли, козел! – ломкими басочками вторили им мальчишки.

Сошлись силушки на центральной городской площади.

Швей кусались, мотористки лягались, мотальщицы били моталами, вязальщицы лупили вязалами. Токари били по носопыркам, сталевары лупили по широким грудям, пенсионеры клюками, шалыганами по головам колотили, девчонки малые в глаза пальцами тыкали, мальчишки штaketинами охаживали.

Сантехники махали трубами, шофера махали монтировками, сверлильщики кололи сверлами, портные кололи ножницами, плотники топорами рубили, столяры стамесками резали.

Профессора кидались книгами, студенты метали пивные бутылки, шахматисты лупили досками, чучмеки с рынка апельсинами целились, мясники сырыми котлетами принашлепывали.

Плохо всем приходилось, тягостно.

– Айзеры! Не выдайте! – закричали тогда айзеры.

– Чукчи! Не выдайте! – закричали тогда олуторы.  
– Кыыс Дэбилийэ! – закричали тогда эвенки.  
– Арья Баала! – запели тогда монголы.  
– Хай живе вільна Украина! – хохлы гаркнули.  
– Матка Боска Ченстоховска! – полячишки заверещали.  
– Матерь Божья Казанская! – русские грянули.  
– Нех же Польска не сгинела! – обрадовались полячишки.  
– Есть еще порох в пороховницах! – казачки рассмеялись.  
С полуденной стороны пошли эшелоны с азербайджанами.  
С полунощной стороны на оленях поехали эвенки,  
Поплыли на каяках алеуты,  
Поплыли на умиаках алеутки.  
С восхода солнечного поскакали на конях монголы с бурятами,  
С запада солнечного пешим порядком  
двинулись хохлы с поляками,  
И отовсюду полезли мелкие народы с преступной психологией.  
На небе просветя млад светел месяц,  
В устье Енисея вошел Шестой американский флот.

## VI. ВЕЩИ МИРА

– Здоров ты кулака пускать! – оценил Евстихий боевые навыки Петра. Над ванной Евстихий, играя лопатками, ворочался, как медведь над корытом.

– Чира научил, – сдержанно усмехнулся Петр, с приятным чувством вспомнив детство и отрочество, и подал медведю чистое полотенце.

Стать уважаемым бандитом Чира готовился уже в возрасте, когда мальчишки, испытывая свою неокрепшую мужественность, подвергают себя бессмысленным истязаниям и по улицам шастают, как молодые масаи. После тренировок Чира выстраивал в зале пацанов, только-только начавших осваивать переднюю стойку и бросок через бедро.

– Сачки – уходят! – искушающе провозглашал он.

Настырные пацаны оставались, и, прохаживаясь вдоль шеренги, Чира бил кого в солнечное сплетение, а кого – в челюсть. Пацанам предоставлялось на выбор: убегать из зала, заискивающе улыбаться

и уворачиваться или ставить неумелые защитные блоки.

– Пацаны, вам жить в страшном мире без правил! – поучал Чира.  
– Учитесь драться! На! На улице не будут ждать вашего приема – на улице бьют сразу! На! В глаза на улице смотреть нельзя, смотреть нужно... Уй, сука!

Это Петр невинно отвел взгляд и саданул страшного Чиру кулачком в солнечное сплетение. После этих жестоких уроков Петр уже не напрягался, когда, опаздывая в школу, срезал углы по чужим дворам. А когда его стали выставлять на чемпионаты по дзюдо и самбо среди юношей в весовой категории до сорока восьми килограммов, был уже готов к маленьким нарушениям правил честной борьбы: подставленному как бы невзначай колену, локтю, захавшему му в челюсть, кулаку, захавшему в солнечное сплетение.

– Образок-то не потерял? – вспомнил Евстихий, взяв полотенце.

Входя в ванную, он прежде снял нательный крестик, решив, видно, что ванная – это та же баня, только без печки и шаек, куда с крестиком заходить нельзя, чтобы не оскорбить маленького мохнатого банника, закоренелого нехристя.

– Не потерял, не потерял. Завтра с утра пойду к гостинице, посмотрю, что от нее осталось.

– И я с тобой пойду.

Петр осмотрел Евстихия:

– Переодеться надо. Бороду сбрить. После сегодняшнего ты до первого патруля дойдешь в таком виде. Менты сейчас злые, как собаки.

– Это верно. Злые они на меня должны быть.

Петр рассмеялся:

– А что ты на них так бросался-то?

Евстихий поковырялся в памяти, с неохотой возвращаясь к прошедшему и забытому, и смущенно улыбнулся:

– Серые все какие-то, с дубинками. Вот мне и почудилось... И стал я их гвоздить...

Потом, неумело швыряя горячим чаем, кержак рассудительно гудел:

– Апостол говорит: «Не прикасайтесь дел их темных, и не принимайте от них ни еды их, ни питья, ими же враг рода человеческого

злокозненно улавливает человека в сети свои диавольские». Но сам порассуди, мил человек, не Христос ли сказал Петру: «На тебе воздвигну церковь мою, и врата адовы не одолеют церкви», – и если я пью чай, чтоб тебя уважить, то я же его и высу, а веры своей не порушу. Сказано ведь апостолом: «Не в силе бог, но в правде, и дух святой не в желудке у тебя, но в душе твоей голубиной!». А вот ежели я пожелаю имуществом твоим владеть как своим и на железной машине стану ездить и гордиться над всеми, кто пеш ходит, тут-то меня Сотоно и уловит и железным крюком утащит! Уж мы спорили об этом, спорили, да не по-моему вышло. Отстану я от своих, однако. Они говорят, что если господь спалит нечестивца, то имущество его очистится в купели огненной и греха на нем не будет. Вот, говорят они, допустил же господь бомбу какую-то нетрогательную – человек от нее погибает, а имущество его остается в целости. Ты ничего про нее не слышал?

– Это нейтронная бомба, – сказал Петр. – Небольшая атомная бомба в кобальтовой оболочке. Американцы изобрели.

– Сотоно ее изобрел с попущения Господня! – сердито поправил Евстихий.

Сидя за столом на кухне и положив на него локти, а потом прямо сидя на диване в комнате, Евстихий медленно переводил взгляд, словно ощупывал и взвешивал им, на чайник с красной свистящей крышечкой на коротком носике, на сковородку, тихо скворчащую на синеватой газовой розочке, на гладкий холодный бок холодильника, на эстамп Дали на стене, на книжные корешки на полке, на пипеточку настольной лампы на столе, на черную стрелочку старинного барометра, показывающего «хлябі небесныя разверзнут-ся». Сидеть и смотреть так он мог долго, словно видел предметы и вещи мира впервые и должен был крепко запомнить, как они выглядят сами по себе.

## **VII. ТУННЕЛЬ**

Городского внука кержак Евстихий ни разу не видел, но думал о нем много.

О кержаках у нас в Сибири наслышаны все, но многие уверены почему-то, что кержаки живут в скитах, как медведи в берлогах. Это прискорбное заблуждение. Скитов не осталось даже в Сибири. Последние настоящие Черемшанские скиты в верховьях Подкаменной Тунгуски сожгли энкавэдэшники в сорок третьем году. Нынешние кержаки живут не как прежде: получают почту, слушают радио и работают в лесной пожарной охране – в летнюю засуху сидят на завалинках и ждут, когда за ними прилетит вертолет, чтобы доставить их на пожар. Бывают у них и посторонние. Как истинно русские люди, дети равнинных лесов и рек, кержаки издавна селились по речным берегам, и теперь к ним приплывают на моторках парни из близлежащих сел, километров за сто – сто пятьдесят. Приезжие играют с местной молодежью в «ручеек» и выбирают невест. Девушки-кержачки ценятся за тихий и ровный нрав и чудовищное, даже по сибирским меркам, трудолюбие, но гораздо, гораздо больше ценятся они за нравственную чистоту, стойкость и непреклонность характера, за способность приручить и, если нужно, обуздать самую буйную мужскую натуру. Вслух об этом никто, конечно, не скажет, но каждый сибиряк мечтает жениться на кержачке. Парни-кержаки тоже выходят из тайги – отслужить в армии. Армия для них – возможность посмотреть мир и заодно проверить, правильно ли деды-уставщики описали им его устройство; домой возвращаются не все.

Возвращаются, кто убедился, что бородатые пращуры, унесшие иконы и хоругви в глухую тайгу, не ошиблись. Вернувшиеся сжигают паспорта и военные билеты и включаются в общее дело подготовки к тысячелетнему автономному существованию. Они к нему и сейчас деятельно готовятся.

Сын Евстихия из армии домой не вернулся, а поселился в нашем городе в частном секторе на Лысой Горе. Женившись на городской оторве, он произвел на свет сына и стал спиваться, устав ревновать жену к встречному-поперечному.



В каменном городе лесному жителю Евстихию было маетно и тягостно, как сохатому на Невском проспекте, и по «Бороде», проспекту Карла Маркса, Петр его не повел, а повел боковыми улицами и дворами, срезая угол.

Утренний город при косом солнечном свете – это нечто особенное. Для истинного горожанина город хорош при любом освещении, но лишь утренние лучи способны сообщить каждому зданию отдельность и целостность, скрасть его архитектурные изъяны, отретушировать щербины на штукатурке, залить светлой тенью провалы между домами, обнажая ровные плоскости стен и стройные контуры пустынных улиц, когда рабочий люд уже всосан турникетами заводских проходных, а время бабок с тощими кошелками, потерянно толкающихся по магазинам, еще не наступило. Божественную пустынность в этот утренний час нарушают только редкие-редкие очумевшие пьяницы у бессонных киосков, но пьяницы давно уже стали такой же неотъемлемой деталью городского ландшафта, как фонарные столбы, телефонные будки, проломленные скамейки и обоссанные собаками мусорные урны. Ну а ширкающие по асфальту метлы задумчивых дворников даже подчеркивают разлитую повсюду беспокойную уже тишину. (Не то – ночной город, но ночной город достоин отдельной и долгой песни.)

– Эк понастроили-то! – воскликнул Евстихий, озирая утреннюю городскую панораму с Лысой Горы.

– Впервые в городе? – сказал Петр нейтральным голосом.

– Бывал, бывал, приходилось.

– Давно?

– Давношний я, давношний, – подтвердил кержак, равномерно кивая головой.

По асфальту он не шел, а почти бежал экономным шагом охотника – легко и быстро семеня ногами, не распрямляя до конца колен и почти не размахивая руками – шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп...

---

### 3

Жизнь нашему городу дала великая сибирская река. Течет она, в общем, на север. Подчиняясь закону Кориолиса, многие тысячи лет она подмывала правый берег и, если бы время от времени не

упиралась холодным скользящим боком в мощные выходы скальных пород, вообще утекла бы на восток. Тогда казаки атамана Кудри просто сели бы в легкие лодочки и поплыли себе дальше, покуривая люльки, гонимые неутолимой жаждой наживы и любовью к вольной жизни, не знающей себе пределов, почему они и оказались, собственно говоря, за Камнем, за Уральским хребтом. Дикий край заманивал казаков пушным ясаком и свежим ощущением явственного присутствия во всем грозного бога, сотворившего всю эту дичь. «О диво дивное! – восклицал огненный протопоп Аввакум, второй по счету национальный герой сибиряков. – Горы высокие, дебри непроходимы; утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову! В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы, – перие красное, – вороны черные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и пеликаны, и лебеди, и иные дикие, – многое множество, птицы разные. На тех горах гуляют звери многие дикие: козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие, – во очию нашу, а взять нельзя! Человече! Убойся бога, сидящего на херувимех и призирающего в бездны!» Но следом за трепетными казаками размеренно и неотвратно шли стрельцы с тяжелыми бердышами. На своеволие казаков, грабивших инородцев, крутой московский воевода боярин Семен Троегубов накидывал тугую административную удавку – вешал неукротимых атаманов на деревьях. И казаки, не желавшие усмирять бурлящую кровь, уходили от его тяжелой руки все дальше и дальше на восток, пробиваясь через таежные буреломы и заснеженные перевалы Хамар-Дабана, пока в верховьях полустепной реки Шилка их не остановили упорные китайцы, преграждая им путь в благодатную долину Амура. После чего казаки вынуждены были повернуть на северо-восток, спуститься по гибельным порогам Витима и пробиваться к Охотскому морю вдоль северных отрогов Станового хребта, по камням, мхам и марям. Сабель казаки на своем долгом пути не обнажали: мирные инородцы охотно соглашались платить ясак белому царю и крестились всем стойбищем, покоренные кротким ликом нерукотворного Спаса. Казаки попереженились на чукчанках и корячках, переоделись в тор-

баса и кухлянки, научились есть юкколу, только песен не забыли.

Не от пламечка, не от огничка  
Загоралась в чистом поле ковыль-трава;  
Добирался огонь до белого до камешка.  
Что на камешке сидел млад ясен сокол.  
Подпалило-то у ясна сокола крылья быстры-ья...

– подпив, растягивают кряжистые старики с русыми окладистыми бородами и высокими нерусскими скулами в редких-редких русских селениях по заполярной Индигирке.

В городе у нас с тех времен ничего не сохранилось. Острожек, срубленный на высоком правом берегу казаками, сгорел в восемнадцатом веке, и лишь казачий погост, появившийся у стен острога голодной зимой тысяча шестьсот сорок восьмого года, просуществовал почти до наших дней. Еще в двадцатых годах на него перенесли прах десяти большевиков, расстрелянных колчаковскими карателями на станции Александровская. Но уже в конце тридцатых старое кладбище сровняли с землей и устроили на его месте городской ЦПКиО – Центральный парк культуры и отдыха. Патетический чугунный монумент с расстрелянными большевиками долго еще кочевал по городу с места на место, пока его не запихнули в укромный уголок на Пристанской; и там года полтора назад его распилили бомжи, чтобы продать китайцам как лом цветного металла.

Борода, нынешний проспект Карла Маркса, а бывшая Большая улица, берет начало от главного городского моста и заканчивается у подножий Лысой Горы. Русские принесли в Сибирь белое дерево и привели своих ведьм. Березовые рощицы потянулись вверх по таежным распадкам, настораживая чутких на чужое шаманов, а пришлые ведьмы угнездились на никем, кажется, не занятых неприглядных возвышенностях, лишенных приличной растительности вроде душистых луговых трав, а заросших всякой буйной дрянью наподобие чертополоха. Каждое такое нечистое место русские по старой памяти стали называть Лысой Горой. Ничем особенным, впрочем, сибирские ведьмы себя не прославили, не то что, допустим, ведьмы украинского Полесья. Видно, новые скудные места пришлись им не совсем по вкусу или их укоротили шаманы. В шаманов и буддийских лам русские в Сибири до сих пор верят больше,

чем в собственных колдунов и попов. Даже кержаки-старообрядцы в трудных случаях, помолившись, едут к ламе, не таясь от сурового уставщика.

Главный городской мост когда-то был деревянным, а потом рядом со старым через реку перекинулся новый каменный; от старого остались только совсем сгнившие сваи у левого берега, они проглядывают сквозь мутноватую текущую воду и наводят на мысль о самоубийстве. Тогда же замостили Большую улицу и возвели у самого моста каменную громаду собора Одигитриевской Божьей Матери. На Большой строили вычурные особняки губернские чиновники с первого по пятый класс, врачи и богатые купцы, а небогатые мещане обживали речные берега. Изначально город наш жил скототорговлей, и пыльный шлях, уходивший на юг с левого берега, так и назывался – Скотопригоньевский. Дважды в год, на Троицу и Покров, в городе устраивались скотские ярмарки, и через Коровий брод напротив устья Почайны переправлялись на правый берег бесконечные табуны и стада, пригнанные киргиз-кайсаками из Богуйминских ковыльных степей. Быстрая Почайна намыла длинную песчаную косу до другого берега, и лошади и коровы длинными вереницами долго шли по невидимой косе против течения, лишь глупые коровы изредка останавливались и принимались мычать о чем-то важном или оступались в неожиданные подводные ямы. Оступившихся коров уносило далеко вниз по течению, где уже караулили на лодках проворные городские мещане. Существовало неписаное правило: унесенное рекой животное принадлежит тому, кто его поймает, почему ярмарки и проводились на возвышенном правом берегу, а не на низком левом, где удобнее было бы и кормить животных, и вода была бы ближе.

– Твоя удача, бачка! – смеясь и сверкая зубами, кричали киргизы удачливому мещанину и шутливо грозили ему кнутом.

Блеющих овец на правый берег перегоняли по мосту, а то их всех разнесло бы вниз по течению мягкими серыми шарами. За переход каждой сотни бралась плата – пять голов, что киргизов уже не так веселило. Унесенная корова была данью реке, жертвой, которую река сама же и забрала. Но почему они должны были жертвовать деревянному мосту хитрых русских?

– Уй, шайтан-шайтан, хитрый ород! – цокали они языками и заставляли заново пересчитывать отару.

Вот почему Большая улица с самого начала уходила от реки – дальше от низких навозных запахов и звуков, а нынешняя одетая в гранит набережная была когда-то самой заурядной мещанской улицей, застроенной деревянными домишками и амбарами.

По левую же сторону от Большой, если смотреть от реки, долго еще шумел сосновый бор с дикими козами, тетеревами и рябчиками, к радости городских охотников. За Сухой падью бор переходил в тайгу, и в плохие на кедровый орех годы на Большую выходили больные, отощавшие и очень опасные медведи. Чиновники и купцы прицельно расстреливали медведей из английских штуцеров, а мещане палили из одноствольных «тулок» или брали ревущих медведей в колья.

---

#### 4

---

Евстихий шлепал и шлепал по асфальту, как по таежной тропе, с любопытством поглядывая по сторонам. Привычная равномерная работа ходительных мышц вернула ему способность тонко дифференцировать сложные впечатления от чуждого окружающего мира.

– Эх они вертятся-то у нее! – проводил он взглядом пронесшуюся иномарку.

– А тут купец жил, богатющий... – уверенно предположил он, рассматривая лепнину на особняке бывшего райпотребсоюза; теперь особняк занимала «Российско-эскимосская торгово-промышленная кампания», как гласила вывеска над зеркальными дверьми.

– У-у, глубоко!.. – потопал он ногой по решетке водостока, заросшей мусором.

Под решеткой проходил подземный тоннель. Талые и дождевые воды с Лысой Горы стекали по нему в Почайну, или Почайку, как называлась маленькая речушка, у слияния которой с главной городской рекой казаки и срубили первый острожек и где теперь драмтеатр и ЦПКиО.

– Ведь не проваливается же! Держит его, значит, земля! – подивился он серой бетонной громадине «Олимпийского».

До «Олимпийского» они дошли минут за сорок, почти строго следуя направлению подземного водосточного тоннеля. Каждой

весной, всосав в свое жерло обильные талые воды из бурьянистых буераков Лысой Горы, туннель долго нес и взбалтывал их мутные пенные потоки под фундаментами домов, под асфальтом улиц и перекрестков, под трамвайными путями, вбирая в себя маленькие грязные струйки и ручейки, журчащие из водосточных решеток тут и там. От центрального колхозного рынка туннель круто поворачивал налево, словно сам, едва не захлебнувшись вязкой вонючей жижей, сочащейся с поверхности мира, и содрогаясь от брезгливости, выплескивал всю эту дрянь и мерзость в Почайну. Ну а уж быстрая Почайна уносила жижу к городскому пляжу. Впрочем, ранней весной пляж все равно пустовал (даже городские моржи куда-то все исчезали к весне), а в остальное время года туннель был сухим, разве лишь в проливные дожди вновь наполнялся бурлящими водами. Когда Петр был совсем мальчишкой, городские пацаны, собравшись в ватаги по пять-шесть человек, а иногда и втроем, погожими осенними деньками предпринимали вылазки в туннель.

Страшнее, но и восхитительнее было идти с Лысой Горы. Если идти от Почайки, то минуты всего через две полной темноты, после поворота у рынка, глаз уже уверенно ловил тоненький мерцающий лучик от далекого выхода, и оставалось только побыстрее шевелить булками ему навстречу. Путешествие в обратном направлении – от Лысой Горы к Почайке – было волнующим и долгим, как всякое истинное перемещение из тьмы к свету.

До поворота идти приходилось в полной темноте, с каждым неуверенным шагом все далее и далее уходя от тепла и солнца, теряя ориентацию во времени и пространстве, все глубже и глубже погружаясь в холодные фантазмагии сознания, лишенного ориентиров и координат, ловя ухом далекое журчание и гадая, откуда журчит и долго ли еще, значит, до Поворота, и, всякий раз убеждаясь, что это еще не Поворот, механически шагать и шагать, отслеживая глазом скачущий конус света от фонарика и поминутно натываясь на спину товарища, идущего первым с единственным источником тусклого света, и, забывая о конечной цели путешествия, находить в себе силы поддаться острому соблазну и остановиться и выключить фонарик, чтобы совсем уж замереть в тишине и стылой недвижимости подземелья, а потом вновь двинуться дальше, не будучи уже уве-

ренным, что вообще когда-нибудь выйдешь на свет, и снова и снова прислушиваться и гадать, на какую мягкую дрянь только что наступил: сгнившую телогрейку, дохлую кошку, мертвого младенца? – и что это неощутимо повеяло по щеке: паутина, выдох привидения? – и тут слева выплывал четко очерченный светом прямоугольник выхода, сияющий как вход в райские кущи. А за ним – быстрая, холодная, чистая река, ломкий шорох палой листвы под ногами, сверкающие на солнце бутылочные осколки, стволы высоких деревьев, горьковатые дымы осенних костров, одна на всех первая сигарета и новая, новая жизнь, жизнь истинная, жизнь вечная.

## **VIII. АНГЕЛ ГРОЗНЫЙ**

С парапета набережной Петр показал Евстихию крышу следственного изолятора в Заречье и спустился к реке. Пройдя меж zapomнившихся ему той ночью черных гранитных валунов, он вышел к тому точно месту, с которого невидимый в темноте Николай Мирликийевич цитировал о божьем духе над водами.

Река несла свои воды к Ледовитому океану, в тускловатом солнечном свете напоминая поток жидкого олова. Посреди фарватера мелькали длинные, тонкие весла трех спортивных лодок-восьмерок. Гребцы в ярких костюмах, ритмично сгибаясь и разгибаясь, подобно тугим пружинам или мускулистым тюленям, быстро и слаженно выгребали против сильного течения.

– И-и раз! И-и раз! И-и раз! – разносились над холодной водой команды миниатюрных рулевых в кепочках.

И лодки рывками подвигались вперед и вперед по тягучей и неподатливой, казалось, поверхности тускло светящегося потока, долго сохраняя четкость своих стремительных силуэтов.

Евстихий терпеливо дожидался Петра наверху.

– Эк как складно гребут! – оценил Евстихий работу гребцов. – Да-леко им плыть, видать.

– Это спортсмены. Тренируются.

– Ишь ты! – сказал Евстихий.

– Тут остров позавчера был, – произнес Петр, глядя на пустую реку.

Евстихий весь наострил:

– Ночью был?

- Ночью.  
– Поблазнилось, – Евстихий обмяк. – Почудилось. Бывает. Мне вот тоже анамеднись ангел привиделся.
- 

## АНГЕЛ ГРОЗНЫЙ ВОЕВОДА

### *Видение Евстихия*

– Пошел я, значит, в ночь медведя высиживать. Ну, залез на засидку, угнезвился, жду. Винтовку приладил, все. Сижу. И тянет меня в сон: умаялся за день-то. А ночь тихая, темная, деревья шумят: «Шу... шу...». Но креплюсь. И вот вроде бы уснул, но не уснул, а будто все слышу и вижу, но шевельнуться не могу, как онемел весь. Но и то – зябко ночью-то. И тут как осветило меня сверху. Что за напасть? Поднимаю голову – батюшки светы, чуть винтовку не выронил! Свет по небу плывет, пленочкой тоненькой, как бензин по воде, переливается... Что, думаю, такое? И жутко, и сладостно как-то на душе от того света. И вот вижу: ангел божий по небу ступает и мечом-от огненным грозитя, и сполохи от меча по всему небу, как от пожара.

Я шептать конечно: «Молю тя, страшный и грозный посланниче вышняго царя, воззри весело на меня, окаянного, да не ужаснуса твоего зрака. Дажь ми, ангеле, час покаяться и согрешения бремя тяжкое отринути и весело с тобой путешествую, куда поведешь мя: в геену огненную или одесную трона Отца нашего небесного». Шепчу как заведено, только смотрю на лицо его прекрасное – а он мечом-то вроде грозитя, а сам слезьми-то так и уливается, а слезинки его, как яхонты, дрожат и переливаются, и свет от них нежный-нежный, тихий-тихий.

Многие его в ту ночь видали: Тимоха-уставщик из Орешниковой, бабка София из Татарского Ключа, хромой Луверьян с Матвеевской заимки. Вот я и думаю: ангела грозного все видали, а слезинки его горячие один я увидел. Поблазнилось мне. Нешто я праведник, что один слезы ангельские сподоблен был увидеть?

*Конец видения Евстихия*

---



– С крыльями ангел был конечно, – предположил Петр.

– Это душа человеческая с крыльями, – как маленькому, терпеливо пояснил Евстихий. – Ангелы – в платье пресветлом, какое кому по чину ихнему положено: серафимы – в белом с золотым поясом, архангелы – в белом с красным, херувимы – в белом с серебряным, стихии – в голубом с красным. Сам порассуди, мил человек: на что ангелу крылья, если он ангел? Иисус по воде ходил, аки по суху, но ведь и то человек был, а ангел – «несотворен еси и прежде творения сущ быв», как в книгах писано. А душа – слабая, ей без крыльев белоперых никак.

Кержак Евстихий умолк. Ему было что сказать еще, но этот чужой, ироничный и решительный человек, не способный понять, о чем ему толкуют, но твердо стоящий на ногах, был ему симпатичен. Кержаку не хотелось увидеть на его лице недоверие к своим словам, в которых для него заключалось слишком многое, чтобы так легко ими попуститься.

– А я пойду-ка, – через какое-то время сказал Евстихий. – Внучка, может, увидаю. Ты, мил человек, не обессудь: ежели что, так я у тебя еще переночую.

Он отвернулся от Петра и быстро пошел, побежал почти, по набережной к далекому мосту, на глазах уменьшаясь в размерах. В Заречье можно было доехать на троллейбусе, но идти пешком Евстихию казалось надежнее и быстрее, когда он видел, куда идти.

## **IX. РАЙСКИЕ КУЩИ**

Петр поступил, как всякий порядочный и зрелый мужчина поступил бы на его месте. Какие ощущения рождаются и бродят в некрасивом, неласканном теле старой девы, когда она до изнеможения нянькает терпеливую кошку? Вот величайшая тайна и загадка бедного женского естества!

Солнце, к полудню расцветившееся ярко и сильно, к вечеру стало угасать и затягиваться облаками. Его лучи, скользя и отражаясь от слоистых туманов на разных высотах, заливали небосклон небывалыми нежными желтоватыми оттенками, навевая мечты о несбыточном. Сидя у раскрытого окна, они пили красное вино и ели оливки.

– Господь посадил оливковую пальму, а уж потом взялся месить глину для Адама, – сказал Петр, кладя в рот первую.

– Неужели вкусно? – не поверили подруги.

– Это самый божественный овощ! – заверил Петр. – Оливки – это вкус солнца и сирокко. Сирокко – это знойный ветер пустыни, он дует в пору цветения оливковых пальм, а солнце там светит всегда. Знаете, что делает перед боем тореадор?

– Что он делает? – веселым эхом откликнулись подруги.

– Целует женщину, выпивает бокал красного вина и съедает оливку, чтобы в последний, может быть, раз сполна насладиться вкусом жизни.

– А-а... – сказали подруги.

– За Испанию! – провозгласил Петр, поднимая бокал. – За тавромахию, за бой и гибель! За вкус жизни!

– За Испанию! – поддержали подруги.

Черноглазая и смуглая Люся гордо повела головкой, изображая черную цыганку, старую плясунью и певицу, а Света, как девочка, ее ученица, щелкнула воображаемыми кастаньетами.

Так они болтали и смеялись, невинные, как дети, пока враз не умолкли, встретившись взглядами; взгляды подруг были неуверенны и вопрошающи, взгляд Петра – тепл и уверен.

– Диван у меня один, – поставил он их в известность, – но тесно нам не будет. А ворочаться будем по команде, синхронно.

И тут же стал рассказывать какую-то веселую чепуху, как студентами, возвращаясь с Камчатки, где они солили рыбу, они двенадцатером спали в шестиместной каюте по двое в узких морских койках.

Люся и Света слушали его с самым непритворным вниманием, пока он попутно застилал диван свежими простынями.

Откидывая край покрывала с вкрадчивой осторожностью сатира, откладываящего флейту в виду двух испуганных трепещущих нимф, Петр мягко, очень мягко предложил:

– Раздевайтесь?

И стал обнажаться сам.

– Уже, что ли? – нервно рассмеялась Света.

– А ты думала, тебя в одежде будут? – это сказала Люся.

Сказав так, она взялась за верхнюю пуговку нарядной шелковой блузки.

И, перебрав пальчиками, расстегнула пуговку.

Раздеваясь, Петр мудро оставил на креслах плавочки, чтобы не оттолкнуть пугливых девственников видом своего качнувшегося волосатого хозяйства, развесистого и тяжелого, и стал терпеливо дожидаться, когда они сами робко прикоснутся к его мужскому телу первыми с извечной настойчивой мольбой и просьбой.

Комната с легким скрипом тронулась и невесомо поплыла, как большой корабль под всеми парусами.

– Ты... – Люся неуволимо прикоснулась к его плечу.

– Я, – подтвердил Петр. – Я. Добро пожаловать в райские кущи...

И провел подушечкой мизинца по ее нежной ложбинке. Господь сотворил женщин одинаковыми, это верно, но сколько сокровищ и сокровенных мест может открыть на каждой из них опытный путешественник, привыкший к долгим странствиям, если не будет спешить и спотыкаться!

– Я тоже хочу в кущи... – пискнула у него из-за спины Света, прикасаясь к нему гладким прохладным бедром.

– А ты – после меня, – с мукой прошептала Люся, отважно пробираясь под его туго натянутый тонкий хлопок, чтобы взять в неумелую ладошку его крепкий корешок, жезл его жизни, его ониковый столбик, его нефритовый стержень с золотым набалдашником, его готовый боднуться упрямый рожок.

Петр был великолепен, словом.

– Как ты нас... – в унисон простонали обессиленные подруги, когда дождик кончился и тучки рассеялись, как говаривали в таких случаях древние китайцы, большие знатоки и умельцы в этих делах.

И заплакали. Кто сочтет причины женских слез, тот пересчитает звезды на небе, и все равно останется дурак дураком, ибо хоть одна неучтенная причина да найдется.

Утром Люся, уже у дверей, за десять шагов до лестницы, по которой ей предстояло спускаться, поинтересовалась, посмеиваясь и поигрывая глазами:

– Что ты у меня всю ночь там искал?

– Хвостик, – улыбнулся Петр.

– Поищи еще, – грустно попросила Люся, подставляя попку.

Расставались так они в четверг утром (по моим подсчетам), и в

четверг же днем Петру позвонили в больницу. Тут важно, как все цеплялось одно за другое, отражаясь одно в другом, порождая миражи и надежды, которым не сбыться.

– Сударыня, – услышала медсестра из трубки густой и сильный мужской баритон. – С вами говорит Анатолий Карасев, майор спецназа и генеральный директор Российско-эскимосской торгово-промышленной компании. Будьте любезны, пригласите к телефону Петра Андреевича Сабашникова.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I. МАЙОР КАРАСЕВ

Ностальгии по школьным годам Петр не испытывал. Сбросив их с себя, как змея старую кожу, он никогда не возвращался мыслью к своему потускневшему мертвому выползку. К некоторой его досаде, Анатолий Карасев, обнаружив нить, как-то связывавшую их в юности, принялся ее подергивать и потягивать, пустившись в поиски общих учителей и знакомых; первых оказалось мало, вторых вообще не оказалось. Анатолий втайне, конечно, ожидал, что Петр его самого запомнил по школе, но этого и быть не могло. Когда Петр пыхтел и гремел ранцем, усердно взбираясь по крутой школьной лестнице, Толя Карасев, сплевывая, покуривал в школьном закутке, куда не заглядывал директор. Петр не мог разглядеть его в сиятельной толпе устрашающих старшеклассников. Петр даже и не пытался запустить время вспять, чтобы увидеть в уверенном, бородатом, массивном мужчине щуплого восьмиклассника с нежным тельцем глазастого осьминожика.

В осьминожике таился до времени атлет, и годам к девятнадцати юношеские кости Толи Карасева обросли массивной литой муску-

латурой метателя молота. Метателем молота он сделался в электротехникуме. Преподаватель физкультуры поразился, как хлестко бросает гранату один щуплый первокурсник, и отвел его в секцию легкоатлетического десятиборья. В девятнадцать лет Толя Карасев выполнил норматив мастера спорта по метанию молота (по непроверенным данным – его собственным словам; но какой-то норматив точно выполнил), хотя для метаний нужен рост под два метра как минимум. Чтобы компенсировать недостаток роста, он раскручивался, как взбесившийся волчок. Подошвы его дымились, и средневековый снаряд на длинной проволоке рвался и улетал из его рук прямо в небеса. К сорока годам он отяжелел, погрузнел, но еще мог выбежать на стометровке из двенадцати секунд и выжать штангу в полторы сотни килограммов; сам, по крайней мере, так утверждал и, похоже, не очень привирал.

Потом Анатолий служил в каких-то спецвойсках и учился на факультете биокибернетики медицинского института в Ленинграде, но не окончил его и вернулся домой. Работал слесарем на авиазаводе, прозектором в анатомке, лаборантом в НИИ Рыбоводства и лимнологии и в конце концов оказался в крутом бизнесе.

И у него бывали времена, когда он носил деньги дипломатами и покупал квартиры подъездами, но потом кто-то его кинул, где-то сделали его крайним, на бандитские стрелки пришлось ему ходить (якобы) с гранатометом (привезенным из спецвойск), чуть он в результате не спился и вот снова с радостью расправлял плечи, возвращаясь к деятельной жизни. Для начала обстоятельно ремонтировал двухэтажный особняк в центре города, превращая его в свой офис. Прежние постояльцы особняка, запасливые райпотребсоюзовцы, выдрали электрику до последней разбитой розетки и сантехнику до последнего проломленного унитаза.

– Куда они это старье денут? На толкучку, что ли, понесут! – от души смеялся и недоумевал Анатолий, проводя Петра по своим новым владениям.

Было часов шесть вечера, сантехники, работавшие с раннего утра, только что ушли, и в ободранном здании они остались вдвоем.

– На отделочные работы найму армян или турок, – сообщил Анатолий. – Берут меньше, а работают с утра до ночи, и лучше работа-

ют, чем наши. Что мы за народ такой?..

Бороду он носил светло-русую, стригся – в меру коротко, обнажая хороший прямой затылок над мощной шеей, был светлокож и имел правильные и приятные черты лица – походил на молодого капитана дальнего плавания, сошедшего на берег.

Он был симпатичен Петру еще манерой одеваться. Он вроде бы не следил за стилем в одежде и натягивал что попадало под руку, но под руку ему как-то всегда попадали вещи недешевые, добротные, неброские и говорящие сами за себя, вроде потертых голубых Levi Strausse. Из Америки их везли контрабандой через Прибалтику, и Анатолий покупал их, конечно же, еще в Ленинграде, у фарцовщиков. Это было в нем очень трогательно – какая-то верность идеалам фрондирующей юности.

Тоже и прожектер был.

– Север – богатейший край, столько хороших дел можно сделать! – уверенно восклицал Анатолий, убеждая Петра войти в свою команду.

Командный дух Анатолий ставил высоко.

– В любом деле главное – хорошая команда, когда никто не тянет одеяло на себя, а думает об общем деле, – рассуждал он, стоя перед Петром (сесть было пока не на что). – О деле! У сплавщиков есть хорошее слово – «сплавучесть». Сплавучесть. А деньги – заработаем, и большие деньги. Но сначала – дело. Большое дело. Будем заготавливать клюкву на Таймыре, там ее немерено. Когда идешь осенью по тундре, все сапоги от нее красные. Сбирать ее будут эскимоски и прямо там ссыпать в резиновые емкости по десять кубометров. Они называются как-то... «полевые хранилища горюче-смазочных материалов». Их готовили на случай войны на Севере: в них можно залить горючку и разбросать по тундре – ничего с ними не сделается, там резина какая-то космическая. «Оборонка» – это очень могучая отрасль, там такие головы сидели, а мы, дуболомы... Представляешь: идет танковый полк по тундре, находит емкость, заправляется и идет дальше. Мы эти емкости спишем – с военными я договорюсь, разбросаем по тундре, и пусть эскимоски набивают их клюквой, пока снег не ляжет. Клюква пролежит в них до лета, до начала навигации, ничего с ней в мерзлоте не сделается, а летом мы вывезем ее на вездеходах и – на баржи. Туда баржи повезут продук-

ты и горючку на зиму, а обратно – клюкву. У них с северным завозом всегда проблемы, а мы этот завоз возьмем полностью на себя. На себя. Здесь из клюквы будем давить сок и продавать за бугор: с директором «безалкогольной» я уже договорился, я с ним раньше работал. «Анатолій, – говорит. – Вези больше – всю перегоним!». Фигурные бутылки закажем в Калуге – медведей каких-нибудь. Нигде в мире такой чистой ягоды нет, как в нашей тундре. Экологически чистый продукт будет – это очень дорого, назовем его как-нибудь – «Чистый сок Сибири»!.. Ну, придумаем или найдем, чтоб придумали. Откатаем схему с клюквой – возьмемся за оленину. Пусть эскимосы побольше оленей разводят, оленю – ему ничего не нужно: перегоняй его летом к океану, а зимой – в тайгу, да от волков отстреливайся. Больше ничего, а осенью или когда там – забой. Оленину будут прямо там разделывать, а мы ее скупать оптом и в Америку на дирижаблях, там лететь-то через полюс неделю. Знаешь, сколько в Нью-Йорке стоит бифштекс из оленины? А дирижабль склепать – как два пальца обоссать. Я на заводе с мужиками разговаривал: у них заказов нет – такую отрасль развалили! Они хоть космический корабль сделают! Я смотрел чертежи, я в этом разбираюсь – два года слесарем шестого разряда работал. Ничего сложного: дюралевая оболочка, пространственная силовая рама, гондола, три движка с пропеллерами и четыре члена экипажа: капитан, штурман, пилот и бортинженер. Ну, двенадцать, чтобы сменялись по восемь часов, но и платить им будем! А унести он может полсотни тонн как минимум, это смотря по какому проекту делать. Мы сначала закажем поменьше, чтобы схему откатать: связи наладить, сбыт организовать – это ведь тоже целая наука, и не простая наука... Представляешь – в Нью-Йорк на дирижабле! Американцы обалдеют, они такого не видели. Госдуму подключим – там полярник известный заседает, прессу, телевидение... За пушнину возьмемся, нефть сами будем качать, золото мыть... Вахтовым способом: только крикни, столько народа набегит! Знаешь, какие мастера без работы сидят! А тут ни в какую Норвегию не надо ехать: три месяца в тундре, три – дома. Но сначала – нужна хорошая команда! Команда. А в команде должен был хороший врач: север, все может случиться. Сначала самим, конечно, придется по тундре мотаться. Без этого нельзя. А врач нужен не из поликлиники, а который сам через все это прошел. Практика у тебя будет богатейшая, не сомневайся, та-



кого опыта наберешься! Будешь заодно лечить эскимосов и наберешь хор-роший материал для диссертации. У вас ведь тоже сейчас без научной степени никуда, а у эскимосов свои какие-то болезни, может, даже новую болезнь откроешь – и ее назовут твоим именем. Есть болезни Боткина и Альцгеймера, будет еще синдром Сабашникова.

– Белое Безмолвие тебя манит, – заметил Петр, с приязнью рассматривая бородатого ребенка. – Ты сам-то на севере бывал или Лондона начитался? Кто тебе денег даст под эту бредятину? Пойдем лучше пивка хлопнем.

К чужакам Петр испытывал безотчетное расположение. Он не сомневался, что Анатолий проведал о его обстоятельствах случайно и загорелся идеей военврача в команде, которой пока не было, но существовал уже мысленный идеальный образ, какой она должна быть.

Анатолий набычился:

– Пиво будем пить за Полярным кругом. Если ты его так любишь, возьмем для тебя десять коробок. Зря смеешься. Я шесть лет ждал настоящего дела. Настоящего! И я его не упущу.

Петр обещал подумать, когда у Анатолия будет баржа и он загонит на нее первый вездеход. Предложение было волнующим – еще раз побывать за Полярным кругом (и выбираться потом с Таймыра на чем придется конечно, но это тоже было хорошо).

Любил Анатолий и попижонить. На улице его ждал длинный и плоский «Линкольн» песочного цвета с маленькой крышей, обтянутой натуральной темно-красной кожей. Дивную машину сделали в Детройте в баснословные времена растолстевшего Элвиса и совсем еще мальчишек Beatles, когда западный мир задвинулся на афро-азиатских религиозных культах, а бензин заливал в баки по десять центов за галлон. Стекла старой американской машины были по нынешней американской моде дочерна затемнены, будто в Америке выжили одни бандиты.

## **II. ЛЕГКИЕ МЕШКИ**

В пятницу Петр повел Маргариту в дом грез, в театр оперы и балета. Маргарита взволновалась, прихорошилась и радостно застучала каблучками по влажному асфальту под ручку с Петром. Днем

пару раз проливался небольшой дождик, и небо по-прежнему обещающе хмурилось, потихоньку сбивая серые кисельные туманы в черные кучевые облака; движение в небесах не прекращалось.

На маршрутку они садились на «Элеваторе». Это название упорно держалось за остановкой, улицей и жилым массивом, возведенным в основном в конце пятидесятых – начале шестидесятых. Метрах в двухстах ниже от «Элеватора» (разумея остановку и улицу) город надвое рассекала железная плеть «Транссиба», и в годы войны где-то тут действительно стоял деревянный элеватор, в его бункеры ссыпали зерно для фронта и победы. Потом на окраине построили новый мелькомбинат с большим элеватором, а старый снесли, название же его сохранилось.

Теперь на пяточке за остановкой выстроились крытые прилавки «поля чудес», и русские женщины, полвека назад ворочавшие где-то тут неподалеку мешки с зерном, смиренно нищенствовали, разложив на картонных ящиках семечки, спички и сигареты. И не то чтобы за прилавками наживались одни чурки и лица кавказской национальности, хватало и славянских лиц, и не все это были лица молодые и бесстыжие. Да и не так уж сильно они наживались, а то не стояли бы в жару и мороз, зарабатывая варикоз и цистит. С одной женщиной Петр как-то раз заговорил, дожидаясь сдачи.

---

## ЛЕГКИЕ МЕШКИ

### *Рассказ пожилой женщины Людмилы*

– ...А Людмилой зови, как мама назвала. Отчество-то? А Тимофеевна, Тимофеем отца звали. Нет, не пришлось. Он немолодой уж был – умер от воспаления легких в Иркутске, не доехал до войны. И остались мы с мамой и братом сиротами после него. Брат-то маленький еще совсем был, ну и пришлось мне на него тянуться. Где работала? А где приходилось: и в колхозе, и здесь у вас в городе на пристани: посылали ведь баржи разгружать. Нет, ничего, бригадир у нас добрый был, да и в городе хотелось побывать – девчонка совсем была. Раз, помню, расхворалась я сильно – тело так и ломит, так и ломит. Ну, к бригадиру: так, мол, и так, не могу, ставь, значит, где полегче. «Хорошо, – говорит, – Людмила, поставлю тебя на легкую

работу». Я сначала-то на мешках по шесть пудов стояла, так он меня на четыре пуда перевел, все полегче. Сколько это будет? Сам посчитай, грамотный, учился в школе, поди. Мужики-то ведь все воевали. Здоровье как? Слаба стала здоровьем. Позавчера пять стопочек вина выпила у внука на свадьбе, а утром голова так разболелась... Вино какое? Какое-какое – «белая», какое еще. Почему нынешние болеют? А как им не болеть! Я сама-то деревенская, последний год только в городе живу. Раньше знаешь как в деревне было? Хорошую девку за первого сына не отдадут, не-ет, который вперед всех родился. Первые – они хилые. Хорошую девку отдавали за самого за середнего, чтобы родовой не испортить, таких и в приймаки брали, ну, чтобы у тестя жил. Ну и для парня хорошего невесту тоже искали подходящую – не старшую, а из середины, третью-четвертую, эти самые справные получаются. Неженатый еще сам-то? Надумаешь жениться – на первой не женись. Баба к третьему ребеночку только и разрожается, как следует, это ведь дело не простое – рожать-то, с первого раза не всегда и получается. У многих получается, говоришь? Это вам, нынешним, сравнивать не с чем.

### **III. «КУВАЛДА»**

Вылавливая из потока маршрутку, Маргарита затылком ощущала, как у нее за спиной пучатся и медленно лопаются грязные пузыри жизни. Нищих и бомжей на «поле чудес» напознало, как клопов от соседей. Бомжи копошились в закутках между прилавками, пересчитывая в грязных сумках собранные бутылки, или полдничали, усевшись в кружок под ильмами, тополями и акациями. Нищие кланчили у продавцов, пробираясь на костылях вдоль прилавков. Некоторые выползали на остановку, но тут им подавали еще меньше: от их тусклых глаз легко уносил троллейбус или трамвай.

– Какой страшный мужик! – сказал Петр.

С высокой бетонной ступеньки, официально разделявшей торговую площадку и панель остановки – два островка, порознь плывущих в плотном потоке городской жизни, примеривался соскочить на своей тележке огромный безногий мужик. На голове у него была черная бескозырка, а грязное голое тело скрыто полосатой матрасовкой с дырами для рук и шеи; для ног дыры были не нужны.

Вместо колес тележка мужика каталась на больших подшипниках и стрекотала и чиркала по буграм на асфальте, как швейная машинка.

– Что? – тихо спросила Маргарита, оборачиваясь.

Она не любила вдруг отвлекаться хоть от чего, все внезапное пугало ее, как темная комната, как шаги за спиной на ночной улице; раздражаясь или уставая, она говорила тихим голосом, и тогда нестерпимо хотелось заставить ее говорить громче, хоть ущипнуть ее, что ли.

– Посмотри, – повторил Петр, ловя Маргариту за локоть, как птицу.

По лужам подплывала нужная маршрутка, и Маргарита бросилась к ней, помахивая рукой и готовясь улететь. Они опаздывали, а опаздывать она не любила, как хромец не любит пробираться по рядам кинозала, расталкивая чужие гладкие колени своей скрюченной кочергой.

Сильно хмельной мужик качнулся на краю ступеньки, его тележка проскрежетала вниз и наискось, он уперся правой рукой в асфальт, а левой стал дергать под собой тележку. Толстые мышцы на его голых руках надувались и опадали, бескозырка с оторванной ленточкой съехала с седого колтуна и, перекувыркнувшись, шлепнулась на асфальт.

Повозившись так без толку, мужик поднял большое лицо и внятно сказал Петру:

– Помоги, сынок.

Петр был врач. Сердце его зачерствело, каждый день погружаясь в чужие боль и страдание, и он без всякого внутреннего принуждения взял мужика под голые, горячие, скользкие от пота подмышки. Даже без ног мужик тянул к земле, как чугунный, и Петру пришлось понапрягаться.

Угнездившись на тележке по-своему и вернув на место бескозырку с полустертым золотым «...врора» по околышу, мужик басом, отдающим в хрип, попросил:

– Сынок, дай три рубля.

Петр протянул десятку. Волнистая бумажка слетела с его пальцев и исчезла под расплюснутыми ягодицами могучего калеки.

– Я тебя раньше не видел, – сказал Петр.

– Как будто ты всех видел, – ответил снизу калека, уставив на Пе-

тра горячие лошадиные глаза.

– Такого, как ты, я бы запомнил. Тебя только кувалдой убивать.

Даже сидящий калека приходился Петру выше пояса.

– Держит как-то. А ты вот что, сынок, ты дай-ка мне еще рубль.

– Откуда ты? – спросил Петр.

Калека назвал далекую деревню. О ней Петр не слышал или слышал много раз: Никольское, Мамлеевка, Новая Брянь, Петропавловка, Саратовка – много их таких с похожими названиями на необозримой Русской равнине.

– Собралось вас тут, – заметил Петр.

– Крестный ход на Николу Вешнего. Исстрадался народ. Просить Угодника будем. Сам, говорят, явился.

– О чем?

– Знаем о чем.

Калека взял в толстые ладони свои кожаные толкачки и сильно бросил тележку вперед.

– Меня кувалдой и убивали, – сказал он сквозь стрекот подшипников.

– Когда Никола? – крикнул ему вдогонку Петр.

Калека не услышал, выруливая к ларькам. У ларьков, холодно ощупывая прохожих глазами, прохаживались осторожные торговки катанкой.

Маргарита нетерпеливо поджидала Петра у края тротуара.

– Мы опаздываем, – напомнила она тихим голосом. – Он их все равно пропьет.

– Нужно же человеку иногда порадоваться.

– Он каждый день так радуется!

– Ему ничего другого не остается.

– Ему остается помыться! – закричала Маргарита.

Смотреть на бомжей и нищих ей было физически тяжело. Глядя на них, она словно сама с ног до головы покрывалась в три слоя чужим липким потом (размываться же могла часами, плюхаясь под горячим душем до полусмерти).

На какой такой волшебный спектакль она опаздывала и так настраивалась, боясь расплескать волнуемое предчувствие чуда и преображения мира? На «Лебединое озеро», на голубого принца,

замороженного черным лебедем. («Голубой герой» – балетный термин; по цвету трико, обтягивающего мускулистые ляжки и толстую мошну неистребимых щелкунчиков и нескончаемых принцев, озабоченных, как не потерять равновесие в ходе побудки очередной зачарованной принцессы.)

## IV. СПАСЕНИЕ КОСОГО

### 1

В первое утро неволи Васьки Косого пахан камеры, зрелый мужественный вор с серым волчьим взглядом, не дойдя до параши нескольких шагов, остановился и повернулся лицом к двухэтажной шконке, выжидательно похлопывая резинкой тренировочных штанов. Шестерки посталкивали на пол спавших на ней мужиков, пахан пробрался к стене и пустил на кирпичи толстую желтую струю.

Каменная тюрьма в нашем городе была построена через год после мастерских депо, в девятьсот втором году. В тридцатые годы тюремщики справили новоселье – за городом построили новую просторную тюрьму (вокруг которой сразу вырос поселок с названием, много говорящим для понимающего, то есть для всякого русского, – «Южлаг»), а старую тюрьму превратили в изолятор временного содержания. За сто лет ее толстые стены ничуть не утратили надежности, но тюремному начальству не приходило в голову принять к сведению одно очень важное обстоятельство.

В девятнадцатом веке (и даже еще в начале двадцатого) раствор для кирпичной кладки в Сибири замешивали на яичном белке. Привозной цемент был дорог, гашеная известь, даже выдержанная в ямах, как и положено, три года, не дает нужной прочности, зато кур было в избытке. Засохшую смесь извести и яичного белка невозможно отколупнуть, даже просто поцарапать ее трудно, но легко размочить едкой мочевиной. Камера усиленно пила воду и мочилась на стену в одном месте, а чуханы и петухи, собрав мочу с пола тряпками, выжимали ее обратно на стену. Размочив кладку, они, тихонько матерясь друг на дружку, выковыривали раствор черенками ложек и расшатывали тяжеленные старинные кирпичи. При царе этот способ не сработал бы – вертухаи мигом все учуяли бы

по запаху, но из битком набитых камер современных российских изоляторов в нос шибает такой духан, что непривычный человек мигом теряет сознание.

## 2

Следственный изолятор – это еще не зона, понятия там блюдутся не с той строгостью. Пишущий эти строки лично знаком с человеком, позволявшим себе в камере изолятора выловить обратно летающий по раковине умывальника обмылок. Но и характер нужен. «Вор или мужик?» – спрашивают в хате новосела, чтобы определиться с местом человека в обществе. И много-много нужно независимости и дерзкой находчивости, чтобы снять безысходную дилемму неожиданным: «Индивидуал!». Этот мой знакомый нашелся, надолго погрузив камеру в размышления, что бы это слово могло значить и как к этому отнестись, но и характер требуется, натура. У Косого такого не было. И пошла васечкина душа по мытарствам: тюремная хата есть тюремная хата... После прописки, устроенной ему жестоким молодняком (мало кому из молодых новичков удастся пройти ее безболезненно, и никому не удастся ее избежать), измученному Косому отвели место на шконке и стали к нему исподволь присматриваться: принимать ли его в семейку, чтобы делить с ним передачи, чай и курево и драться за него, как за себя, – насмерть, если придется.

Первым из приблатненных к нему подсел Леха Цветной, длиннотелый деревенский парень тридцати лет. В отрочестве у Лехи произошел вывих сознания. В маленькой деревне далеко от города и железной дороги он очаровался блатной романтикой наколотых перстней и церковных маковок. Первый раз он сел по малолетке за хулиганку: поддерживая реноме первого блатаря, устроил в клубе на танцах драку со студентами. Драка закончилась неумышленным нанесением тяжких телесных, и односельчане Лехи с облегчением вздохнули. Отсидев и вернувшись, он тут же украл у председателя колхоза мотоцикл с коляской и сел за мотоцикл. Откинувшись, Леха опять поехал домой в деревню, но подцепил на вокзале блядь, залез с ней в чужую квартиру, и снова пошли для него дальние ночные перроны и команды конвоиров: «По одному, руки за спину, на выход пошел!». Сейчас он ждал суда за гоп-стоп.

– Хочешь конфетку, Вася? – Цветной протягивал Косому действительно блестящую шоколадную конфету.

– Хочу, – сказал Васька и взял сладкое.

Он был растерян и подавлен. Он не думал, что на киче так гнусно. О тюрьме он вообще никогда раньше не думал.

– Так что, Косой, ты вор, говоришь? – уважительно уточнил Цветной.

– Вор, – с удивлением повторил Косой.

Об этом он тоже никогда раньше не думал.

– Ну давай тогда перекинемся в картишки. На яйцо.

И Цветной затрещал колодой. По понятиям, вор должен держать тело в чистоте, чифирить и играть в карты. Косому это быстро объяснили, когда он заертачился.

Даже русскому не каждому понятно, что это означает – «играть на яйцо». Игра может быть любой – очко, подкидной или бура, но финал ее всегда один. Проигравший должен быть прибит к лавке через яичко, а дальше – самое интересное, смысл и смак игры. Чтобы просто изуродовать ближнего, существуют более эффективные способы – та же игра «на глаз», допустим, когда проигравшему «выкапывают», как говаривали в старину, глаз ложкой. Нет, весь смак тут в безобидной в общем-то шутке, веселом розыгрыше, даже можно сказать. Проигравший получает право самому прибиться к лавке. Естественно, прибывает он себя не через скользкое и твердое яичко, а через мягкую мошонку, что не так уж больно и для мужского здоровья безвредно. Зато он лишен права вынимать потом гвоздь и должен сидеть прибитым до шмона, когда в камеру свирепо врываются вертухаи-прапорщики, и после рева: «Встать, лицом к стене, руки за спину!» – все очень, очень быстро вскакивают и встают, как сказано, а один остается сидеть. «Ну а ты, голубок, что – оглох или так сидишь, борзеешь?» – спрашивает тогда у прибитого веселый ражий прапор, поигрывая дубинкой. Читателю, конечно, не приходилось драться с прапорщиками.

Говоря вообще, в ходе прописки новичку устраивают удивительные психологические ловушки. Стоишь ты, допустим, в дверях камеры с вещами, а на тебя упорно не обращают внимания. И вот примерно через час тебя и спрашивают: не тепло ли ты, не болтун ли?



– Не трепло.

– А минуту промолчишь? – уточняют. – Бить не будем, пальцем тебя никто не тронет. Промолчишь – живи спокойно, спать будешь вон там, – показывают, – а этого чухана можешь под нары спихнуть, это будут ваши проблемы.

– А если не промолчу?

– Тогда мы тебя хором в коричневое солнышко опа! опа!

– Не-ет, так я не согласен! – возражаешь.

– Трепанулся ты тогда, выходит, – резонно говорят тебе. – Тогда ты сейчас кое-что другое будешь язычком потрепывать!

Ты видишь, что с тобой не шутят, и вынужден согласиться; ты, может быть, и не знал, что такая угроза – тоже не совсем по понятиям, но ты уже согласился сыграть.

Правила игры просты и прозрачны. По секундной стрелке засекается ровно минута, и тебе дают команду к началу – «Начали!». «Начали!» – должен подтвердить ты, и время твоего молчания пошло.

И вот:

– Готов?

– Ну, готов.

– Начали!

– Начали.

– А, заговорил, заговорил! Сейчас мы тебя хором!.. Эй, Рыжий, первым будешь – у тебя самый толстый!

– Так правила же такие?! – возмущаешься ты, вжимаясь спиной в железную дверь.

– Ну и молчал бы про правила-то!

Или вот еще, попроще.

Стоишь ты, опять, на пороге с вещами, и вот подходят к тебе и спрашивают в лоб:

– ... в жопу или вилку в глаз?

И опять ты видишь, что с тобой не шутят – вилку тебе в глаз воткнул не задумываясь, только скажи, и поди попробуй сразу сообразить, что вилки в камере не положены.

Изолятор посещал молодой батюшка – отец Михаил. Он-то и спас бессмертную васечкину душу и трепетную васечкину плоть.

После бесед с ним Косой обрел внутри себя несгибаемый нравственный стержень и больше не брался за карты. Играть в карты Косой не умел, он умел только воровать, и дыркой в мошонке дело не обошлось бы, разумеется. Леха Цветной добрался бы и до его коричневого солнышка – опа! опа!

### 3

Должность тюремного священника требует немало опыта жизни, и молодой отец Михаил по виду мало для нее подходил. Был он светлокож и юношески румян, близорук, полон телом, говорил тихо и в глаза собеседнику смотрел через очки не прямо и открыто, как библейский пророк, а как-то слишком умно и немного иронично, так что выражение его небольших черных глазок было и не уловить. Но он принадлежал к новой формации священнослужителей, наконец-то появившихся в лоне православной церкви. Эриугену, Абеляра и Иоанна Лествичника он читал в оригиналах, и заскорузлые в невежестве и злобе «синяки», отморозки и всякая тюремная шелупонь, подонки и отбросы не могли не чувствовать, что за его простыми словами стоят века, тысячелетия молитв, постов и напряженных размышлений: где правда – на земле, выше или ее вообще нет, – а сам он не ущербный фанатик, судорожно взалкавший личного спасения, но представитель могучего и живого церковного организма, который есть тело Христово. На лестнице от обезьяны к человеку он стоял тремя ступенями выше своей паствы, и у него всегда находилось в заглазнике чем растеребить ее заскорузлую в гордыне и злобе душу (эти ступени – фенотип, образование, вера).

- Бог меня любит? – допытывался избитый Косой у батюшки.
- Любит как отец, – отвечал батюшка.
- Он меня бил и называл сволочью, – упорствовал Косой.
- Это он потому так поступал с тобой, что сам несчастен, – смело отвечал молодой батюшка.

Ваську он толком еще не знал и совсем не знал его отца, но знал уже десятки других, как они. «Помни, деточка, – наставлял его старец Епифаний, его духовный отец. – Носы у людей разные, но души у них одинаковы: слабые они, безопорные».

- А я за него сидеть должен?! – возмущался Косой. – «Вот он я, папаша, твой сыночек!»

Это были слова из старинной тюремной песни о воре и его отце-прокуроре.

– Экая бессознательная ты креатура! – тихо посмеивался молодой грамотный батюшка, сматывая камилавку. – Разве за тебя отец воровал? А Господь тебе – отец, а не дедушка: он тебя любит, но и наказует тебя.

– А мне на него навалить! – дерзил Косой.

– Ты можешь валить на него, сколько хочешь, но если Он на тебя навалит...

– В ад, что ли, попаду? – не унимался Косой.

– Хуже. Вот возьмет Господь и за гордость оставит тебя тут навсегда. С чего ты решил, что ты-то обязательно умрешь?

В сущности, это была старая догадка палестинских пустынножителей, что нам-то вовсе не следует ожидать последнего Суда: мы и так уже в аду.

Молния сверкнула и треснула в голове у Васьки Косого. Думать о смерти ему было рано, он был пока бессмертен, и ужасная мысль, как его оставят в камере навсегда, навечно, пронзила его слабенькие мозги, как шило. Мысль была нелепа и тут же отринута, но секундного ужаса и замешательства ему хватило, чтобы сделать первый маленький шаг на долгом пути к спасению. Об ангелах, именно сейчас ведущих с бесами борьбу за его душу, прошло легче.

Через неделю лаз на волю был готов. Пропихивать в него Косого пришлось силой.

– Лезь, падла, фраер – на воле будешь каяться! – шипели ему, толкая в спину.

Побег был устроен не ради Косого, разумеется. Бежали сами по себе и по разным причинам. Пахан хаты бежал от большого срока за разбойное нападение, его шестерки бежали, чтобы повысить свой авторитет успешным побегом, Леха Цветной бежал по дури, а кое-кто из блатных бежать вообще не пожелал. Жить в бегах очень тяжело, и сильному человеку лучше бывает иногда дожидаться суда, поскорее отмотать срок, откинуться и вернуться к верной подружке, если, разумеется, приговор не обещает быть слишком суровым.

Косого, которому за единственную доказанную кражу светило всего года полтора, да и то, скорее всего, условно, – заставили бе-

жать по приколу.

Некоторое время тому назад сидел в Бутырке американский шпион – немолодой, очень полный и очень больной человек. И вот, вернувшись однажды с допроса, он обнаруживает, что его баночки со спасительными таблетками пусты.

– Где?! – кое-как спрашивает он сокамерников, с обидой демонстрируя им пустые баночки.

– Съели.

– Зачем?!

– А по приколу, – отвечают веселые сокамерники и с искренним участием спрашивают, как прошел допрос. (После суда больного шпиона помиловали и отпустили в Америку. Тоже, наверное, толстую книгу написал потом о нас.)

## V. АЛМАЗ ЖИЗНИ

### 1

Однажды ночью на мосту к восемнадцатилетнему Чире привязался пожилой, но еще крепкий мужик. Здорово поддав с вечера, мужик начинал трезветь и обижаться – на жизнь, на себя, на кого попало.

– Вы, молодые, – колеблясь между похмельным озлоблением и природным добродушием, надрывался он, нависая над Чирой подобно башне в итальянском городе Пизе. – Вы же ничего не видели в жизни! Ты же ничего не можешь мне сказать. Понял, да? Ты – сынок! Ты мой сынок. Ты думаешь, вокруг тебя всегда будут такие маленькие бацагашки<sup>1\*</sup> – утю-тю-тю-тю!.. с такими маленькими сечками – жим-жим-жим!..

Он приревновал парня к молодым женщинам, для которых он-то уже переставал быть объектом эротического интереса: для молодых женщин он становился куском старой козлятины в шляпе. Из такой ревности бабуин-вожак с визгом гоняется за молодым самцом, старый жеребец лягает молодого жеребчика, а профессор ставит студенту двойку вместо тройки.

– Отвали, мужик.

---

1      От бур. басага(н) – девочка, девушка.

– Что?! Да ты...

Чира бросил взгляд по сторонам, и жестокая молодость показала свою волчью повадку. Когда мужик очухался, суча ногами по асфальту, бумажника с остатками получки у него не было. Он бросился под патрульный милицейский «уазик», размахивая руками, как ветряная мельница, и «уазик» понесся в погоню, весело завывая сиреной. На пустынной ночной улице Чиру догнали. «Уазик» лихо перепрыгнул через бордюр и прижал Чиру к стене.

Два молодых мента вышли из машины, старший наряда распахнул переднюю дверцу и уселся на сиденье боком, как монгольский хан, привыкший не сходить с седла сутками. Чира стоял перед ним беглым пленником, хладнокровно ожидая решения своей участи.

– Сколько выпил? – спросил старший мент у Чиры.

– Я не пью, – холодно сказал Чира.

– Спортсмен, что ли? – нотка уважения прозвучала в голосе мента.

– Спортсмен.

– Борец?

– Борец.

– Сколько денег взял?

– У кого, у этого? Я его первый раз вижу.

Ограбленный мужик сделал возмущенное движение.

– Зато он тебя видел, – возразил мент.

– А, так это он на мосту валялся? – как бы догадался Чира. – Вы его лучше в вытрезвитель сдайте. Ничего я у него не брал, а своих у меня – пятьсот шестьдесят с чем-то рублей. Это мои деньги.

Говоря «мои деньги», Чира был искренен. Это был его трофей, добытый на поле боя.

Его обыскали. Мужикова бумажника у него не нашли. Чира сразу бросил его в воду, а мужиковы деньги пересчитал вместе со своими. Мужик не мог знать, какая сумма в итоге получится, – он и своих-то не помнил, сколько оставалось, а золотые часы с него Чира не снял, как чувствовал. Его задерживать не стали, а возмущенного мужика увезли в вытрезвитель. Менты выполняли план по пьяницам. В нашей безумной стране как раз началась повсеместная кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом.

Чира – Олег Петонович Очиров – не совершил ни одного настоящего преступления, прославил нас на трех Олимпиадах кряду, его именем достроили «Олимпийский», он превратил «Олимпийский» в главный центр спортивной и культурной жизни молодежи нашего города и вообще много сделал для спорта в городе и области: спонсировал районные спартакиады, учреждал стипендии для талантливой спортивной молодежи, закупал мячи, сетки и гири для спортивных школ. Многие тем не менее упорно считали его бандитом. Так им было легче объяснять себе, откуда у людей деньги, которых им в жизнь не заработать. Но и доля правды была. Чира принадлежал к тому разряду уважаемых людей, которые, быстро продвигаясь по избранному поприщу, скоро привыкают к вкусу своей и чужой крови на губах. Не режут на большой дороге, но принимают трудные решения. Эти решения вынуждают людей продавать квартиры и пускаться в рискованные предприятия, спиваться, подумывать о петле, говорить грустное «прощай» лучезарной мечте о красивой жизни и обреченно впрягаться в лямку унылой повседневности с ее дешевыми сигаретами, плохой водкой, переполненным общественным транспортом и детьми, сызмала привыкающими к мелочной экономии. Директором «Олимпийского» Чира стал, когда выкинули новый лозунг «Что не запрещено, то все можно» и дали спортивным организациям налоговые и таможенные льготы, чтобы удержать их на ногах. Прибылью от торговли американскими сигаретами и незабвенным «роялем» – финским спиртом Royal, выгнанным в Польше, Чира распоряжался единолично и дальновидно. Часть ее шла на развитие «Олимпийского», часть – на благотворительный фонд для спортсменов, ушедших из большого спорта и не нашедших себя в мирной жизни, а остальное – на скупку акций нашего «СибУла», крупнейшего в Сибири и, значит, в целом мире производителя цветных металлов.

«Олимпийский» деятельно приобщал молодежь к здоровому образу жизни.

Бывшие борцы и боксеры бесплатно кормились в столовой «Олимпийского», плескались в бассейне и парились в сауне, а потом Чира пристраивал их в охранные структуры, службы безопасности

при банках, в милицию и «Омон». Ментовское начальство тоже любило попариться у него в сауне и понырять в бассейне. Плескались и ныряли они, не опасаясь скрытых камер. Все в городе знали, что «Олимпийский» по вечерам – это не бордель, а закрытый мужской клуб. Блюдя чистоту стиля, в «Олимпийском» Чира позволял только пиво, и единственной женщиной по вечерам была в нем буфетчица.

А «СибУл» он очистил от паразитов-посредников, перепродававших готовую продукцию в Китай. Посредников крышевали бандиты, но связываться с Чирой было бы уже себе дороже. Лучше было договариваться с ним по взаимной выгоде, и в ресторане бандитского казино «Эльдорадо» его можно было увидеть за одним столом с весьма характерными личностями. Протягивая при знакомстве вялую холодную ладошку, непривычную к труду, личности кривили губы и гнусаво цедили сквозь гнилые зубы: «Ко-о-ля-ян» или «То-о-ля-ян». Со многими из них Чира был знаком с уличного детства. Они уважали его еще и за то, что трехкратный олимпийский чемпион не чурается старых друзей.

---

### 3

---

Но не сразу он стал уважаемым человеком. К уважению он привыкал, как птица привыкает к полету.

В школьные годы фамилия «Очиров» любому доставит немало неприятных мгновений (как и любая другая, впрочем). С такой фамилией нужно быть совсем зверенышем, чтобы даже старшие боялись тебя задеть, или нужен старший брат, источающий волны страха и уважения, как булыжник распространяет круги по воде: булыжник давно на дне, а волны от него все бегут, хлюпая по другому берегу. И лучше всего, чтобы старший брат только что освободился, отмотав срок по серьезной статье. Долго еще шпана будет иметь в виду существование на белом свете такого брата.

Такого брата у Олега Очирова не было, и сам он был обычным уличным мальчишкой. Он покуривал, на равных знал со шпаной постарше, мог отобрать у первоклашки мелочь или велосипед покататься, мог надерзить учителю, пренебрежительно называл мать «штпрунькой», а чужих отцов «штришками», не выдавал товарищей, но не был зверенышем. Не мучил кошек, не лез к девочкам под

юбки, не бился в злобных припадках, когда выходило не по его, и его отношение к своей фамилии прошло через все неизбежные в таком случае этапы. Неприязненное удивление, когда ему пришлось впервые откликнуться на нее в классе, сменилось ненавистью, когда из нее проклюнулось плохо скрытое «Чирей». Тут он выказал твердость характера – не откликнулся, когда его так окликали старшие, а ровесники уже и тогда не смели так его окликать, и ненависть к гадливой фамилии сменилась гордостью за себя. Кличка Чира тоже не радовала благозвучием, но ее происхождение можно было понять и так, что фамилию бездумно упростили единственно по необходимости образовать из нее хоть какую-нибудь кличку, но без всякого желания посмеяться и унижить. Да это и привычная для нашего уха кличка.

С отчеством же – Петонович – Олегу Очирову, можно сказать, повезло. Когда он дорос до отчества, оно произносилось, скандировалось точнее, не иначе как: «Бе-то-ныч, да-вай! Бе-то-ныч, да-вай!».

И Чира давал. В нем было то ценное и редкостное сочетание качеств, которое тренеры по вольной борьбе и самбо называют «кошачеством»: настырность, чувство равновесия, реакция, гибкость, быстрота и сила и относительно короткие ноги. Он был рожден для жесткого борцовского ковра, и после его коронных боковых подсечек никто не мог устоять на ногах.

На борцовский ковер он вступил в возрасте тринадцати лет. Минут десять подпирал дверной косяк борцовского зала спортобщества «Спартак», снисходительно посматривая на маленьких усердных самбистов, после чего длинно сплунул, напрямик через зал направился к тренеру и уверенно попросил:

– А можно мне попробовать?

– Куришь? – сказал тренер, ощупывая взглядом самоуверенного шпанца.

– Курю. А что? – окрылся Чира, готовый к унижению отказа.

– Бросишь – приходи, – отрезал тренер, отворачиваясь с напускным равнодушием: мужественное сердце его дрогнуло предчувствием большой тренерской удачи.

– Я уже бросил, – нашелся настырный мальчишка.

– Тихонов! – окликнул тренер старосту секции. – Повозись с ним



немного. Посмотрим, на что он годится.

Тихонов, мальчишка старше Чиры на год и килограммов на семь тяжелее, направился к новичку с уверенной небрежностью опытного борца. Но Чира не стал дожидаться, когда его начнут возить по ковру мордой. Он бросился в атаку. Ударил противника головой в солнечное сплетение и рванул его, разевающего рот, как рыба на песке, за ватные колени.

В лице Чиры тренеру явилась очень большая тренерская удача.

---

#### 4

Откуда у него такие нерусские фамилия и отчество, он с матерью заговаривал. Мать пугалась. Лицо ее плаксиво дрожало и морщилось, взгляд убегал, и она пускалась в выдумки. То отца убили китайцы на Даманском, то он спас товарища из затонувшего на учениях танка, а сам не выплыл. За выдумками угадывалась мрачная тайна, способная пролить ослепляющий свет на неприглядные обстоятельства их жизни, и Чира оставил мать в покое. Инстинкт самосохранения был развит у него не по летам.

Они жили в малосемейном рабочем общежитии. Мать всю жизнь проработала в цехе фасовки городского хлебокомбината по скользящему графику: в понедельник – с восьми утра до четырех дня, во вторник – с четырех дня до двенадцати ночи, в среду – выходной, в четверг – с двенадцати ночи до восьми утра, в пятницу – с восьми утра до четырех дня, в субботу – с четырех дня до двенадцати ночи, в воскресенье – выходной. Мало кто способен долго выдерживать смешение сна и яви в таких пропорциях. Сидя за натужно веселым праздничным столом в женский день, материны подружки, такие же одинокие бабы, забывшие, как бывает с любимым мужчиной, ели, пили, пели и мыли косточки заводскому начальству и друг дружке. «Ну, наша-то Нинка – мечтательница. Ей что в ночь на смену, что в день – один ...! Она и работает, как спит», – услышал раз маленький Чира о матери. Непонятные слова эти глубоко запали в детскую душу и до времени там в глубине и таились, ожидая прояснения.

---

#### 5

Чиру часто приглашали главным судьей международных турниров по дзюдо и самбо и однажды пригласили в Улан-Удэ. Он поехал.

От матери он таки добился, что его дед по линии отца был бурятом, и ему стало интересно посмотреть, какие же они – буряты.

Принимали его в Бурятии как родного. По завершении турнира хозяева устроили банкет с поеданием национальных блюд и распитием водки. Захмелевшие буряты лезли к нему чокаться, клялись ему в уважении и уверяли, что он тоже почти бурят. «Да ты же наш, – убеждали Чиру. – У тебя же бурятская фамилия!» Выяснилось, что его фамилия происходит от монгольского имени Очир – «алмаз» и бурятского – «молния, громовой топор», а Очир-Вани – вообще буддийское божество, «грозный хранитель веры».

Оказалось даже, что один старый бурят из почетных гостей слышал в молодости о хоринском буряте из племени Хоридой. Он был непобедимый борец, звали его Очир, и у него была жена – русская учительница из самого Ленинграда.

Над коренными народами Сибири можно долго и безнаказанно смеяться, но двух достоинств у них не отнять: они уважают старость и высоко ставят кровное родство. Старика почтительно выслушали, и каковы же были всеобщее изумление и восторг, когда Чира заявил: – Это мой дед.

Если бы существовало звание «Почетный бурят», Чира немедленно получил бы его за такие слова.

Гостеприимные буряты повезли его в Хоринск, и там Чира без особого труда восстановил завязку семейной тайны. Всю тайну он испытал у матери, вернувшись домой.

---

## 6

---

Его бабушка по отцовской линии – Елизавета Николаевна Сегаль – в сороковом году закончила Мысковский учительский институт, полная молодых романтических надежд. За две недели до распределения у деканата висел список мест, где требовались учителя, и выпускники толпились у списка, деятельно агитируя друг друга ехать в «Верх. Луки – 3 чел.» или «Вышн. Волочок – 2 чел.». Советской стране требовались грамотные рабочие, страна активно училась, и учителей ждали везде. Лиза Сегаль вчитывалась в расплывчатую синюю машинопись наравне со всеми и каждый раз отходила от списка во все большей задумчивости. Ее магнетизировала строчка «Бур.-Монг. АССР – 1 чел.». Именно тем магнетизировала, что Лиза

совершенно не представляла себе, где это и даже как это называется полностью. Подходить к карте СССР, висевшей на стене там же у деканата, она неосознанно избегала, чтобы не испугаться, как это далеко, и не передумать.

– Сюда, – с замирающим сердцем произнесла она в решающий миг своей жизни, ткнув пальчиком в загадочную строчку.

– Молодец, сознательная комсомолка! – похвалил ее декан и вписал ее в «Бур.-Монг.».

В конце июня Лиза Сегаль взошла в плацкартный вагон на Ярославском вокзале и через две недели сошла на перрон в далеком Улан-Удэ. В Улан-Удэ ей расписали красоты цветущей степи, и буквально на следующий же день молодая учительница оказалась в поселке Хоринск Хоринского сомона Бурят-Монгольской Автономной Республики – загадочная строчка расшифровалась.

В степной Хоринск ее привезли в школьной полуторке заодно с парочкой звонких голубых глобусов, кроваво-красным муляжом анатомированного петуха-плимутрока, пятью банками половой краски и тремя новехонькими классными досками. Всю дорогу доски подпрыгивали и гремели в кузове, а плимутрок выкатывал на Лизу страшный белый глаз и словно готов был закукарекать. Чтобы гипсового петуха не расколотило в кузове, его поставили в кабину, и Лизе пришлось держать его между коленями.

На центральной улице Хоринска полуторка по какой-то надобности остановилась. Лиза выпрыгнула из кабины размяться, и ее окружили низкорослые, круглолицые, узкоглазые люди в гутулах с загнутыми носами, как у сказочных персов, и дэгэлах, перетянутых кушаками.

– Какое солнце!.. – сощурилась Лиза. – А вы монголы?

– Энэ би шамта бурядай! – гортанными голосами гордо ответили ей буряты.

– Куда же это меня занесло? – опомнилась Лиза.

---

## 7

---

На другой день она отправилась в поселковую библиотеку и вдруг услышала за спиной налетающий стук копыт, хрип лошади и страшные выкрики:

– Ха! Ха! Ха!

Она испуганно обернулась. С седла подлетевшей лошади ловко соскочил и встал перед нею смуглолицый азиат. Одет он был на ее непривычный взгляд странно и стоял перед нею, похлопывая нагайкой по голенищу и посмеиваясь одними глазами, но был молод и горяч, как его конь. Лиза усмехнулась, пожала плечиком и скрылась в клубе, толком его не рассмотрев, но отчего-то приятно взволнованная.

Через какое-то время ее внимание привлек гортанный гомон за раскрытым окном читального зала. Она выглянула. На пустыре под библиотечными окнами кипели нешуточные страсти: парни затеяли там борьбу.

Бурят-монгольская борьба – это не классическая греко-римская толкотня на одном месте, когда борцы схватывают друг друга в медвежьи объятия, сминая противнику шейные позвонки. Рисунок бурят-монгольской борьбы – совершенно иной. Для победы достаточно заставить противника коснуться земли любой частью тела, хотя бы даже мизинцем, для чего могучие бицепсы и бычья шея не главное. Главное – тончайшее мышечное чувство, мгновенная реакция, быстрота и хитрость, чтобы поймать момент, когда противник лишь чуть-чуть потерял равновесие, сделав лишнее движение, и его тело чуть-чуть изменило единственно возможное во Вселенной устойчивое положение, и мигом воспользоваться его оплошностью. Лиза сначала вообще не понимала, что происходит. Голые по пояс парни, низко согнувшись и осторожно ступая, медленно кружили один вокруг другого, награждали друг друга легкими шлепками по плечу, по шее, по голове, и тут происходило что-то неуловимое, и один из парней торопливо вскакивал с земли и, опустив голову, выходил из незримого круга, а другой, плавно покачивая широко раскинутыми руками и смешно подкидывая пятки, гордо плыл по кругу, танцуя танец орла, танец победителя. Лиза ни черта не понимала, но зрелище борьбы и победы ее заворожило.

Лиза была смелая советская девушка и, недолго думая, выбежала на улицу и присоединилась к зрителям, которых все прибывало. Вновь прибывшие усаживались на землю, скрестив ноги по-турецки, и раскуривали коротенькие трубки, что мужчины, что женщины. Курящих женщин Лизе видеть прежде не доводилось, она

только догадывалась по рисункам на папиросах «Курортные», что есть женщины, которые курят папиросы через длинные мундштуки. Эти курящие женщины пугали и пленяли ее воображение великосветскими шиком и курортной порочностью. Старые бурятки с трубочками ее, впрочем, не пугали: они Лизе даже женщинами-то не казались.

– Кто это? – смело спросила она у старого бурята с жиденькой бородкой, взглядом показывая на усталого, но гордого победителя.

– Ю? – переспросил бурят.

Лиза пустила в ход судьбоносный пальчик:

– Да этот, этот!

Старый бурят понял и закивал головой:

– Очир, Очир!

Словно услышав ее, потный блестящий победитель повернулся в ее сторону. Лиза узнала его белозубую улыбку. Через две недели она вышла за него замуж, и в сорок первом они родили мальчика.

Мальчика назвали новым советским именем Бетон. Имя символизировало крепость и долговечность сталинских пятилеток. Но звонкое смычно-взрывное «бе» у бурят получается как вялое глухое «пе», и мальчика все звали «Петон». Фамилию же ему записали Очиров. Фамилии на русский манер у бурят только заводились, и давали их чаще всего просто по имени отца: от имени Доржи – Доржиев, от Бадма – Бадмаев, от Цыремпил – Цыремпилов, ну а от Очир – Очиров.

Детство и отрочество Петона Очирова, будущего отца Чирь, прошли под знаком отчаяния, что он не успел на войну. На войну он успел бы лишь в одном случае – если б Гитлер перевалил через Большой Кавказский хребет к каспийской нефти, а Квантунская армия дошла до Енисея. До этого было недалеко, но его-то отец на войну успел вовремя. На фронте отец командовал пулеметной ротой и вернулся с нее капитаном, с орденами и медалями. На войне он ни разу не был ранен серьезно и прожил бы долго, если бы году в пятьдесят пятом не вздумал прокатиться на трофейном мотоцикле BMW. В седло мотоцикла он сел впервые в жизни. Нацелив руль в нужном направлении, он включил передачу, выкрутил ручку газа и отпустил сцепление, как учили. Мотоцикл взревел, встал на

дыбы, как необъезженный жеребец, рванулся вперед и шмякнулся о валун, сбросив с себя седока. С лопнувшей печенью его только успели довести до районной больницы. Там он умер, не приходя в сознание.

## 8

В детстве Петон Очиров много играл в войну с фашистами и, отслужив три года срочной службы, остался на сверхсрочную и был направлен в Хабаровское училище младшего командного состава. Прикрепив на погоны звездочки младшего лейтенанта, он с беременной молодой женой прибыл к месту службы в одной из военных частей Забайкальского военного округа, а именно – в приграничный городок Могочи, занесенный песками. «Бог придумал Сочи, а черт – Могочи», – как и сейчас мрачно шутят в ЗабВО.

Очень было развито в тех не успевших на войну молодых лейтенантах чувство офицерской чести, и слишком серьезно они играли в детстве в войну. Когда младший лейтенант Петон Очиров с товарищем, таким же младшим лейтенантом, проходили мимо пожарной части и их то ли случайно, то ли в шутку окатили водой из брандспойта, они, не сговариваясь, достали пистолеты и расстреляли обидчика на месте. Потом, так же не сговариваясь, зашли за угол, опустили на колени, перезарядили пистолеты, приставили их к груди друг друга и враз нажали на курки. Пистолеты они держали в правой руке, и стволы прились куда нужно – под левый сосок. Дня через три их закопали за танковым полигоном. Вместо гробов у них были желтые простыни из морга.

Его молодая вдова все бросила, кое-как добралась до Читы и на вокзале купила билет подальше, докуда денег хватило.

Денег хватило до нашего города. Теряя сознание от горя и голода, с охрипшим младенцем на руках, она по запаху вышла к проходной второго городского хлебокомбината, и ее сразу взяли разнорабочей в цех фасовки. Механическими движениями укладывая по лоткам горячие булки, она с наслаждением вдыхала вкусный аромат свежего хлеба и все думала, что расскажет сыну об отце, когда тот подрастет и спросит. Скоро она стала мечтать, что бы она могла рассказать сыну, если б его отец погиб на Даманском или вытаскивая товарища из тонущего танка и проч., и замечталась. Ей бы следовало найти другую

работу, чтобы иметь время воспитывать сына и искать нового мужа, но она этого не сделала. Замуж она второй раз не вышла, а сын ее, маленький Олег Очиров, вырос на улице и стал достойным бойцом по жизни. Борцовский зал лишь отшлифовал его бойцовские качества, отчасти наследственные, отчасти благоприобретенные.

## 9

В армии он служил в спортроте Дальневосточного военного округа. Службой спортсменов напрягали, лишь когда приезжали проверочные комиссии. Спортсмены надевали армейское х/б, учились мотать портянки и подшивать белые подворотнички, ходили в караулы и наряды по столовой и подвергались проверкам на политическую грамотность. На такой проверке Чиру однажды попросили назвать столицу Советского Союза. «Мысква». – «Теперь, солдат, назови столицу России». – «Ленинград... Нет, Новосибирск... Красноярск, что ли?!» Начитанностью Чира, конечно, не отличался, но зато прямо-таки нутром чувствовал, когда с крыши полетит кирпич и куда повернет струя. Ни по течению, ни против течения он не плыл, даже куда нужно не плыл. Он выгребал к струе, которая сама потом выносила его куда нужно. Тут он выкладывался до конца, как на татами под рев чужих трибун. Он-то точно родился в свое время, и другого ему не нужно было.

Он, конечно, отдавал себе отчет, что давно идет по пути, в конце которого всякого поджидает тюремная камера или пуля, если вовремя не свернуть или не стать депутатом Госдумы. Но, зайдя по этому пути так далеко, как уже зашел он, свернуть не просто. Человек, достигший такого положения, какого достиг он, решает чужие судьбы, но и сам сильно зависит от тех, чьи судьбы он решил. Слишком много людей зависело от Чире, чтобы он так просто мог взять, да и сказать им, что отныне они предоставлены самим себе. Я далек от того, чтобы его идеализировать. Просто отказаться от борьбы и свернуть означало бы для него сдаться, перестать уважать себя и ожидать уважения от других, а к уважению Чира привык. Ему уже предлагали уступить его акции «СибУла». Люди, хотевшие их купить, прибирали к рукам девяносто процентов сибирского алюминия и двадцать процентов мирового вольфрама, и Чира знал, что просьбами эти люди не ограничиваются. Но у него росли

два сына, которым он должен был дать хорошее образование, и он любил жену и не хотел, чтобы в магазине ей приходилось выскребать из кошелька мелочь. И еще он не мог признать, что на сей раз чуть-чуть не успевает доплыть до заветной струи, выносящей из болотистых низин Средне-Сибирской возвышенности на просторы Мирового океана, а вместо него доплывут другие. Продавать акции он наотрез отказался.

С будущей женой Чира тоже познакомился благодаря дару не упускать момент.

За все два года в сапогах в караул он сходил всего три раза и после третьего поехал домой в отпуск. Это было в конце декабря. По краю леса, отделенного от складов с боеприпасами широкой полосой вырубленного леса, проходил охотник на лыжах. С поста Чира стал кричать и махать ему руками, подзывая к себе. Охотник подъехал к колючке, Чира попросил у него закурить, и они разговорились. Потом Чира зарыл окурок поглубже в снег, снял с плеча автомат, направил его на охотника, передернул затвор и скомандовал: «Руки вверх!».

Охотник послушно поднял руки: палец солдата был на курке, а патрон – в патроннике.

– Ты извини, отец, – сказал Чира. – Надолго тебя все равно не задержат, а я домой на Новый год съезжу.

Так и вышло. Злого, невыспавшегося охотника на следующий день отпустили, а Чире дали заслуженный отпуск. Домой он приехал тридцатого декабря и на новогодней вечеринке у друзей познакомился с девушкой, которой через неделю сделал предложение, которое было принято. О чем ни он, ни она потом не пожалели.

## 10

В тридцать четыре года уйдя с татами, Чира, чтобы, как все бывшие спортсмены, не располнеть и просто из тоски по сладостному ощущению работающих мышц, каждое утро совершал пробежки по набережной. От «Олимпийского» он бежал до устья Почайки. Там на песчаной косе он разминал запястья, крутил головой, разминая шею, потягивал голеностопы, сорок раз быстро отжимался, делал на турнике двадцать подъемов переворотом и возвращался в комплекс. Если воду бассейна в этот час уже месили пловцы- спортсме-



ны, Чира как положено мылился прежде под душем, а потом без брызг уходил в воду и плыл стильным кролем, бесшумным и точным, как пистолет с глушителем. Если же бассейн пустовал, потный разгоряченный Чира пробегал мимо душевой, на бегу скидывал кроссовки и с диким ревом прыгал брюхом вперед с бортика бассейна. Эти прыжки доставляли ему даже большее нравственное и эстетическое удовлетворение, чем созерцание своего нового, дорожного, черного джипа у входа. Ни с чем не сообразные, они были его личной прихотью, свободной игрой его телесных и душевных сил, и сполна насладиться ею он мог только в одиночестве.

В утро воскресенья шестнадцатого мая, пробегая мимо джипа, Чира с острым неудовольствием прочел издевательскую надпись, выведенную наглым пальцем на донельзя запыленном заднем стекле. «Помой меня», – просила надпись.

Свой джип Чира мыл редко. «Джип – это мужская машина, – мог бы сказать он, если б имел склонность облекать свои простые и ясные ощущения в образы и метафоры. – Машина настоящего мужчины должна быть грязной, как его сапоги». «Но это его сапоги!» – добавил бы Чира сейчас.

Он оглянулся по сторонам, словно рассчитывая еще увидеть убегающих обидчиков, но вместо потерявших нюх оборзевших пацанов увидел двоих мужчин, быстро вывернувших на него из-за угла.

– Привет, – кивнул Чире один, со знакомым, кажется, ему лицом, явно намереваясь пройти мимо.

– Здравствуйте, – сдержанно отозвался Чира, всматриваясь в прохожего.

В том сложном, жестоком, страшном мире, в котором он последние годы жил, каждое, даже произнесенное слово, мимоletный взгляд, невольная ухмылка, произвольный жест могут иметь огромное значение для дальнейшей жизни человека. Мало кто мог сказать Чире простое: «Привет», – и уж никто не позволял себе пройти мимо, если поздоровался. Но этот, так и не узнанный, позволил. «Что это я?!» – встряхнулся Чира, беря себя в руки.

В это утро бассейн спорткомплекса пустовал. Потный разгоряченный Чира пробежал мимо душевой, скинул на бегу кроссовки и с радостным ревом бросился с бортика бассейна. Когда же он в

пене и брызгах поднялся из воды по пояс, чтобы снова уйти в воду и поплыть кролем, раздался негромкий хлопок, и прямо ему между глаз, проломив хрупкую переносицу, влетела горячая пуля. Чира судорожно вздохнул, повел мускулистыми руками, пытаясь поймать улетающую жизнь, скрылся под водой и медленно всплыл спиной вверх – трупом. Убийца, худощавый человек среднего роста в длинном черном плаще и новомодных узких темных очках, бросил пистолет в воду и неторопливо направился к выходу. Проходя мимо окошечка вахтерши, убийца приспустил темные очки по хрящевой переносице и как-то снизу подмигнул вахтерше:

– Вот так, старая... Тебя, что ли, еще замочить? Что молчишь?

И скрылся. Бедная старуха присидела без движения битый час, прислушиваясь к мертвой тишине в бассейне и обмирая от каждого шороха и скрипа, пока кто-то не стал разыскивать Чиру по телефону.

– Ой, убили его, – прошептала она в трубку.

– Говорите громче! – попросил ее раздраженный мужской голос.

– Да убили! Убили! – крикнула старуха и только сейчас сообразила, что она должна пойти и убедиться в этом своими глазами.

Что она и сделала, а потом вызвала милицию. Рассказывая о своем хладнокровии сменщице, она сама ему удивлялась и сама же легко его объяснила: «Я всегда знала, что его убьют. Сколько веревочке ни виться... А ведь хороший человек был, и ребяташки вот осиротели. А такие славные: вежливые, всегда поздороваются... Уж я его предупреждала, чтоб не связывался, да не послушал».

Ни о чем таком она, естественно, никого не предупреждала и не могла предупреждать. Это лишь теперь ей казалось, что она с самого начала знала, чем все кончится.

За мной, читатель! Я ведь открываю тебе страшную и восхитительную тайну: за нами по-прежнему присматривают, нас не оставили на произвол нашей собственной дурацкой судьбы.

## VI. «ДОМ НАД ХЛЕБНЫМ»

### 1

Николай Мирликиевич, Илья Владимирович и Евстихий с беглым внуком заявили к Петру в Уточкину в два часа пополудни в воскресенье того самого шестнадцатого мая, когда произошел массовый побег заключенных из следственного изолятора.

– А вот и мы, Петр Андреевич! – весело закричал из-за невысокого забора компанейский Илья Владимирович. – Незваных гостей принимаете?

Чем-то он занимался таким, что должен быть переодеться: кроссовки, джинсы и кожаная куртка, в которых он прибыл в наш город, его занятиям не соответствовали. Он щеголял в дорогих туфлях на кожаной подошве с новомодными квадратными носами, черных брюках из тончайшей шерсти, черной же шелковой рубашке со стойкой, сером пиджаке-габана; с нешироких плеч Ильи Владимировича ниспадал до земли темно-серый просторный и тоже очень недешевый итальянский, скорее всего, плащ. Туфли, брючины и полы плаща были в грязи, но в этом Илья Владимирович находил, видно, особый шик, что поперся в таком виде за город. Николай Мирликиевич в своей ковбойской шляпе на его фоне как-то потускнел и подешевел.

– Нет, – откликнулся Петр, через забор рассматривая разношерстную компанию. – Но вас примем.

– Ну, если вы настаиваете... – подхватил обрадованный Илья Владимирович и, обернувшись к спутникам, стоявшим чуть поодаль, заорал во всю глотку:

– Вали сюда, ребята! Халява, please!

Даже умная и наблюдательная ворона, сидевшая на сосне метрах в десяти над землей, от такого вопля тяжело сорвалась с ветки.

– Кар-р! – сердито сказала она, неохотно перелетая на сосну подалее.

Халявы, конечно же, не было. С собой гости привезли: Петьке-врачу – оливки в банке, Ваське-слесарю – две селедки в газетке, Ритке-танцорке – шоколадку в золотинке, а для всех – три кило свиной вырезки, четыре литра спиртного в красивых бутылках и

огромную гроздь желтых китайских бананов; с банановой гроздью на плече опьяневший от свободы Косой совсем напоминал бы счастливого мальчишку-папуаса, если бы его еще раздели догола и намазали ваксой.

Николай Мирликиевич, так тот вообще показал себя самым галантным кавалером: церемонно ткнулся отвислым носом в нежное запястье Маргариты, держа свободную руку на отлете.

Маргарита была очарована. Верно говорят, что сибирячки через одну редкостные красавицы, но бесстыдно лгут, что они не понимают тонкого обращения.

Свободно ходить по участку Маргарита гостям запретила. Они и без нее должны были понимать, зачем весной вскапывают землю, – да и кому охота ходить по вскопанному? – но так было вернее.

– Здесь не ходите, – предупредила Маргарита. – Здесь у нас картошка будет сидеть.

– Бананы садить не думаете? – любопытствовал нарядный Илья Владимирович, присматриваясь к бугоркам вывернутой наизнанку земли.

Маргарита засмеялась. Она решила, что с ней шутят.

---

## 2

---

Илья Владимирович снял пиджак, засучил рукава рубашки и жарил шашлыки. Он наслаждался, что может позволить себе с таким небрежением относиться к щегольскому и дорогому платью. Николай Мирликиевич сидел у огня на корточках, подпернув брюки. Петр без дела сидел на лавке. Василий готовился резать на столе хлеб, а Маргарита увела Ваську Косого мыться: после заключения от него воняло, как от козла. Евстихий тоже ушел с ними. По пади протекала чистая речушка, называвшаяся, как и всё тут тоже, Уточкой. Вода в ней всегда была ледяная, но посадить Косого за общий стол немытым было невозможно.

– В жареном мясе есть что-то первобытное, – рассуждал Илья Владимирович, помахивая над углями картонкой, – приятно ощутить себя иногда неандертальцем. Лет двадцать назад мне привезли из Якутии свитер из мамонтовой шерсти. В тундре мерзлые мамонты валяются на каждом шагу, якуты их потихоньку обдирают и вяжут свитера на продажу. Удивительно теплая и ноская вещь. Украли.

– Все тлен, – заметил Николай Мирликиевич, уставив взгляд в разгорающиеся угли. – Как говорил еще премудрый Соломон, «все прошел, все видел, все стяжал и совокупил и вся рассмотрел и говорю: «Все суета и суетие и суетию будет».

– Ну, это он через край, через край! – не согласился, конечно же, жизнелюбивый Илья Владимирович, покручивая шампуры. – А как вы считаете, Петр Андреевич: все суета или есть хоть что-то стоящее, вечное, непреходящее, нетленное?

– Есть кое-что, – неохотно произнес Петр. – Не все тлен.

– Например, например? – совсем оживился Илья Владимирович, выпрямляясь.

Петр кивнул на Василия:

– У него спросите, он лучше скажет.

Василий задержал нож, занесенный над булкой:

– А мне кажется, об этом говорят те, кому на все плевать. Кто об этом говорит, с тем бы я в разведку не пошел.

Разочаровавшись в собеседниках, Илья Владимирович вернулся к шашлыкам.

– Интересно у вас, у русских: чуть чего – сразу о разведке... – заметил он как бы про себя. – Война, что ли, какая идет?

– У нас всегда война, – усмехнулся Петр.

– Удивительно верное замечание, удивительно! – вновь оживился неугомонный Илья Владимирович. – Станный вы народ, русские: все бы вам бунтовать, а не работать.

– Не мы одни такие. Арабы тоже работать не любят.

Илья Владимирович, казалось, призадумался. Но не надолго.

– А кстати, Маргарита Николаевна, вы в курсе, что вашего босса только что кокнули?

– Олега Петоновича убили? – голос Маргариты дрогнул.

Известия о смерти она воспринимала тяжело, кто бы ни умер.

– Убили, бедного, убили! – запричитал, придуриваясь, Илья Владимирович. – Уже часов десять как убили. Пух! – и поплыл ваш друг спиной вверх. А вам, Петр Андреевич, не жалко друга детства?

– Он мне не друг детства, – возразил Петр. – А если и был другом, наше детство прошло. Но вы-то откуда знали?

– А кому ж было знать, как не мне? – надулся от гордости Илья Вла-

димирович. – Я как-никак вице-президент Полной Лиги Изъятия.

Василий принял его слова за шутку:

– Что это за «лига» такая дурацкая?

– Правильнее было бы «полного изъятия», – заметил Петр, готовый ко всяческим странностям, возможным в такой компании.

– Для звучности, – охотно объяснил хвастун Илья Владимирович, как-то искушающе поглядывая на Петра и Василия попеременно. – Полная лига изъятия – ПЛИ! П-Л-И!

– Вы напрасно иронизируете, Петр Андреевич, – неожиданно поддержал его Николай Мирликиевич. – Мой друг, конечно, имеет некоторую склонность поерничать, прихвастнуть и приврать, и никакой «лиги изъятия», конечно, не существует, но... вопрос-то остается.

Николай Мирликиевич был серьезен. Да он всегда оставался серьезен, о чем бы речь ни заходила.

– Что за вопрос?

– А с кого начать, – небрежно бросил Илья Владимирович. – А вот вы бы с кого начали, Петр Андреевич, а? Только не лукавьте, что с себя самого. С себя никто не начнет. Каждый нормальный человек начнет с ближнего.

– Ну, если не с себя, то... – не договорил Петр, умолкая.

– То-то, – наставительно произнес Николай Мирликиевич.

– Да-да, – обрадовался поддержке Илья Владимирович, – насмеяться каждый может. Но кто решится?

– Кто решится? – тоскуя, повторил он, медленно поводя пустым мутным глазом туда-сюда по сторонам. – Кто скажет: «Я за все отвечаю!», за отдаленные моральные последствия, главное, кто муки совести возьмет все на себя, ответственность на себя всю возложит?

– А я бы с тебя начал! – заявил вдруг Василий, плохо понимая, о чем идет речь, но глубоко и верно чувствуя невыносимый цинизм разговора.

И одним сильным длинным движением распластал беззащитную булку на две длинные половинки, пристукнув ножом о доски стола.

– А тебя, окурок жизни, кто спрашивает? – глумливой скороговоркой заверещал Илья Владимирович, даже подпрыгивая от напускной, впрочем, злости. – Ты сам-то кто таков есть? Ты – мелкая

прищавая тварь: глуп, туп, неразвит, кривоног, соплив и богу противен! Кто тебе дышать-то тут разрешил?

В таких случаях мужчины за друга не отвечают, тут каждый должен сначала ответить за себя сам. Петр испытал чувство гордости за Василия: на дикий оскорбительный выпад Василий ответил самым достойным образом – презрительным ледяным молчанием.

– А вам, Петр Андреевич, кто разрешил разрешать? – поспокойнее сказал Илья Владимирович, удивительно точно угадав слова, едва не сорвавшиеся с уст Петра, а потом взял, да и подмигнул ему весело.

Когда человек ощущает тяжелую длань бога, или судьбы, или высшей иерархии, ухватившей его за шкуру, кое-кто способен сразу понять, какая неодолимая сила вздернула его кверху, чтобы поставить на ноги, как было, или вверх тормашками низвергнуть в пучины страданий и бедствий.

---

### 3

---

Со стороны речки слышался смех Маргариты, и скоро в лавке показалась она сама, а за ней – чистенький отмытый Васька Косой и Евстий в юфтевых заляпанных грязью сапогах. Косой, похоже, не желал лезть в ледяную воду как положено целиком, и к мытью его пришлось принуждать.

– Ну как вы тут без меня справляетесь? – побежала вокруг стола хлопотливая дурочка Маргарита.

А Косой и Евстий скромно остановились, не подходя к столу. Петр подвинулся по лавке, освобождая им место.

– Эх, что же мы его не окрестили сразу на реке? – обратился Илья Владимирович к Николаю Мирликиевичу.

– Он уже крещен, – сообщил Николай Мирликиевич, оглядывая Косого с ног до головы, словно впервые видел.

Илья Владимирович послушно хлопнул себя по лбу:

– А и верно! Русскому человеку, чтобы креститься, тюрьма – самое лучшее место.

– Крестик-то у тебя хоть не золотой? – Вдруг накинута он на Косого. – А то завели тоже моду на спортивные штаны и золотые крестики! Крестик должен быть оловянным!

– Кипарис-дерево тоже подходяще, – прогудел Евстий.

– Подходяще, подходяще, – обрадовался Илья Владимирович. –

Вот за что я люблю ваш русский язык: как ни скажешь, а все понятно!

– А что вы говорили о неандертальцах? – обратился Петр к Николаю Мирликиевичу. – Что они не умели разговаривать.

– По последним данным физиологической науки, не умели, – подтвердил Николай Мирликиевич, поднимаясь с корточек и разминая колени.

---

## РАССУЖДЕНИЕ ФИЗИОЛОГА О ПРИЧИНАХ ЖЕНСКОГО ЕСТЕСТВА

### *Рассуждение второе*

Физиологъ рече:

– По последним данным физиологической науки, дара речи неандертальцы были лишены. На их эндокранах, то есть на слепках, снятых с внутренней поверхности их ископаемых черепов, отсутствуют ретикулярные формации лобных долей головного мозга, без которых членораздельная речь невозможна.

Как же они между собой общались, как договаривались загнать в ловушку мамонта?

Общались они жестами, мамонтов не загоняли, а питались падалью. Находили сладкую пропастину и пожирали ее, разбивая кости камнями. Мамонты вымерли от изменения климата, и тогда голодный неандерталец принялся убивать нашего предка – человека разумного. Вот откуда сказки о людоедах, а не из обрядов инициации, Пропп ошибался.

Тут начинается. Немые неандертальцы не убивали человеческих женщин, и человеческие женщины рожали им детей, с детства приученных к вкусу человечины. К человечине их приучали отцы. Разговаривать этих вырожденков научали матери.

А кем для первочеловека был говорящий людоед? Тем же, кем для нас является гипнотизер. Слабое сознание первочеловека не в силах было противиться приказам людоеда, как в гипнотическом трансе мы не в силах противиться непреклонной воле говорящего гипнотизера, а немых гипнотизеров не бывает.

Тут просто. Физиологической наукой доказано: понять услышанное слово означает произнести его про себя, чуть пошевелив язы-



ком. Отсюда, произнести слово – точно так же означает помыслить, как помыслить – означает произнести; вспомните детей, молчащих только во сне, неумолкающих женщин и непрестанно бормочущих сумасшедших. Помыслить же – означает испытать побуждение сделать, еще вспомните сумасшедших, женщин и детей.

Тут разница: волю взрослого парализует гипноз, с детьми гипнотизеры не работают, а среди первых человеческих слов не было отрицательной частицы «не».

Тут главное. Наукой доказано: первыми человеческими словами были «дай», «иди», «это», «сюда» и «туда», а первыми предложениями – «дай это», «иди туда», «иди сюда». Отрицательной частицы «не» среди первых человеческих слов не было. Услышав «иди сюда», первочеловек не мог сказать сам себе «не иди» и как под гипнозом приближался к сучковатой дубине людоеда.

Что ему оставалось, как он мог спастись от съедения? Ему оставались три способа: убежать от людоедов подальше, изобрести отрицательную частицу «не» и для верности заговорить на собственном языке, чтобы вообще не понимать выроdkов-людоедов. Что и произошло в конце концов: разумные люди заселили всю сушу, преодолев заснеженные горные перевалы, безводные пустыни и громадные океанские просторы, и в каждом языке есть отрицательная частица «не»; а сколько существует языков – и не подсчитать.

Суша была вся освоена в палеолите, когда всем хватило бы места и пищи в необозримой африканской саванне. Сахары в эпоху палеолита не было, на ее месте паслись бесчисленные стада антилоп. Но там людей самих ели, и дальше всех разбежались самые слабые. Эскимосы не потому такие наивные, честные и доверчивые, что живут на Крайнем Севере. Они оказались там потому, что так и не научились быть недоверчивыми и нечестными. А индейцы уже никогда не выйдут из резерваций: современный мир слишком сложен для них, чтобы они научились в нем жить. Не было никакой Вавилонской башни. И если вы, Петр Андреевич, окажетесь в гостях у эскимосов, алеутов, монголов, вам предложат на ночь жену или дочь хозяина. Как говорят чукчи, «чукча – гостеприимен, чукчанка – любопытная». Но дело не в любопытстве, дело в сильной крови вашей расы.

*Конец второго рассуждения*

---

– Понял! – в полном восторге вскричал Илья Владимирович.

– И что же вы поняли? – снисходительно поинтересовался Николай Мирликиевич.

– Почему женщинам нравятся упругие мужские попки, а не широкие мужские плечи, как думают мужчины! А мужчинам у женщин – широкие бедра и высокая грудь, хотя женщины думают, что глаза.

– И почему же, позвольте узнать?

– Но как же, это так просто! Знаете, я читал где-то, что женщины предпочитают мужчин с мускулистыми попками, потому что сильные ягодичы позволяют совершать какие-то особо эффективные движения при зачатии, не будем уточнять, какие именно, а высокая женская грудь вроде бы обещает много молока для потомства. Это все ерунда! Все дело в том, что у обезьян нет ягодичы, потому что они им не нужны – они все равно ходят на четвереньках, а плечи у них, обезьян, кстати, напротив, широкие, а груди у них плоские, что никак не мешает им выкармливать потомство, искусственного-то питания у них ведь нет, а сколько их по джунглям прыгает! Так вот, предпочитая широким плечам крутые мускулистые ягодичы, женщина как бы отдает предпочтение человеку перед обезьяной, и аналогично мужчина: засматриваясь на высокую женскую грудь под кофточкой, он как бы выбирает женскую грудь, а не обезьянью плоскую. Мы до сих пор искореняем в себе обезьянье.

– Дальше, дальше! – подстегнул Николай Мирликиевич.

Он заметно опасался, как бы Илья Владимирович второпях не опошил истины, по своему обыкновению. Ну а поскольку этого все равно было не избежать, следовало хотя бы поскорее выслушать и поскорее забыть, что там Илья Владимирович на скорую руку уразумел. Чуткий и обидчивый Илья Владимирович это понял и, действительно, мигом надулся от обиды. Николай Мирликиевич поспешил выказать интерес к его рассуждениям, чтобы исправить оплошность:

– А как же вы объясните бесспорный женский интерес к волосатому мужскому телу? Не есть ли это предпочтение именно животного начала?

Илья Владимирович оказался не так прост и невежественен, по крайней мере, обладал способностью сопоставлять разнородные факты и делать логические выводы.

– Я убежденный гегельянец и марксист, – спертым от гордости голосом заявил он. – По закону диалектического отрицания отрицания, первые люди должны, обязаны быть без волос на теле. Сами рассудите: раз обезьяна, как известно, покрыта шерстью, существо, которое ее отрицает, должно быть совершенно безволосым, как, допустим, американские индейцы. Уж вам-то должно быть известно, что на их теле нет пушка, маленьких бесцветных волосков, которые у нас с вами везде, кроме ладоней и подошв, которыми мы ходим. А индейцы – гладкие, как тюлени. Дайте договорить!.. (*Никто и не думал его прерывать.*) Так вот, следующий виток диалектической спирали – отрицание отрицания – предполагает, что следующая ступень на лестнице живых существ от обезьяны к человеку снова должна быть волосатой, но не совсем, а в меру! Поэтому женщины и любят волосатых мужчин, то есть не потому, что они наделены какой-то огромной сексуальной силой или их волоски приятно щеко-чут, а потому, что опять как бы выбирают – между почти человеком и настоящим, готовым, совсем законченным человеком.

– Вы расист, а не гегельянец! – заметил Николай Мирликиевич без особого почему-то возмущения.

Илья Владимирович сладко улыбнулся: у него и на это тяжелое обвинение имелось что возразить, – да Маргарита не дала ему возразить.

– А мне нравятся широкие плечи! – возмутилась Маргарита. – Я, значит, обезьяна? Женщина вообще не человек?! Женщина глупее мужчины?!

– О, что вы, что вы! – приятно оживился Николай Мирликиевич. – Все гораздо тоньше, интереснее, загадочнее. По последним данным статистики, если разделить все человечество на глупых, просто умных и очень умных, окажется, что просто умных больше среди женщин. Среди мужчин больше очень умных и совсем глупых. Следовательно, в среднем по умственному развитию мужчина и женщина приблизительно равны.

На лице Маргариты выразилось удовлетворение.

– А вот и шашлычки! Не мамонятина, не человечина, но вкусно!  
– закричал Илья Владимирович, вооружившись шампурами, как индеец стрелами.

Чувствительная Маргарита поморщилась:

– Фу...

– Я не буду есть, – тихо сообщила она Петру, поводя головкой, как аккуратная гадючка.

– Ты много теряешь, – Петр крепкими белыми зубами впился в сочное мясо.

Разборчивость подруги его иногда несильно раздражала, он как-то раз не выдержал и поставил ей диагноз: «Когда поднимают труп с отрезанной головой, судмедэксперт пишет: «Смерть наступила от ран, несовместимых с жизнью». У тебя – разборчивость, несовместимая с жизнью». Маргарита, конечно, не поняла шутки и опять обиделась. С переносным смыслом слов у нее было туговато.

Когда мясо было съедено и изрядно выпито, а общий разговор сам собой распался, захмелевший Василий подсел к Петру; острое лицо Василия застыло в выражении тяжелой обиды.

– Почему он назвал меня «окурком жизни»? Ты тоже так думаешь?

Петр припомнил все, что знал о Василии, и солгал:

– Нет, я так не думаю. Жизнь твоя пошла криво, но это не навсегда. Со всеми бывает.

– Врешь! Думаешь. Сейчас я ему хлебало вскрою.

Петру пришлось дружески приобнять его за плечи и удерживать силой, пока не устанет вырываться.

Вырываться Василий действительно скоро устал, зато стал требовать:

– Я слесарь шестого разряда. Не веришь? Поехали в город. Любой тебе скажет.

И ведь сказали бы.

Оставил ли он квартиру бывшей жене при разводе или как-нибудь иначе так вышло, только последние годы Василий жил в доме «над хлебным», как его называют старожилы рабочего поселка металлургического комбината. Это огромный старый дом на центральной улице поселка, выстроенный покоем (то есть буквой «П»

в плане), с большими окнами, высокими потолками, коридорной системой и общими туалетами в длинных коридорах, коммунистическая фаланстера, словом. По проекту весь первый его этаж был отведен под сберкассу, овощной, пункт охраны общественного порядка, хлебный, гастроном, часовую мастерскую, почту, телеграф, прачечную, обувную мастерскую, парикмахерскую, столовую, книжный и аптеку, но называть дом стали по самому главному магазину. Первыми его жильцами были молодые рабочие комбината, передовики и ударники коммунистического труда. Свои бытовые и культурные нужды они удовлетворяли, просто обходя дом по периметру. Потом у них рождались дети, и они переезжали в семейные общежития, а одинокие, то есть беспутные, без царя в голове, как брачные партнеры совершенно никому не интересные, оставались. Эти по периметру не ходили, предпочитая удовлетворять свою главную нужду в винно-водочном отделе гастронома, а как появилась катанка, отираются на близлежащей площади Трудовой Славы, обставленной коммерческими киосками. Ни одна семейная пара в стенах дома давно не выживает, и дети заводятся в нем, как мокрицы в плесени. Подростая молодежь отдает предпочтение уже не катанке, но ацетону и одноразовым шприцам с «крокодилом». Словом, дом, построенный как некий прообраз коммунизма, мало-помалу мутировал в огромный пятиэтажный отстойник в самом центре рабочего поселка.

Его жизнь я имею возможность исподволь наблюдать лет двадцать.

Два его проходных угловых подъезда представляют собой какие-то прямо античные портики с широкими ступенями, колоннами и просторными фойе за высокими двойными дверями. На жилые этажи из фойе ведут пологие лестницы с чугунными перилами, а во двор ведет узкий проход вдоль внутренней стены. Эти два угловых подъезда всегда были открыты в обе стороны, правда, на моей памяти проходы во двор были уже загажены и завалены мусором; из подвалов уже и тогда парило, и зимой многолетние мусорные залежи превращались в обледеневшие джомолунгмы. И сейчас превращаются, и дворники рубят во льду ступеньки, чтобы жильцы могли напрямую выйти во двор к мусорным бакам: вокруг дома с мусорными ведрами никто из них точно не потащится, а будет вы-

валивать мусор прямо из окон, как в средневековом Париже.

Кроме угловых, парадных, так сказать, подъездов на фасадную сторону дома в простенках между магазинами прорезаны темные каменные щели с крутыми лестницами, уводящими наверх. Они выходят на центральную улицу поселка, названную к тому же Октябрьской (sic!), и где-то в начале семидесятых, если не раньше, их глухие двери заколотили гвоздями и даже выкрасили под цвет стен; каждый день проходя мимо, можно было и не понять, что это вообще двери, из которых кто-то может выйти. Удивительно, как это еще большого пожара за все эти годы в доме не случилось. Лет пять-шесть тому двери расколотили, и вот тут-то и поползло из этих щелей на Октябрьскую!..

Как-то так в жизни дома с тех пор разделено и строго поддерживается, что его женское население шмыгает главным образом через эти щели, молодые парни с раннего утра кучкуются на ступенях левого портика, а старики выползают с утра на скамейки правого; скамейки, кстати сказать, им не ломают. Парни сидят на корточках, курят и высматривают должников или потенциальных кредиторов, а старики греются на солнце, щурят слезящиеся бельма и тоже зорко высматривают: у них свои копеечные счета между собой. Улица перед домом, перекрестки с обеих сторон и площадь Трудовой Славы простреливаются перекрестным огнем, и так или иначе, но к ночи обитатели дома поголовно пьяны. По ночам, горя и сияя большими окнами без штор и занавесок, эта чудовищная фаланстера плывет над спящим городом, как Титаник, захваченный беглыми каторжниками и толстыми шлюхами, как буйная плавучая тюрьма без стражников, как замок изнасилованной Тамары, пустившейся в разгул, как Запретный Дворец китайских богдыханов, обращенный в портовый притон, как летающий остров свихнувшихся лапитупов, так и не узнавших о законе всемирной гравитации, как недосвернувшийся фридмон<sup>1</sup>, маленькая неполноценная вселенная, ярко освещенная изнутри ворованным электричеством. Но, когда речь заходит о рабочей квалификации, испытые лица мужчин, ее обитателей, становятся серьезными и сосредоточенными, как у мормона, вспоминающего конфирмацию. Если какой-нибудь ханы-

---

1 Фридмон – не строго говоря, Вселенная, под действием сил

га скажет тебе тут: «Я шофер первого класса», или «Я лекальщик пятого разряда», или «Я краснодеревщик, я делал кабинет директору комбината», – можно быть уверенным, что ханыга не солгал. В этом именно вопросе мужчины тут не лгут. Слушая их, надо лишь всегда добавлять про себя «был».

Женщин тут слушать – время терять, наврут с три короба, жеманничая и заманчиво подмигивая опухшими глазками. Веки они все почему-то подводят яркой синей краской, их видно издалека, как они семафорируют.

## **VII. РАССКАЗЫ ПЕТРА**

### **1**

На лоне природы взрослый горожанин радостен и беззаботен, как ребенок, лишь необходимость скорого возвращения к несвободе каменного города омрачает его незамысловатую детскую радость. Маргарита украдкой взглянула на часы, и Илья Владимирович поспешил развеять ее озабоченность: ничто не препятствует тому, чтобы они здесь еще задержались, хоть до завтра, хоть на недельку. На шоссе их ждет машина с припасами, надо будет лишь сходить за ними, и можно будет и дальше наслаждаться праздностью на свежем воздухе. По крайней мере, они, то есть сам Илья Владимирович, Николай Мирликиевич и Евстихий с внуком, твердо намерены пожить здесь некоторое время, если, разумеется, не будет возражать хозяин. Но при желании можно будет уехать отсюда в любой момент, хоть завтра с утра: у него, то есть на этот раз у одного Ильи Владимировича, остались в городе кое-какие неотложные дела, и машина придет за ним завтра к девяти.

– Он не будет возражать, – великолепно согласился Петр.

---

гравитации свернувшаяся до размеров элементарной частицы; названа так в честь петроградского физика и математика А. А. Фридмана. Сама же гипотеза «многоэтажной вселенной» восходит, как известно, к Анаксагору, утверждавшему, что мир состоит из бесчисленного количества мельчайших частиц – гомеомерий, каждая из которых, в свою очередь, состоит из неисчерпаемо огромного числа еще более мелких гомеомерий и так далее, без конца. (Подробнее смотри: В. С. Барашенков. Кварки, протоны, вселенная. М., 1987. С. 75 и далее.)

Вчера, то есть в субботу пятнадцатого мая, перед тем, как копать землю, он еще раз на короточках обскакал участок по периметру.

– Что ты потерял? – допытывался Василий, задумчиво подтачивая лопату напильником.

– Перстень с бриллиантом, – отвечал Петр, раздвигая стебли пырея и поднося толстую лупу к самой земле; лупу он купил в магазине школьных принадлежностей.

Хитрые муравьи окончательно забросили свои норки, где их могла бы случайно задеть лопата. Петр насчитал двенадцать заброшенных норок и бросил. Зато под самым забором муравьиная жизнь кипела, и были даже выкопаны новые норки для переселенцев со вскопанного участка.

– Мы остаемся, – сообщил Петр Маргарите. – Наши гости тоже, им здесь нравится. Правильно я понял?

– Совершенно! Абсолютно! – восхитился Илья Владимирович. – Нам очень здесь нравится, от города, знаете, нужно иногда отдыхать, а мы так давно не бывали на лоне, так сказать, девственной природы. А что касается до некоторых неудобств и, так сказать, вероятного морального и материального ущерба, то, уверяю вас, все будет компенсировано. Полностью и с лихвой!

– Не сомневаюсь, – заверил Петр.

– Я вам даже больше скажу! – в полном восторге вскричал Илья Владимирович...

Выболтать он не успел. С далекого шоссе слабо донесся автомобильный гудок: фиа-фиа-фиа! Водитель легковушки не решался съезжать с шоссе в глинистое месиво незнакомого проселка, размоченного обильным ночным дождем, а ждать ему надоело.

– Сходите, Илья Владимирович, принесите, – распорядился Николай Мирликиевич. – Да и я тоже разомнусь, пожалуй.

---

## 2

---

Илья Владимирович пошел выполнять поручение; Маргарита – из любопытства и за компанию; Ваську Косого отрядил на помощь Евстихий; Петр пошел, чтобы не бросать гостей; а Николай Мирликиевич пошел, как сам сказал, размяться.

– Чем вы мне симпатичны, – признался он по дороге Петру, – так это тем, что не задаете вопросов.



– Индейцы ни о чем не расспрашивают гостей: гости сами должны сказать.

– А расскажите-ка, кстати, о ваших приключениях, – попросил Николай Мирликиевич.

– Это долгая и невеселая история, – уклончиво сказал Петр.

– А я не тороплюсь.

Скользя по грязюке, они миновали последний в ряду участок, недостроенный, но уже обнесенный ладным забором, и спустились к грунтовой дороге, шедшей от шоссе в сумрачные верховья пади. До шоссе было километра полтора.

– Эх, китайцев бы сюда! – вздохнул Илья Владимирович, поддерживая Маргариту под локоток и озирая заброшенные просторы с редкими березами тут и там под низким пасмурным небом. – Чтоб поднять ваше сельское хозяйство, вам закон нужен новый принять.

– Какой еще закон? – опешил Николай Мирликиевич.

– А как в Китае: у них где попало срать запрещено! У них ни одна говешка даром не пропадает. У них закон такой: погадил – неси сразу на поле, у каждого китайца всегда специальная лопаточка при себе для этого. Китайцы ее так и называют: Маленькая Госпожа-лопаточка. А тут – такую страну просто так засрали!

---

### 3.

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЖУНГЛЯХ

### *Первый рассказ Петра*

– С острова меня сняли рыбаки, когда я совсем отчаялся, – начал Петр. – Огонь я развести не мог, и они бы меня не заметили, если бы сами не пристали. Они решили, что это плавающий остров. Они верят, что на таких островах есть родники вечной молодости. Они сами там все наполовину индейцы. Они облазили весь остров, но ничего не нашли, конечно, или плохо искали.

Рыбу они сдавали в Рио-Негру. Документов у меня не было, и в полицию я решил не идти, а добираться до нашего консульства. Только меня не хотели отпускать. Они думали, что на остров я попал специально и напился той воды лет на пятьсот. Я был как скелет, но вполне здоров: диета у меня была замечательная – хальные море-

продукты. И меня решили спрятать на полгода, чтобы не кормить и посмотреть, что со мной будет: если ничего – нашел живую воду, если умру – никто не хватится. Я думал, меня везут в город, а мне завязали глаза, завезли в горы и посадили в погреб. Когда я вставать уже не мог, меня решили, наверное, убить и выбросить. Меня держали на маковой плантации на границе Колумбии, Перу и Эквадора. Но мне повезло: плантацию контролировали партизаны. Им нужен был врач, и я стал у них врачом. С командиром мы немного даже подружились. Его звали команданте Родригес. В отряде были в основном неграмотные индейцы, а он кое-что читал: Маркса, Ленина, Троцкого конечно, – ну и я тоже был русским. Он говорил, что в моей стране родился Троцкий, и я нужен им как знамя мировой революции. Он вообще любил поговорить со мной о Спартаке и чечевичной похлебке. Однажды мне самому пришлось стрелять: если бы меня взяли в плен, никто не стал бы со мной разбираться. Меня убили бы на месте или дали бы двадцать лет, там за наркотики меньше не дают.

После той стрельбы я зарезал часового и ушел. Французов я взял с собой.

Мы шесть суток шли через льяносы по пояс в болоте. Тъери раз провалился по грудь и говорит: «Дальше не пойду». Я подошел к нему и сказал: «Если останешься так, погибнешь мучительной смертью. Лучше я тебя зарежу». Вытащил нож, наклонился к нему... Но он мне поверил.

### *Конец первого рассказа Петра*

---

– А если бы не поверил? – забежал сбоку Косой, чтобы с трепетом заглянуть Петру в глаза.

Косой был очарован джунглями, льяносами, индейцами, партизанами и убитым часовым; правда, в рассказе ему кое-чего не доставало самого главного – хрипов Тъери с перерезанным горлом; а еще лучше – если бы Тъери брали в побег как живую консерву, а когда совсем оголодали, отрезали ему ногу и съели.

– Если бы не поверил, погиб. Но он мне поверил. Он видел, как я убивал часового. Я всех в отряде знал по именам, раны им перевя-

зывал... Но у меня не было выхода.

– Вы еще не знаете, – сообщил Николай Мирликиевич. – Родригес сейчас в тюрьме. На допросах он утверждает, что его комиссаром был русский офицер. Признайтесь: в юности вашим кумиром был Че Гевара?

Петр усмехнулся:

– Родригес – идеалист, у него в голове регулярно все перемишляется. Он решил, что мир подлежит немедленному исправлению. Они там поверили странным книгам, когда у них началась своя революция, но это их дело. У них там было серьезно в шестидесятых, кажется.

– Но признайтесь, – обернулся Илья Владимирович. – Было у вас желание остаться, а? Помочь бедным пеонам. За что они воюют?

– Родригес воевал против мирового империализма, а пеоны не воюют, воюют индейцы, им не хватает земли садить бататы. Скоро они вымрут от голода и болезней.

– Вас так волнует их судьба?

– Волновала.

– А сейчас, сейчас? – приставал Илья Владимирович.

– Сейчас меня волнует моя судьба.

– Что я вам говорил! – вскричал Илья Владимирович, обращаясь к Николаю Мирликиевичу.

– Посмотрим еще, – невозмутимо проговорил тот. – Время есть... А скажите-ка, Петр Андреевич: французов было ведь двое?

– Двое.

– И один из них криптозоолог?

– Да. Его звали Тьерри.

– А другой – какой-то искатель сокровищ?

– Подводный археолог.

– Все едино, – не принял возражения Николай Мирликиевич. – И что же эта парочка искала в горах Колумбии?!

– Да вы и без меня знаете. Зачем спрашиваете?

– Мне интересно, что **вы** расскажете. Человек интересен, когда пытается быть правдивым.

Петр помолчал, обдумывая этот неожиданный интерес к себе.

– В Кордильерах они искали последних атлантов с погибшего

континента Му, – сказал он.

Мargarита капризно надула губки:

– Об атлантах ты мне не рассказывал!

О часовом Петр ей тоже не рассказывал, но труп часового в ее узком сознании не уместился.

– Ну, слушай тогда.

---

## 4

---

### ПУТЬ АТЛАНТОВ

#### *Второй рассказ Петра*

– Человек – это третья разумная раса на Земле после лемуров и атлантов, но судьба лемуров нас не касается, – предупредил Петр.

– Нас касается судьба атлантов.

– Когда человека еще не было, атланты уже жили по всей Земле, – приступил он к своему рассказу. – За сотни тысяч лет их цивилизация дошла до абсолютного могущества и полного совершенства. Они истребили динозавров, победили болезни и стали почти бессмертными. Они жили на Земле, как боги, смеясь и играя, и перестали рожать детей. Зачем бессмертному существу дети, если оно и так бессмертно? Скоро они, конечно, немного заскучали, но тут однамышленная обезьяна слезла с дерева, взяла палку и стала человеком. И у атлантов появилось новое развлечение.

Они научили людей говорить, только люди перекроили их совершенный язык каждый на свой лад и скоро перестали друг друга понимать. Но атланты понимали их всех, как профессор звучной мертвой латыни всегда поймет живого итальянца или китаец поймет мяуканье первокурсника восточного отделения.

Они притянули к Земле Луну, чтобы ночи стали светлее и люди выдумали грустный миф о брате и сестре, которые однажды превратились в Солнце и Луну и с тех пор ходят по небосводу друг за дружкой и не могут встретиться.

Они построили Великую пирамиду, чтобы поразить воображение бедуинов лунным светом, отраженным от ее полированных граней по всей ночной пустыне; потом египтяне проковыряли в пирамиде дырку и затолкали в нее Хеопса.

Иногда они сами показывались людям, спускаясь с небес на летающих колесницах, и показывали фокусы, а некоторые из любопытства жили с человеческими женщинами, как с женами. У атлантов были голубые глаза, и голубоглазые люди – их далекие потомки: у обезьян глаза темные. Атланты жили подолгу, и наши долгожители – тоже их потомки. Но скоро туповатые дикари атлантам тоже надоели, и атланты оставили их в покое. Их самих осталось слишком мало: до конца бессмертными они так и не стали и мало-помалу все равно умирали, а рожать разучились. В конце концов они все собрались на огромном острове посреди Атлантического океана, размером с Австралию. Они не хотели мешать людям изобретать лук и стрелы. Они называли свой континент Му, а Платон в «Тимее» назвал его почему-то Атлантидой.

А потом, совсем недавно, тридцать пять тысяч лет назад, по ихней Атлантиде ... астероид чуть поменьше Луны. Атлантида накрылась медным тазом, а Земля содрогнулась и закрутилась в два раза быстрее. Раньше она крутилась в два раза медленнее, и если человека посадить без часов в пещеру, где нет дня и ночи, скоро он станет спать по двенадцать часов и бодрствовать – по тридцать шесть, это научный факт. От такого удара Земля порвалась, и тысячи вулканов, содрогаясь, выбросили в небо километровые столбы огня и дыма; огненная лава полезла из них, как тесто из кадушки, зажигая леса. Дымы пожарищ закрыли солнце на тысячу лет, и наступила первая ядерная зима. Похолодало, с полюсов поползли великие ледники, и в Китае вымерли последние динозавры, до которых у атлантов не дошли руки. Теплокровные млекопитающие стали властелинами суши, а от могучего племени динозавров сохранились только игуаны и крокодилы.

Атланты, конечно, знали, куда он упадет. Но жизнь давно потеряла для них смысл. Они нарядились в лучшие одежды, запаслись вином и мясом, разбили шелковые шатры под кронами вечнозеленых сикоморов и, пируя и распевая веселые песни, встретили ужасную смерть как избавление от бессмысленного существования и чудесное развлечение. Неотвратимость гибели позволила им еще раз насладиться острым ощущением полноты жизни, которого они давно не испытывали.

Но не все конечно. Часть атлантов заранее ушла. Одни переплыли океан на восток и дошли до Китая, другие поплыли на запад и высадились в Латинской Америке. Они решили не выживать, а передать свои знания людям. Их было слишком мало, чтобы построить себе новую Атлантиду.

Инков они отучили от кровосмесительных браков.

Египтян научили предсказывать солнечные затмения.

Греков – делать виноградное вино.

Индусов – йоге.

Китайцев – лепить глиняные горшки; до этого китайцы пекли рис на раскаленных камнях.

Бушменам они подарили по свистульке.

Калмыков они научили доить верблюдиц.

Монголов – пить молочную водку.

Алеутов – ловить на крючок вкусную рыбку.

Аборигенам Австралии дали по бумерангу.

Тибетцев научили правильно говорить священное слово «ОМ».

А сами, конечно, вымерли. От них остались только легенды...

*Конец второго рассказа Петра*

---

Илья Владимирович не утерпел и блеснул эрудицией.

– Да-да, все человеческие боги вышли из моря, – напыжившись, как индюк, размеренно заговорил он. – Кецалькоатль приплыл на плоту из змей; Вишну, Искупитель, был исторгнут огромной рыбой; Христос просто ходил по воде аки по суху.

– А Кордильеры? – напомнил Николай Мирликиевич.

– Этот второй, Луи, был подводным археологом, – сказал Петр. – Он нырял за амфорами и мечтал найти целую трирему. Но однажды он нырял у Азорских островов и нашел огромный камень с ровными гранями, вроде огромного карандаша. Он поковырял его ножом и увидел какие-то надписи, а под камнем оказалась куча золотых табличек и человеческий череп в натуральную величину, его вырезали из цельного куса горного хрусталя. Это все, что осталось от погибшей Атлантиды. Еще один такой череп нашли в индейской пирамиде в затерянном городе Мачу-Пикчу. Таких кристаллов гор-

ного хрустала в природе не бывает, и раньше считали, что индейцы вырастили кристалл в глиняном горшке...

Илье Владимировичу опять наскучило слушать и молчать.

– Да, прошлое – неистощимый кладезь чудес и загадок, – вставил он. – В прошлом каждый найдет себе головоломку по вкусу, чтобы всю оставшуюся жизнь так и сяк перекладывать ее хитрые сандаловые палочки.

Терпеливо дослушав неуместно длинную тираду, все с осуждением посмотрели на говоруна.

– Луи, конечно, не сразу понял, что нашел развалины храма Посейдона, о котором писал Платон, – продолжил Петр. – Этот камень оказался стелой Десяти Царей, а золотые таблички, когда их расшифровали, – Кодексом Царств: на них были записаны законы, по которым цари правили Атлантидой. Все цари на табличках были с маленькими хвостиками: атланты были хвостатыми. С тех пор в Индии почитают мартышек, а тибетцы уверены, что произошли от горной обезьяны Синпо. И Луи решил для начала отправиться в Индию. Но где-то пересекся с Тъери и услышал от него о хвостатых людях, которые живут в Кордильерах, предсказывают будущее, ходят по воде и видят сквозь камень. Тъери искал снежного человека и думал, что хвостатые люди – остатки первых гоминид. Они ничего никому не сказали, раздобыли где-то денег и отправились в Эквадор, а там их самих взяли в заложники. Ну, а я их потом спас. За них просили миллион долларов, а мне было все равно: одному бежать или с ними бежать.

Для Маргариты рассказанное Петром было сказкой и неправдой.

– А почему ты раньше мне не рассказывал? – с обидой опять спросила она. – Почему ты только сейчас мне об этом рассказал?

«Не вечно же тебе думать, что, кроме тебя, в мире никто больше не живет!» – хотел было сказать Петр, но не сказал конечно. Вместо этого он спросил у Николая Мирликиевича, который казался, да и был, конечно, был, очень осведомленным человеком:

– Я подозреваю, Родригес сам сдался и даже попросил выдать его Франции, раз у него были заложники-французы.

– Вы догадливы, – заметил Николай Мирликиевич. – Насчет Родригеса я, правда, ничего определенного сказать не могу, но вскоре

после вашего бегства одно маленькое индейское племя спустилось к морю и утопилось.

Маргарита была поражена: всему, что ей рассказывали, она либо сразу не верила до последнего слова, либо столь же безоговорочно верила.

– Какой ужас!

– Они зашли в воду, поплыли на восток и плыли, пока не перетопли. Они хотели переплыть Атлантический океан. Какого бога вы у них похитили, Петр Андреевич?

– Богов не похищают. Боги приходят сами и сами уходят, когда пожелают. Только иногда им нужен проводник.

(Мысль о божествах, никому не обязанных отчетом, он выразил именно этими словами, я не приукрасил. Он много об этом размышлял, и нужные слова были у него готовы загодя.)

– Какое достойное завершение этнической судьбы! – воскликнул Илья Владимирович, не умевший, казалось, разговаривать спокойно.

– А вас, Петр Андреевич, не мучает совесть? Если бы вы заранее знали... а? Как бы вы поступили?

– Я не знал. Идем?

Они двинулись дальше, скользя и оступаясь, по земле, стосковавшейся по крестьянским рукам. Беседа их прервалась.

## **VIII. ДИАГНОЗ (МАЙОР КАРАСЕВ – 2)**

Песочный «Линкольн», распластавшийся над шоссе, был Петру знаком. Майор Анатолий Карасев собирался въехать на нем к эскимосам или что-то вроде того. Он и сюда приехал – задумчиво курил, прохаживаясь вокруг машины; выкурил он уже много, но ожиданием не тяготился. После нескольких лет безденежья и безделья подождать еще пять или даже шесть часов было для него плевым делом и даже доставляло известное наслаждение. Жгучую жажду бурной деятельности он уже немного притушил, таская новые унитазы в свой офис – бывший особняк райпотребсоюза, разграбленный бывшими хозяевами. Эти пять или шесть часов ожидания стали для него небольшой передышкой, давали ему возможность помечтать, как он вернется из таймырской тундры в оленьей пар-



ке и унтах, небритый и обветренный, как матерый полярник, веселый и громогласный, как фартовый старатель, с каким наслаждением он в первый раз за долгие месяцы наденет белую сорочку и цивильный костюм, чтобы внезапно вломиться к друзьям и увезти их в загородный ресторан кутить до утра, и тем же утром улететь в Нью-Йорк первым классом и опохмелиться уже в полете, попросив услужливую стюардессу принести холодной водочки, черной икорки и какой-нибудь ананас, что ли. Мечту портило только одно. Он никак не мог сообразить, по каким дням из нашего города можно улететь в Америку: по средам и пятницам или по вторникам и четвергам. А узнать точно не было никакой возможности: сотовый на таком удалении от города молчал, как пластмассовый. Этот маленький изъян с расписанием, нарушающий достоверность мечты, саднил, как заноза в нежном месте, как иголочка в виске, как больной зуб, а так все было совершенно прекрасно. Николай Мирликиевич с Ильей Владимировичем хорошо успели понять Анатолия Карасева, раз были так уверены в его терпеливости и что он не обидится, что его тут бросили.

В полукилометре далее за шоссе дышала сыростью большая река, несущая медленные воды туда же, на север, к такой близкой, реальной мечте.

Анатолий поздоровался с Петром за руку и был представлен Маргарите, у которой он тоже поцеловал ручку. «Поляки, что ли?» – подумала счастливая Маргарита.

– Ну что, дачники, навсегда здесь остаетесь? – смеясь, поинтересовался Анатолий, открывая багажник. – Эх, остался бы я с вами, но – дела с утра.

Он был несокрушимо уверен, что его компании были бы рады (и не сильно ошибался, кажется: смотреть на его открытое, доброе и сильное русское лицо было приятно, и его с радостью оставили бы).

Петру он напомнил:

- Не надумал еще? Предложение в силе.
- Вот откуда у тебя деньги...

Непонятливость Петра Анатолия немного даже обидела:

- А ты как думал? Но работать-то будем мы! И много работать!
- Будем-будем...

На заднем сиденье машины, чувствовалось, кто-то усиленно дышал и беспокойно шевелился.

– Да тут на все лето хватит! – с неудовольствием поразила Маргарита, заглянув в объемистые недра длинного багажника.

– Значит, проживем здесь лето, – сказал Петр, закидывая на плечо полмешка муки. – Я научу тебя печь лепешки на углях.

Другой рукой он подхватил небольшую, но плотную и тяжелую коробку с тушенкой. Илья Владимирович обеими руками обхватил снизу большую коробку с макаронами, крупами и сахаром, взвалив ее себе на живот. Косому осталась легкая коробочка с чаем, солью и суповыми пакетами.

– Подождите, – остановил их Николай Мирликиевич, когда все нагрузились и стояли в ожидании первого шага на долгом и трудном обратном пути. – Выпускай!

Анатолий давно предвкушал этот момент. Когда все шло по раз и навсегда заведенному распорядку, он впадал в томление и скуку. Тогда он испытывал непреодолимое желание пресечь рутину каким-нибудь необыкновенным поступком, ярким блестящим деянием, чтобы разом оказаться в лучах всеобщего восхищения. Он открыл дверцу, и, подобно тренированным десантникам, из ее салона одна за другой выскочили и, роняя длинную слюну, побежали по кругу, по кругу три огромные, массивные, устрашающие чернопегие зверюги. Отпечатки их лап в грязи больше напоминали отпечатки когтистых лап двухгодовалого медвежонка, чем собачьи.

– Собачка... – похолодела Маргарита, заглянув в желтые глаза собаки, деловито подбежавшей ее обнюхать.

Тяжелая широкая голова с настороженными острыми ушками застыла на уровне ее груди. В мысках чудовищная псина была шире Маргариты раза в два, а ее вывернутые лапы со страшными мускулами были толщиной с голень взрослого мужчины.

– Свой! – бросил Николай Мирликиевич.

Собака положила тяжелые лапы на плечи испуганной Маргариты и шершавым коровьим языком провела по ее лицу от подбородка до бровей, напрочь смыв дневной make up. Недовольная Маргарита мигом помолодела, похорошела и невольно засмеялась, обеими руками изо всех сил отталкивая собачью морду.

– Сидеть! – тихо и грозно произнес Николай Мирликиевич.

И зверюги тотчас послушно сели на хвосты. В сидячем положении они казались больше и страшнее самих себя.

– Угадай, Догоняй и Хватай, – представил собак Илья Владимирович. – Самые старинные собачьи клички. Они еще щенки, они еще вырастут, если хорошо кормить. Это египетские боевые собаки, они охраняли фараонов.

– Да бросьте вы! – не скрывая иронии, рассмеялся Петр. – Таких собак не бывает. Почему вы сразу тигров не привезли? По-человечески они у вас не говорят случайно?

– Понимают, только понимают, – заспешил Илья Владимирович. – Говорить еще не научились. Хват, скажи «гав»!

– Гав! – хлопнул пастью пес, названный Хватом.

– Скажи «гав-гав»! – Илья Владимирович поднял руку с открытой ладонью, изображая матерого кинолога.

– Не унижайте животное, – укоротил его Николай Мирликиевич.

– А тигры выглядели бы здесь немного странно, – пояснил он Петру.

– Ну и собаки! – покрутил головой Анатолий. – Я думал, они меня сожрут по дороге.

Петр подошел к нему, глядя выше собачьих голов, чтобы не встретиться с собаками взглядом.

– Товарищ майор, ты ничего такого не замечаешь?.. Ничего такого не видишь?

Анатолий немного набылчился:

– Чего я не замечаю?

Петр помолчал, присматриваясь к нему.

– Хочешь диагноз? Раз я буду врачом у тебя в команде...

– Давай, – брошенную перчатку Анатолий поднял, не раздумывая, как и все делал в жизни (и редко ошибался, кстати).

– Дураком тебя назвать, конечно, нельзя, – задумчиво проговорил Петр. – Но диагноз тебе поставить можно: у тебя недостаточность умственной деятельности. Ты не дурак, ты все видишь и понимаешь, но в последний момент, когда пора делать выводы, шестеренки у тебя в голове как-то не доворачиваются до конца. Или у них зубьев не хватает, или в крови у тебя слишком много эндорфинов, как

у ребенка; это внутренний наркотик, гормон радости, ты знаешь. Тебе и без выводов легко и приятно. Но ты не переживай: таких, как ты, большинство, и живете вы долго и счастливо.

– Молод ты еще, Иван-царевич, меня учить! – ответил Анатолий, решив не обострять. Его вообще было трудно вывести из равновесия.

Кстати. Из города Маргарита с Петром уезжали в субботу утром, вчера. К тому времени на каждом фонарном столбе белел листок бумаги стандартного формата А4. Сверху на листке было написано:

---

**22 мая. Центральный стадион. 21:00**

---

**Музыка против наркотиков**

---

**Лымба**

---

Посередине листка красовалось личико молоденькой миловидной девчонки с косой пепельной челочкой, симпатичным носиком, нежными щечками и полураскрытыми губками маленького ротика; глаза ее скрывались узкими темными очками, но, судя по всему, наверняка глаза были у нее голубенькие или в любом случае светлые.

В правом углу по нижнему обрезу шла коротенькая полоска микроскопических буковок; буковки обозначали типографию, номер заказа и огромный тираж, все как положено. Такая же непритязательная, но и не без некоторого изыска афишка была прилеплена изнутри к лобовому стеклу «Линкольна».

## **IX. АТРИБУТ ПРЕКРАСНОГО**

Есть однобоко жизнерадостные женские натуры, они совершенно не переносят пасмурную погоду. Низкие облака и сырость угнетают их неустойчивую жизнедеятельность, и бедняжкам требуется поскорее забраться в мягкую постель с книжкой про несчастную любовь. Единственное мокрое атмосферное явление, которому они более-менее радуются, – слепой летний дождичек, жидкая теплая водичка с неременной радугой. А долгая непогода стылой поздней осени или ранней весны погружает их в душевное уныние, и никакие новые впечатления: озябшая птица, мокрая собака, капелька дождя на кон-

чике листа – не способны надолго их оживить. Даже долгие летние дожди, когда притихшая природа раскрывает мужскому взгляду свои влажные свежие красоты, таким натурам не по нутру.

На обратном пути Маргарита принялась выяснять у Николая Мирликиевича, точно ли машина придет за ними завтра рано утром. Не имея на плечах груза, они мало-помалу обогнали остальных и шли первыми, невольно торопясь поскорее пройти знакомый путь.

– Что так тянет вас в город? – искренне заинтересовался Николай Мирликиевич. – Какие неотложные занятия вас ждут? Почему бы вам не пожить здесь с недельку, отдохнуть душой и телом? Умываться по утрам холодной водой, готовить пищу на костре – что может быть здоровее?

– Я не хочу жить здесь целую неделю! – тихо воскликнула Маргарита. – У меня завтра в одиннадцать тренировка, занятия, меня мои девочки будут ждать...

– Не будет завтра у вас тренировки, любезная Маргарита Николаевна, послезавтра похороны вашего убитого босса! – убедительно возразил Николай Мирликиевич. – И потом: чему вы своих девочек учите? Быстро дрыгать ногами под иностранную музыку? Почему вы не учите их русским хороводам?

– А что здесь плохого? Весь мир под нее танцует!

– Вот это-то меня и настораживает, что весь мир! – заявил Николай Мирликиевич. – Вавилонскую башню тоже, помнится, всем миром строили... Паутину вот еще какую-то всемирную выдумали...

– Я так не хочу! – не слушала Маргарита. – Я хочу жить своей жизнью! От холодной воды у меня портится кожа, а дым разъедает мне глаза!

– Каждый хочет жить своей жизнью, – резонерски заметил Николай Мирликиевич. – Маньяк тоже хочет...

– Я не маньячка, – обиделась сравнением Маргарита и замедлила шаг.

– Я не буду печь тебе лепешки, – сообщила она догнавшему ее Петру.

– Не в лепешках дело... – начал было Петр.

– Почему меня должны касаться твои дела?! – возмутилась Маргарита. – Почему я должна выслушивать от твоих друзей гадости?! Женщина не человек?!

- Этого никто не говорил...
- Танцы им мои не нравятся! Ну и не танцуйте их, если не нравятся, водите хороводы!
- Ты не понимаешь? – перебил ее Петр. – Посмотри на собак...
- Какое мне дело до твоих собак! – Маргарита все еще не могла забыть нанесенной ей обиды.
- Ты совсем дура? – Петр не сдержался – да и кто бы сдержался!
- Дура! – вскричала разгневанная Маргарита, останавливаясь. – Зачем ты, такой умный, связался с дурой?!

Илья Владимирович поравнялся с ними.

- Ссоримся? – добродушно поинтересовался он.

От непривычки к долгим физическим усилиям он покрылся мелким потом и заметно смущался своего нетренированного тела, отчего, может быть, и повел себя несколько бестактно.

- А вы-то кто такой? – в гневе накинулась на него Маргарита. – Вам-то что от нас нужно?

– Я? – опешил Илья Владимирович и тотчас нашелся: – Вы не смотрите на меня так – в свое время обо мне многие слышали! Я был лауреатом второго международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, а когда я пел в Большом театре, старенький Лемешев в слезах прибежал ко мне за кулисы! Хотите послушать?

Илья Владимирович тут же плюхнул тяжелую коробку в грязь, выставил ногу, плавным заученным движением положил руку на крышку воображаемого рояля, откинул голову, раскрыл рот, и над сырыми просторами Средне-Сибирской возвышенности полилась и зазвенела серебряная ария Ленского:

Куда, куда вы удалились,

Весны моей златые дни?

Куда ты, удаль прежняя, девалась?..

- Как хорошо! – прошептала Маргарита.

Хорошее мужское пение действует на притихших женщин сильнее, чем даже женский танец на возбужденных мужчин. Ни в чем другом, как в женском танце и мужском пении, так явственно и сильно не выражается главный движитель прогресса – половой диморфизм, как выразился бы старый физиолог Николай Мирликиевич.

– Почему же вы?... – Маргарита постаралась помягче затронуть больную тему.

– Почему я покинул оперную сцену? – догадался Илья Владимирович. – О, это грустная и долгая история, одну такую историю нам уже рассказали, так что еще одну такую же я рассказывать не буду: зависть, козни, интриги... А потом, знаете, вся эта оперная условность, все эти скоморохи и бояре с балетной выправкой и поддельными бородами, толстые Татьяны с Ольгами...

– Но вы не смотрите на меня так, – с горечью повторил он, – искусству я не изменил. Правда, сам уже не пою конечно, но зато...

– Что «зато»? – спросил Петр.

– Зато у меня есть воспитанница! Вы не представляете, какое это наслаждение – взять на улице девчонку и вырастить из нее звезду! Не хотите бесплатно пройти? Ну, в субботу же! На стадионе!

– Это вы ее привезли, – сделал вывод Петр.

– Я, – гордо подтвердил Илья Владимирович. – Я ее вырастил, продюсирую и сам у нее за импрессарио, говоря по-старому. Гостилицу организовал, пресс-конференцию, стадион... Машину нашел американскую – она любит длинные машины, говорит: «В машине я хочу ездить с вытянутыми ногами!».

– Надо подумать, – сказала Маргарита, колеблясь.

– Всем городом, конечно, пойдете? – уверенно предположил Николай Мирликиевич. – Сколько в стадион войдет? Сколько лет этой вашей Лумбе?

– Двадцать один, – сообщил Илья Владимирович.

– Талантлива?

– Ни голоса, ни слуха, ни ума!

– Что же такого важного может сказать этакая пигалица целому стадиону людей? Что она сама-то в жизни видела? Она же еще ребенок, а ребенку место – под лавкой или на печке, откуда все видно и слышно, но не на сцене!

– Она поет, – Маргарита не понимала, к чему Николай Мирликиевич клонит.

– А-а, поет... Это она, значит, поет: «Леха, Леха, Леха, мне без тебя так плохо!»?

– Нет, это поет...

Николай Мирликиевич решительно отмахнулся:

– Постойте-постойте, сам вспомню! Это, значит, она поет, а точнее, завывает:

Да-ту-ду-ду, в голове моей замкнуло, лаа!

Да-ту-ду-ду, ветром голову надуло, лаа-лаа-лаа!

Мне-то... зачем мне-то знать, куда ей надуло?!

– Да нет, она поет...

– Погодите, вопрос принципиальный! Выходит, ваша Лумба выводит вот это:

Я подарю тебе любовь,

Я научу тебя смеяться.

Со мною ты забудешь про печаль и боль,

Ты будешь в облаках купаться!

Но беспечальны только мертвые и идиоты! Человек обязан испытывать печаль, то есть благородный вид тоски. А купаться в облаках – это просто-напросто мокро и противно, все равно что... ну, не знаю даже... все равно что лягушку за пазуху пихать! Хотя в остальном песенка хороша, хороша... бодрая такая... энергичная...

– Нет, это...

– Нет-нет! Минуточку! Вспомнил:

Лучше я умру без любви,

Между нами снова снег и стужа...

Вот что она поет! На кого это рассчитано, страшно даже подумать! Какое примитивное нужно сознание, чтобы получать от такого удовольствие! И это наша молодежь?! Это ей принадлежит будущее?! И самое главное – непонятно: почему же ей так приспичило умирать, да еще без любви?! Ну, влюбись в кого-нибудь, если уж так приспичило! Так нет – умру и все тут!

– А что тут такого?... – возмутилась Маргарита, но ее уже не слушали.

– Неужели это:



Глазами умными в глаза мне посмотри,  
Я буду пьян тобой до утренней зари?!

Это же верх пошлости и языковой безвкусицы! «Глазами умными в глаза мне посмотри!» Получается: можно посмотреть и не глазами, а чем-то другим? Значит, можно сказать «послушай меня ушами», «подойди ко мне ногами»? А потом: взгляд у человека умный, взгляд! А сами по себе глаза бывают черными, серыми, блестящими, как смородина... От ума ее, что ли, он будет пьян? Они что, до самого утра собрались смотреть друг другу в глаза и беседовать? Но от ума не пьянеют – пьянеют от дешевого портвейна, от дорогого не пьянеют: его пьют помалу.

– Да это же мужчина поет! – насмешливо воскликнула Маргарита.

– А что, ваша поет лучше, что ли?

– Да нет, – Маргарита совсем потерялась от такого наскока, – она поет...

– Нет, погодите, – перебил Николай Мирликиевич. – Вот есть еще песенка:

И после смерти мне не обрести покой,  
Я душу дьяволу продам само собой.

Это «само собой» – замечательно, согласитесь. Они хоть отчет-то себе отдают, о чем поют?! Илья Владимирович!

– Да-да?

– А не устроить ли ему эту сделку, как вы на это смотрите?

– Не надо, – сказал молчавший до этого Петр.

Николай Мирликиевич был, казалось, удивлен его заступничеством.

– А почему, собственно, «не надо», Петр Андреевич? Что он вам – друг, сват или брат?

– Да он это просто так. Если так, ваш дьявол с ног собьется, куда он столько душ денет!

Николай Мирликиевич на сей раз был нешуточно поражен и недоволен.

– Вы думаете? Это так далеко уже у вас зашло?.. Ну-ну. Да, так вот, любезная Маргарита Николаевна. Что же такое она поет, ваша,

как это, Лумба? Я понимаю, что слова в песне далеко не главное, но и музыкой-то у вашей Лумбы наверняка не пахнет! Примитивный ля-минор на трех аккордах, без септим, кадансов и контрапунктов, словно и не было ни Гайдна, ни Баха, ни хотя бы Вивальди, хотя мне, сказать честно, из музыки барокко больше по душе Чимароза! Илья Владимирович!

– Да-да?

– Илья Владимирович, сдается мне, вы гордитесь этой вредной и опасной для духовного здоровья молодежи бездарью? – гневно спросил Николай Мирликиевич.

Илья Владимирович принялся покаянно разводить руками:

– Да я бы давно ее выгнал... Но благородная цель, борьба с наркотиками... А не хотите ли с ней познакомиться? Могу устроить. Вы измените мнение, уверяю вас.

– Избавьте, пожалуйста, от таких знакомств, – с отвращением произнес Николай Мирликиевич.

– Не хотим, – твердо сказал Петр. – Вы лучше скажите: зачем вы спалили гостиницу?

– Гостиницу? – Илья Владимирович, казалось, был захвачен врасплох. – Ну, ее-то следовало спалить. На костях она стоит.

– Не было там никогда кладбища, – возразил Петр, подземную историю города он хорошо знал с детства. – Старое кладбище было под «Олимпийским» и под танцплощадкой в центральном парке. Других старых кладбищ в городе нет.

– Вот оно как?.. – недоуменно протянул Илья Владимирович и легко вывернулся: – Ну, тогда ошибочка, значит, вышла. Бывает. Кто не ошибается? Кто ничего не делает. А кстати, Петр Андреевич, не начать ли со стариков, как вы считаете? Никому они не нужны и сами себе не нужны. Разве это жизнь для старика – ни сказочку внуку рассказать, ни за гусями присмотреть, ни совет мудрый дать! Лишних стариков вообще нужно отстреливать на улицах! У них мутные глаза. Они неопрятны, от них плохо пахнет. Когда они едят, слышно, как они глотают. Они сварливы. Если что придет им в голову, у них хоть кол на голове теши. Они безнадежно больны. Солнце, светившее им в юности, угасло. Цветы, усаждавшие их обоняние, сгнили. Любимые, волновавшие их кровь, теперь дрях-

лые развалины, оскверняющие землю гнилостными выделениями дряблых кишечников. Как ваши друзья-герейрос поступают со стариками? Убивают, кажется, чтобы не переводить продукты?

– Илья Владимирович, вы опять передергиваете, – жестко сказал Петр. – Герейрос не мои друзья, а стариков убивали алеуты и эскимосы, и то теперь не убивают, да и мы не эскимосы.

Николай Мирликиевич неожиданно заступился за спутника и товарища:

– Вы, Петр Андреевич, судите по Джеку Лондону. По последним данным науки, стариков убивали все народы. Первобытные верили, что смерти нет и ушедшие в страну вечной охоты могут оказывать оттуда всяческие благодеяния потомкам, и торжественно отправляли туда стариков. Для убиваемых это было большой честью, знаком уважения и признания их сакрального авторитета. Фрэзер об этом много пишет. У вас, у русских, этот праздник назывался «Комоедиды» или, по-иному, «Убиваньица».

В продолжение всего разговора Маргарита поводила головкой туда-сюда, стараясь вникнуть в его тайный смысл и цель, но так ни во что и не вникла, несчастная обиженная дурочка. Васька Косой тоже, конечно, не вникал, но не обижался. Он блаженствовал на свободе после вонючей камеры.

– А кстати, любезная Маргарита Николаевна, что вы так защищаете эту самую Лумбу? – вернулся к незавершенной дискуссии Николай Мирликиевич. – Как я понял, вы даже не знаете ни одной ее песни! Насколько мне известно, вы страстная поклонница одной мелодичной немецкой парочки совершенно содомического, прямо сказать, вида. Если не ошибаюсь, парочка любит позировать на фоне морского прибоя в белых свитерах, и вам очень нравится, как сладко кто-то из них выпевает звук «ha». Как это про них шутили еще: Дитер Болен, а болен ли Томас<sup>1</sup>?

– Hart, heart, hart!... – Николай Мирликиевич попытался извлечь этот замечательный звук.

Но ничего сладкого и томного на английский или, даже скорее, итальянский лад из его дряблого горла не вышло. Из него вышел

---

1 Очевидно, имеются в виду участники популярнейшей в свое время группы Modern Talking.

один грубый тевтонский хрип «hra-hra...» и даже какое-то вообще «hru».

– Должен вам сказать, любезная Маргарита Николаевна, – как ни в чем не бывало продолжил Николай Мирликиевич, – что с точки зрения физиологической науки ярко выраженная любовь некоторых женщин к мелодичной музыке – это вернейший признак патологически пониженной адаптационной способности.

---

## РАССУЖДЕНИЕ ФИЗИОЛОГА О ПРИЧИНАХ ЖЕНСКОГО ЕСТЕСТВА

### *Рассуждение третье*

Физиологъ рече:

– Ярко выраженная любовь к мелодичной музыке проистекает из неспособности примириться со скрежетом, стонами и буйным весельем действительного мира; услышать в скрипах и шорохах бездушной Вселенной кеплерову музыку небесных сфер; принять трагизм жизни, ее гармонию и целесообразность; сохранить бодрость духа на борту тонущего корабля; выслушать смертный приговор с наглой усмешечкой; признать, что все идет не совсем так, как должно идти.

Мозг этих несчастных неполноценен. Процессы возбуждения нервных импульсов доминируют в нем над процессами торможения, и он плохо ориентируется в ситуации неопределенности, не умеет самостоятельно отфильтровывать нужное от ненужного, отличать важное от неважного: звонкий стук упавшей шишки от тихого шороха палой листвы под лапой тигра; неразборчивый вскрик пьяницы под окном от последнего всхрипа зарезанного. Скрип пересохшей половицы всегда выдает им крадущегося ночного татя с кистенем, а раздавшийся посреди ночи залиvistый храп сигнализирует о первых судорогах вселенской катастрофы. Эти несчастные не выносят, когда стоят у них за спиной, не могут уснуть при открытой форточке, просыпаются от позванивания первого трамвая и бодрого шума в унитазе по утрам. Им снятся страшные сны. Им нельзя садиться за руль, это про них сказано: «Женщина за рулем –

обезьяна с гранатой. И смешно, и страшно».

В детстве их дразнят и щиплют жизнерадостные сверстники.

Они очень боятся упустить что-то самое важное и вырастают жуткими занудами. В разговоре они обстоятельны до тошноты и высказываются до конца, всякая недомолвка мучает их, как саднящая заноза; общаться с ними полезно, но противно. В школе они учат все, что задано, но к звездам не тянутся. Раз что-нибудь усвоив, они никогда не изменяют мнения. В школе они отличницы, учителя их ценят, но не любят и никогда не выставляют на олимпиады.

Компромиссы с тупой логикой и упрямыми фактами им недоступны.

Они чистоплотны, они не швыркают чаем.

Всякая новизна не укладывается в их узкие представления о себе и мире и вызывает непреодолимый внутренний протест и отвращение. К зрелости они впадают в ханжество, филистерство и мизантропию.

Их жизнь проходит в осажденной крепости.

Присущее им здравомыслие угнетает всякое живое воображение.

Они поджимают губы.

Они не понимают переносного смысла слов, они все воспринимают буквально. «Библия» написана не для них. Для них написан словарь Ожегова.

Они не смеются скабрёзностям и пересказывают анекдоты своими словами. Шутят они часто, но плоско, и любят по-детски выворачивать словечки, ибо тонкий юмор им недоступен. Они жеманятся.

Площадной гаер для них – интеллеktуал.

Они боятся быть смешными и не умеют смеяться.

Они обидчивы, как дети, и упрямы, как старики. Они поджимают губы и читают нотации.

Когда им под хвост попадает шлея, они брыкаются.

Они не выносят фамильярности и когда на них кричат.

Они искренне плачут на похоронах чужих им людей.

Чувство истинно прекрасного им неведомо, их вкусы и пристрастия удручают примитивностью. Мелодичная музыка их успокаивает, зеленые леса и пшеничные поля Шишкина радуют их глаз, любовные романы приятно растравливают их чувствительность.

Их эстетический идеал – Шарль Азнавур в белом фраке, парящий в голубых парижских небесах. Великая простота «Капитанской дочки» их раздражает, горы подавляют, пустыни погружают в недоумение, блеклый эдельвейс среди вечных снегов не заставляет их сердца трепетать и сжиматься, весенняя тундра кажется им унылой, засохшее дерево – безобразным.

Они не скоро забывают обиды.

Зато они всегда идут до конца, не сворачивая, и не вывешивают белых флагов над своими бастионами. Они не прощают предательства и сами не предают. Они не лезут в героини, но не прячутся за спины других. Если они чего не понимают, они добросовестно ставят об этом в известность, не делая умного вида. Они не лицемерят. Они точно чувствуют фальш и притворство. Они продают, за сколько купили, и всего достигают трудом, не зарятся на чужое и не падки на халяву. Они не любят просить о помощи. Они всегда немного в стороне, их недолюбливают, но всегда уважают. Живется им нелегко, и слово «хочу» они произносят редко, их слово – «надо».

Они искренне плачут на похоронах чужих им людей.

При всем при том они очень чувственны и страшные неженки.

Некоторые ароматы одурманивают их, как кошек.

Они любят трогать и нюхать цветы.

Если им потакать и ублажать их, они трепетные возлюбленные и сладострастные любовницы.

Им очень радостно признаваться в любви.

Они верные жены.

Они не истерички.

Они рачительные хозяйки и прекрасные матери. Их дети ухожены, накормлены, здоровы, умны, воспитаны и приветливы.

Рядом с ними мужчины никогда не заглядываются на других, но стоит им только заговорить о прекрасном, как только они принимают утверждать, что музыка должна быть мелодичной, литература – правдивой, Шагал и поздний Пикассо – мазня, какой эстетически развитой мужчина не взбесится? Если он, разумеется, не фашист.

*Конец всех рассуждений*

---

– А каков атрибут прекрасного? – задался риторическим вопросом Николай Мирликиевич. – Главный атрибут прекрасного – кровоточащие стигматы, тщательно сокрытые чем под руку подвернется: шелковыми покровами легкой иронии или грязным тряпьем откровенного стеба. Возьмите хотя бы эту великую песню...

Взгляд Николая Мирликиевича затуманился, сам он как бы пригорюнился, но тут словно бы встряхнулся и громко, на блатной манер глумливо растягивая гласные, затянул:

По тундре-е, по железной доро-оге,  
Где мчится скорый поезд «Воркута – Ленинград»,  
Мы бежа-али с тобою, опасая-ясь погони,  
Что нас насти-игнет пистолета заряд.

– «Заряд пистолета», конечно, на вкус филистера нелеп и смешон, но как хорош этот поезд! – воскликнул он. – Только представьте, как бодро он посвистывает среди белого безмолвия, унося сонных пассажиров от заполярных шахт, в мрачной глубине которых томятся и гибнут тысячи безвинных! Какая тут пропасть и бездна, как иступленно мечтает какой-нибудь молодой вор, этакое молодое сильное животное, вырваться из тесной холодной клетки и оказаться в теплом вагоне, уносящем его в сияющий огнями, танцующий и поющий ночной город! И какая в нем любовь к свободе, ради которой не жалко и жизни! Да и «пистолет» хорош: тому, кто его придумал, было не до красивого образа, он-то хорошо знал, что такое контрольный выстрел перетянутого ремнями опера. Или вот еще...

И Николай Мирликиевич, на сей раз очень мрачно и очень размеренно, как бьются тяжелые волны о ржавый борт большого черного корабля, стоящего на рейде в ожидании разгрузки, затянул:

Будь проклята ты, Колыма,  
Столица Колымского края!  
Когда попадешь ты сюда,  
Отсюда возврата уж нету!

– Вдумайтесь, прочувствуйте эти слова, – заговорил он прозой. – Каким гением нужно быть, чтобы с такой безыскусственной силой выразить отчаяние и безысходность!.. Или вот еще, из русских

пыточных записей семнадцатого века: «пытка сильная и тяжелая». Какой гений застенка придумал ее?<sup>1</sup>

Маргарита впала в тихое бешенство и давно не слушала. Она и так долго продержалась. Ее взгляд на мир был подобен лучу прожектора, и всякая фигура в темноте за границами узкого слепящего конуса, где она не могла ничего рассмотреть, представлялась ей, действительно, либо парящим в голубых парижских небесах Шарлем Азнавуром в белом фраке, либо Джеком Потрошителем, лезущим в ее ясный и отчетливый мир худой волосатой лапой с заусенцами на нечистых ногтях.

Ночью Петра разбудил низкий равномерный гул. По темному ночному небу, тревожно мигая бортовыми огнями, медленно пролетали большие тяжелые самолеты, заходя на посадку и снижаясь. У плеча Петр услышал тихое всхлипывание.

– Ты уже бросил меня, – чуть громче заплакала Маргарита, почувствовав, что он проснулся.

Петр перекатил ее голову себе на грудь поближе к сердцу.

– Что ты, что ты, милая! – шепнул он, поцеловав ее в мокрый правый глаз. – Скорее ты сама меня бросишь.

– Кто они такие? – шепнула Маргарита, успокоившись. – Они мне неприятны. Кто-то по мне ползет!

Матрасы, на которых они обычно спали вдвоем с Василием, положили поперек, чтобы защитить от холода спину, а под ноги Евстихий накидал сосновых веток. В ветках могли остаться волосогрызки, крупные черные жуки с широко расставленными суставчатыми усищами, неповоротливые летуны, с зудением низко летящие по прямой, чтобы в конце медленного полета тяжело шлепнуться на лист, на ветку или запутаться в волосах.

– Никто по тебе не ползет, – удержал подругу Петр, проводя рукой по ее волосам. – А если ползет – пусть себе ползет, плешку тебе выгрызет...

– Мало ли кто кому не нравится, – сказал Петр, когда Маргарита вдоволь навошкалась и снова улеглась. – Придется потерпеть. Николай Мирликиевич – это, кажется, Николай Мирликийский, епископ города Миры в Ликийи. Он потихоньку дарил нищим деньги,

---

1 Цитата из В. Набокова.



и из него сделали Санта-Клауса. У нас его зовут Николай Угодник. Ну а Илья Владимирович – это тогда, конечно, Илья Пророк. Помнишь: гром гремит – Илья-пророк едет? Только с чего он «Владимирович», не пойму.

Маргарита взбесилась тихо и бесповоротно, приняв сказанное за дикую насмешку. Встала утром раньше всех, несчастная обиженная дуручка, и смылась к восьмичасовой электричке. Петр обнаружил ее исчезновение без двадцати восемь, слишком поздно для погони, и в город поехал с Ильей Владимировичем. Всю дорогу Илья Владимирович попусту болтал, втягивая его в разговор, Петр отмалчивался.

За рулем сидел молодой необщительный парень по имени Женька. Ему платили, чтобы он крутил баранку, не за болтовню. «Линкольн» набирал и набирал ход, раскачиваясь на дорожных волнах, как яхта под свежим порывистым ветром. На страшной скорости влетая в крутые повороты, Женька сбрасывал газ в последний момент и накручивал баранку, отлавливая пошедшую в занос машину – «мел хвостом», как такую манеру прохождения поворотов называют автогонщики. На выходе из поворота он снова давал гари, и пассажиры вжимало в мягкие спинки. Сосны, ели и ракиты улетали назад, покачивая ветвями. Застигнутые врасплох птицы взлетали из-под широкого капота и сваливались в сторону, сильно работая крыльями. Попутные легковушки испуганно шарахались к обочинам, лишь встречные КамАЗы издали мигали фарами и тяжело перли по осевой, не сбавляя хода. Им предстоял слишком дальний путь, чтобы еще уступать кому-то дорогу.

## **Х. КАТМАНДУ**

### **1**

Во всех наших городах правительственные здания любого цвета почему-то называют на американский манер. Подходя к широкой и высокой лестнице Белого дома, Петр нос к носу столкнулся с Игорьком, матросиком из своего экипажа. Кличка у матросика была Катманду. В экипаже Игорек оказался его единственным земляком, и Петр интересовался им.

Кличку свою Игорек Катманду заслужил так. На крейсер он попал после учебки. Когда молодое пополнение выстроили на шканцах, командир корабля сказал речь:

– Матросы, вам выпала честь служить в нашем славном экипаже. Несите службу хорошо, и, когда мы придем в Катманду, лучшие из вас первыми сойдут на берег. Боцман, командуйте.

Командир ушел. Боцман, пройдясь перед строем и пробуравив каждого свирепым взглядом, ласково поинтересовался:

– Ну что, салажня! Хотите послушать райскую музыку?

Набрал полную грудь воздуха и поднес ко рту свою дудку.

Вообще-то откровенно сачковать можно даже во флотском экипаже, но для этого тоже нужна прямо-таки зверская натура, чтобы старослужащие матросы просто устали избивать тебя в кровь и оставили в покое. Но худенький Игорек не только не сачковал, но и надраивал палубу и галюн с таким рвением, что в конце концов старшины вынуждены были вызвать его в каптерку после отбоя.

– Салага, ты чего так упираешься? – дружески спросили они у Игорька. – Годки заставляют? Так ты скажи нам, не бойся. Мы разберемся. Мы не «береговые», у нас дружный экипаж: никто не должен делать больше того, что положено.

– Нет, я сам, – с облегчением признался Игорек. – Товарищ капитан обещал, что кто будет хорошо нести службу, пойдет на берег, когда мы придем в Катманду.

Старослужащие не поверили своим ушам.

– Салага, у тебя мамка есть? – участливо спросили они.

Игорек растаял:

– Есть...

– Любишь мамку?

– Люблю.

– Так ты что, не хочешь, чтобы мамка дождалась сыночка домой? – зловещим голосом поинтересовались у Игорька. – Издеваешься над нами?

– Да ведь товарищ капитан пообещал... – все еще не понимал Игорек.

Он не шутил и не издевался.

– Салага, «капитан» у торговых, – тут же поправили его. – На военном флоте – командир. Ты в школе учился, салага? Географию знаешь?

– Учился. А что?

– А то, что Катманду – это столица Непала, а Непал – в Гималаях. О Гималаях знаешь? Это горы такие. Ты на корабле, салага. В Катманду он захотел! Иди обратно в кубрик, Катманду!

За два с половиной года службы на крейсере в дальнем морском походе Игорек побывал, но ни на один иностранный берег, естественно, по трапу не сходил.

В штатском он Петра не узнал.

– Матрос! – окликнул его Петр.

– Товарищ лейтенант? – обрадовался Игорек.

Он возмужал, заматерел и отпустил жиденькие усики.

– Ну, ты как? – спросил Петр.

Свое несправедливое увольнение из флота Петр переживал глубоко и сильно, но ему все равно было приятно увидеть человека из прежней морской жизни.

– В фирму устроился, – охотно поделился Игорек. – Если хотите, могу за вас поручиться. У них строго, по поручительству.

Игорьку тоже было приятно, что он может оказать протекцию бывшему командиру.

– Что за фирма?

– Американская. Будем распространять новое ихнее лекарство. Я вам потом покажу документы. Нам уже счет в банке открыли. Лучшим, кто больше всех распространит, каждую неделю будут давать премию в валюте, а через два года каждому будет путевка на Гавайи, а самых лучших возьмут в Америку менеджерами. Я уже английский начал учить.

– Ты, главное, не бросай. Тебе какой американский город больше нравится – Нью-Йорк или Марсель?

– Марсель, – засмущался счастливый Игорек.

На прием к губернатору Петра записали только на второе июня.

– Давайте ваши документы, – первым делом потребовали у него в бюро пропусков.

Петр подал в окошечко паспорт.

– По вопросу документы есть? – спросили из окошечка.

– По какому вопросу?

– По вашему, по вашему, – терпеливо пояснили из окошечка. –

Документы, что вы пришли не просто так, а по важному и срочному вопросу. Есть такие документы? Нет? Тогда только на второе июня, но вы еще заранее позвоните, номер – в справочнике. Проживаете там же?

Дежурная секретарша быстро пролистала его паспорт до странички с пропиской.

– Нет, проживаю я, кажется, уже не там, – невесело отвечал Петр. – В Катманду я теперь буду проживать. Райское местечко! Не пришлось бывать?

## 2

Оставив за спиной равнодушный коридор, Петр вышел в просторный вестибюль с газетными и аптечными киосками, преддверие жизнерадостной улицы, курящей, сморкающейся, харкающей на асфальт, бросающей окурки мимо урн, шаркающей ногами, озабоченной, спешащей, гуляющей, тянущей время, поедающей мороженое, пьющей газировку, глазеющей на стройные ножки в капроне и не глядящей под ноги. От ведущих на улицу стеклянных дверей по широким пологим ступенькам всходили Илья Владимирович и Анатолий Карасев, оба свежие, бодрые и деловые и оба с кожаными папками под мышкой. Над платьем Ильи Владимировича словно бы действительно вчера потрудился со щеткой ворчливый гувернер, а Анатолий – так тот вообще преобразился. Русой бородой на сильном открытом лице и строгим темно-синим до черноты двубортным костюмом на большом крепком теле он здорово напоминал купца первой гильдии – промышленника, заводчика, миллионщика, самоучку и мецената вдобавок.

– А, Петр Андреевич! – вскричал Илья Владимирович, мигом завидев Петра. – И вы тут! А я вот тоже решил нанести визит начальству, – затрещал он. – Всякий приезжий непременно должен нанять визит лучшим людям города, непременно, об этом в каждой книжке написано. Да вы мне не верите? И совершенно правильно делаете. Знаете, чем дольше я с вами знаком, тем больше убеждаюсь, что вам пальца в рот не клади!

– Зачем мне во рту ваш палец?

– Незачем, незачем! – подхватил Илья Владимирович. – Совершенно незачем.

Лицо Анатолия выразило ревнивое желание прервать эту ерунду чем-нибудь поумнее и идущим ближе к делу. Долгое молчание ему давалось с трудом, когда другие говорят. Илья Владимирович, очень чуткий, когда нужно, уловил его настроение, взял у него паспорт и лично побежал в бюро пропусков. Манипулируя с паспортом, он как-то неловко засуетился руками, папка на лету раскрылась, и из нее веером полетели листы бумаги с печатями и штампами. Илья Владимирович присел и бросился за ними, как за цыплятами, раскинув крылья.

Один из листов спланировал Петру под ноги. Петр сделал шаг, поднял лист и, возвращая его, разглядел шапку, что-то вроде «Swiss branch of ...».

– Крутой мужик! – доверительным голосом поделился Анатолий, когда бумаги были собраны и спина Ильи Владимировича скрылась в коридоре.

– Ты баржу-то купил?

– Купил! – гордо заявил Анатолий. – Сегодня в пять освящение, чтобы как положено. Приходи, в затоне судостроительного... С таким попом познакомишься! Абеяра в оригинале читает, Эриугену... Я его специально выбрал, чтобы освящение провел... И вездеходы будут, на резиновых гусеницах, чтобы тундру не портили. На ГАЗ такие начали делать: садят кузов «Газели» на раму с гусеницами – по тундре будем рассекать, как на «Жигулях». А завтра лечу в Москву договор заключать. По твоей медицинской части что заказать, продумал?

– Продумал. Ты привези-ка мне винтовку с оптическим прицелом.

Анатолий засмеялся:

– Гранатомет не подойдет? Тебе отдам дешевле.

– Не подойдет. Радиус поражения большой.

– Соображаешь, – похвалил Анатолий. – Как жажнешь!..

Враль был замечательный. И не в том смысле, что врал непрерывно, изобретательно или уносясь за границы реальности и попирая ногами какую-то общечеловеческую истину, когда из прихотливого сцепления вполне достоверных житейских или научных фактов прет, как из кадушки, чудовищное нарушение законов природы и разума, грозящее распространиться на весь Universum. В этом Ана-

толий Карасев не упражнялся. Растормаживать воображение ему не позволяла присущая ему крепость душевного и телесного состава, и лишь под влиянием алкоголя он мог пуститься в воспоминания о службе в спецвойсках.

Что это были за войска, до сих пор остается, впрочем, некоторой загадкой. Диверсии он где-то совершал, коридоры какие-то штурмовал, из гранатомета отстреливался раненый, но до диверсий и гранатомета доходило редко, когда дела его не срастались и он впадал в состояние многодневного равномерного подпития (выпил же за свою жизнь столько, что мне не переплыть). Может, и совершал, и отстреливался, кто знает, но спал, похоже, как убитый младенец, не мучаясь кровавыми кошмарами, и даже в дымину пьяный не становился опасно агрессивным.

Добр же был несокрушимо. Покупая водку, прикупал шоколадку на вкус продавщицы, чтобы ей же ее и вручить, покупал мороженое и «сникерсы» пацанам, трущимся у киосков, и искренне переживал, что не может помочь им по-настоящему.

Майорство же свое упоминал часто, но и тут как-то умел избегать оскорбляющих истину деталей. Любил, к примеру, прервать скачущий пьяный спор вопросом: «Ваше воинское звание!». Будучи майором, он всегда оказывался по званию старшим, после чего спор весело перескакивал на другое. Шрамы от пуль и осколков еще иногда порывался показать, но в последний момент словно с горечью спохватывался, что не сможет передать словами, как все было на самом деле, и не показывал. Стоило же его делам немного поправиться, гранатомет сдавался в оружейку, бомбы разряжались и заключался мир, перемирие точнее, до очередного скачка доллара или тарифных ставок.

Если не лениться и любить человека, можно собрать неплохой паноптикум человеческих типов и разыграть у себя на столе маленькую человеческую комедию на свой вкус.

---

### 3

---

Выйдя на широкое и высокое крыльцо Белого дома, Петр услышал пронзительный и тревожный вой сирен. По широкой улице, свирепо завывая, мощно промчались в сторону набережной большие красные «пожарки». В их двойных кабинах плотно сидели и покачивались на-

супленные пожарники в золотых древнегреческих шлемах. Бетонная громада «Олимпийского» продавливала землю в пяти-шести кварталах от Белого дома, как раз на месте бывшего еврейского кладбища.

Петр отправился в «дом над хлебным». Ничего другого не оставалось. Можно было еще кое-куда сходить, но туда он пока не хотел идти.

---

#### 4

В правом портике «Дома над хлебным», как обычно, сидели на корточках, курили и сплевывали себе под ноги молодые парни в кожаных куртках. Головы на Петра никто не поднял.

– Где бы мне Обуха найти, – сказал им Петр сверху.

– Знаем такого, – отозвались ему снизу, не меняя поз и по-прежнему не глядя на него. – А ты что за пряник?

– Пряник? – задумчиво переспросил Петр. – Обидеть, что ли, хочешь?

Сидящие переглянулись между собой, и один распорядился:

– Дикий, покажи человеку...

На ноги поднялся молодой парнишка и направился внутрь дома к темной зловонной лестнице, приглашая Петра следовать за собой. По ней они поднялись на последний пятый этаж и вступили в длинный коридор почти без лампочек.

– Какие люди в Голливуде! – сдержанно улыбнулся Обух, поднимаясь навстречу Петру с продавленной кровати.

Петр не видел его много лет и был тяжело поражен его видом. Глаза Обуха потускнели и ввалились, кожа под глазами потемнела, припухла и мелко сморщилась, двигался он вяло и неохотно. С туберкулезом в открытой форме жить ему оставалось, словом, недолго.

---

#### 5

В Уточкину Петр вернулся потемну, ночью, доехав до отворота на шальной попутке.

Заброшенные поля на дне пади в широкой ее части, заросшие разнотравьем, все еще числились, видно, как сельхозугодья, и под садово-огородные участки отвели южный склон. Там, где падь сужалась, поля сходили на нет и начинался густой березняк, солнечным днем естественно белоснежный от комлей до вершин (даже зеленая листва, покрывши костлявые сучья старых берез, не нарушает общего впечат-

ления сияющей белизны и прозрачности, возникающего под кронами березового леса), а лунной ночью – сереющий, как выбеленные ветром доисторические кости, понатыканные торчком. В призрачном лунном свете этой ночи березняк вился по залитому луной южному склону наподобие зубчатой китайской стены, призванной остановить свирепые орды неукротимых гуннов (а еще больше – потрясти воображение нефритового императора Поднебесной, совсем оторвавшегося от земли в Запретном Дворце и возомнившего о себе невесть что).

У самого края стены в узкой горловине пади горели костры. У костров, судя по звукам, изредка доплывавших до чуткого слуха Петра, сидели многочисленные люди. Петру даже показалось, что он слышал стройное хоровое пение. Он положил себе обязательно туда наведаться при свете дня, чтобы не обмануться ночными химерами и фантазмами.

У него на участке, как и вчера, тоже мерцал костерок, и вкусно наносило жареным мясом. Как и вчера, мясо жарил Илья Владимирович, Николай Мирликиевич все так же сидел у костра, правда, на сей раз на чурбаке. Васька Косой с дедом все так же сидели на лавке за столом лицом к огню, Василий сидел к огню спиной, но вокруг стола выныривали из темноты еще две гибкие женские фигурки, которых вчера не было. И еще кто-то неразличимый на лицо сидел за столом.

– А мы опять к вам, Петр Андреевич! – весело закричала бойкая Люся, узнав его по звуку шагов, или по очертаниям фигуры, или по дыханию, или как еще женщина узнает мужчину.

– К вам, – подала голосок робкая Света, очевидно неуверенная, что ей позволят остаться.

– Скажите мне «спасибо», Петр Андреевич! – воскликнул гордый своей расторопностью Илья Владимирович, выпрямляясь. – Это я их привез!

– А их-то за что? – громко спросил Петр, чтобы и подруги услышали.

– А за женскую гордость, Петр Андреевич, – охотно пояснил Илья Владимирович. – Остаться до тридцати трех лет невинной – какая нужна для этого гордость! Какая нужна верность девичьей мечте о прекрасном принце! Мечта глупа и смешна, но за нее заплачено, и сполна заплачено! Остаться старой девой и синим чулком, согласитесь, для женщины много значит, гораздо больше, чем для мужчины остаться



ся девственником!

– Да, Петр Андреевич, – проговорил Николай Мирликиевич, не отрывая взгляда от огня. – Ваша роевая жизнь, как называл ее ваш великий писатель Лев Толстой, заканчивается.

В пляшущем свете костра его поношенное лицо казалось то ли молодым и дочерна загорелым, то ли попросту старым, как медный таз.

– А это кто? – не церемонясь, спросил Петр. Неразличимый незнакомец привстал и принялся усердно ломать нежный язык о варварские звуки:

– Zdrjavstvuj, Pjotr!

Петр всмотрелся в темноту:

– Тъери? Ты откуда здесь? Why You are here?

Не зная родных языков друг друга, они с успехом изъяснялись на равно чужом для обоих английском, понимая один другого так же хорошо и полно, как понимают друг друга человеческий младенец и детеныш шимпанзе, перетягивающие игрушку.

– I've arrived to tell You: You're the bearer of Legion of Honoure!

– Да-да, Петр Андреевич, вы теперь кавалер ордена Почетного Легиона! – без нужды перевел Илья Владимирович. – Французы раскачались наградить вас за спасение соотечественников. А вашего друга тоже я привез, прямо из аэропорта – и сюда!

– А на хрен он мне теперь? – усмехнулся Петр, присматриваясь к тушке на вертеле, умело устроенном над костром.

– Это что у вас – коза? – поразился он. – Дикая, надеюсь?

– Дикая, самая что ни на есть дикая! – с гордостью, будто сам ее добывал, подтвердил Илья Владимирович. – Таежник наш расстарался.

Старый таежник Евстихий, взяв внука и Догоняя, поднялся вверх по пади к истокам Уточкиной речки, нашел свежий козий след и ткнул в него носом Догоняя. Нет ни одного сибирского города, в ближайших окрестностях которого не водились бы рябчики, тетерева и дикие козы; голодными зимами даже медведи, случается, заходят на городские окраины, где и находят скорую смерть. Догоняй мигом догнал козу, задавил и – вот что значит порода! – приволок ее к ногам Евстихия. Евстихию оставалось только отнять у него добычу, разделать ее, кинуть псу заслуженный потрох и нагрузить тушу на внука, чтобы тот спустил ее вниз, приобщаясь к трудному ремеслу охотника.

– Oh, it's Siberia! – понимающе произнес Тъери. – Wilderness!

– Что это вас всех так тянет на дикие места! – досадливо заметил Петр. – Мало тебе там показалось?

– Sorry? – не поняв, разумеется, смысла и не разглядев в темноте выражения его лица, хорошо понял его интонации Тъери.

– Не будьте таким циничным, Петр Андреевич, – с укором произнес Николай Мирликиевич. – Орден есть орден, тем более такой почетный. Так что завтра вам снова в город – получать заслуженную награду. Ну что вы такой квелый, Петр Андреевич? Радуйтесь! Я бы на вашем месте даже сплясал по такому поводу! Эх! – вдруг воскликнул Николай Мирликиевич и, вскочив на ноги и заверещав на мексиканский манер: – Йих-ха! Тр-р-р-р-р-ря! Йёх-ха!!! – Быстро пошел, пошел по кругу, через шаг выкидывая как-то наружу пятку правой ноги и одновременно склоняясь к ней набок и назад всем корпусом.

– Йих-ха!!! – подхватила Люся, подбегая к нему и кладя руки ему на плечи.

– Тр-р-р-р-р-ря! – подхватила Света и, увлекая за собой смущенного Ваську Косого, не знающего, что делать с руками-ногами, побежала к пляшущим.

Чтобы поддержать общее настроение дикой джиги, дисциплинированный Тъери тоже вышел на свет к костру и принялся вяло шевелить бедрами, прихлопывая в пухлые ладошки.

Петр присел к столу.

– Что ты, мил человек, уныл, как лягушка? – спросил Евстихий.

Глядя на Люсю со Светой, Евстихий умиленно воскликнул:

– Ах вы, голубицы вы мои милые!

Пляшущие наконец выдохлись, утомились и вернулись к столу. Илья Владимирович снял вертел с зажаренной целиком козой и шлепнул мясо на доски стола.

– Так-то лучше, – одобрил Евстихий и достал из-за голенища кривой охотничий нож.

Он хотел сказать, что мясо вкуснее есть без всяких вилочек и тарелочек, а с ножа.

---

## 6

Илья Владимирович и Николай Мирликиевич на вторую ночь не остались, пообещав наведаться перед отъездом. В городе они сняли

квартиру. В три часа ночи они уехали на «Линкольне», кулем загрузив в машину сытого, пьяного, счастливого француза.

– Oh, Pjetr, – лепетал Тъери, упорно не попадая крупом в распахнутую дверцу, – it was unforgetten! I'm so happy to see you! Tell me the exact truth: did you was ready to kill me?

– Certainly, be sure! – мягко направлял его Петр.

– Really? – не верил Тъери, растопыриваясь.

– Really, really, – подтверждал Петр, посмеиваясь. – Ты только ради этого и приехал?

Ночью Петр спал чутко, сквозь сон слушая шелест дождя. Света уютно посапывала под его левым боком, прижимаясь к нему всем телом, как к большой детской игрушке, а Люся вольно раскинулась справа, иногда закидывая на него тонкую девичью руку или ногу, как во сне захочется.

## ХІ. ЖАННА Д'АРК

### 1

Первый раз в школу нарядный Васька Косой шел, как на день рождения к девочке, трепеща и замирая, но его обманули. Не предупредили, что ходить туда нужно будет каждый день и там будет вовсе не так интересно. Читать по слогам, писать каракулями и складывать столбиком он еще научился, после чего решительно отказался понимать, почему маленькое Солнце больше всего, а вместо «ложить» надо говорить «кладут». Уставив на доску пустой взгляд, он изнемогал от бессмысленности происходящего на уроке.

Долго так продолжаться однако же не могло. Однажды на русском языке, не в силах далее выносить бесконечное «я читаю – ты читаешь – он читает – они читают – мы читаем», Косой вскочил на парту и с грохотом пошел по партам куда глаза глядят. Грозная Елена Аполлоновна ухватила его за шиворот, сорвала с парты и швырнула за дверь. Это была педагогическая ошибка. Косой постоял немного под дверью, с трепетом ожидая явления в пустом коридоре громовержца-директора, ощущая себя стрекозой на булавке под прозрачным стеклом. Посидел на широком подоконнике, побалтывая ногами. Помыкался по коридорам. И вдруг маленьким вихрем слетел по крутой лестнице, пронесся

по гулкому фойе, всем тельцем навалился на тяжелую дверь, вылетел под золотые кроны осенних тополей – школьная дверь прощально громыхнула у него за спиной, посмотрел налево, направо, тихо улыбнулся и побрел по тротуару, загребая ногами опавшие пожухшие листья. Так он полюбил прогуливать уроки. Дома о его прогулах узнали, и отец надавал ему добрых подзатыльников, но было поздно: Косой познал вкус свободы. Скоро он обрел еще одну ее степень.

Всякий дар – великая тайна, и много говорить тут нечего. Воровал Косой из врожденного дара безошибочно видеть, что плохо лежит и не так надето и как половчее к этому подобраться. Но как он пользовался плодами своего искусства? Первую робкую кражу Косой совершил во втором классе. Походя взял с парты чужой пенал, раскрыл его, машинально выцарапал из него какую-то мелочь и купил себе два пломбира в вафельных стаканчиках. Но съесть мороженое он не успел. К нему подвалил шпанец постарше, завел разговор по всем правилам мальчишеского этикета, пригласил приходить в свой двор, посулил дать покататься велосипед, подарить футбольный мяч с ниппелем, офицерский ремень, пообещал сделать рогатку с резинкой-венгеркой и под этим предлогом выцыганил стаканчики один за другим и слопал их без всяких угрызений. Расстались оба совершенно довольные собой и друг другом, и судьба Косого была предreshена. Произошел импринтинг, неосознаваемое запечатление первого образа. Если петушок, вылупившись, первой увидит красную резиновую перчатку, он будет неотступно бегать за перчаткой, как бегал бы за курицей, если бы первой увидел курицу, как и положено ему природой и куриным обычаем. Так и Косой. Никакого удовольствия от мороженого он не успел получить, но тем глубже запечатлелась в нем радость от самих по себе свободной покупки чего бы то ни было и свободного дарения купленного.

Пока он порхал «нізэнько-нізэнько», как говорят наши малороссы, каждого из обитателей Лысой Горы он обворовал хотя бы по разу. Но лысогогорские никогда не забывали, как он купил старый «Запор» по цене новой «Волжанки». Они быстро усвоили, что взамен кошелька с десяткой или ржавой тяпки у Косого можно получить велосипед, или роликовые коньки, или игровую приставку Dandy, или компьютер Pentium, японский телевизор, корейскую магнитоу, электрогитару, штангу с гирями, скейтборд, норковую шапку жене или золотую це-

почку ей же. Вместо нового японского телика можно было получить старый китайский видик, но тертые обитатели Лысой Горы проницательно ждали от Косого большего и не ошиблись. Крылья Косого скоро окрепли, он воспарил над городом дерзким молодым орлом и принялся когтит «мерседесы» и лопатники новых русских. Тогда-то Лысая Гора и побросала вся поголовно работу, протоптав к дому Косого глубокие тропинки со всех концов. Неудивительно, словом, что ни одного вещдока на Косого менты не нашли: ни один лысогорский не заложил Косого, а обыскивать Лысую Гору дом за домом – такую кучу ордеров ни один прокурор не выписал бы.

– Как тебя, сыночек, уважают-то! – в редкие минуты семейного мира гордилась им мать, материнское сердце ей охотно подсказывало: – А что? Не пьешь, не куришь, зарабатываешь...

По вечерам пятницы ее силком было не оттащить от голубого экрана. Тяжелый полосатый маховик «Поля чудес» представлялся ей механизмом беззвучной судьбы, а донельзя остроумный ведущий – веселящимся демиургом. Демиург охотно позволяет нарядить себя бравым брандмайором или лупоглазым водолазом, но в самый разгар беззаботного веселья в студии грозно провозглашает: «Крутите барабан!», или «Букву!», или что-нибудь другое, столь же судьбоносное и непостижимое. Мать Косого замирала в состоянии невыразимого блаженства. Ей позволялось безопасно заглянуть в высшие сферы, где naguad раздают удачу. Одного она никак не могла взять в толк – откуда у Якуповича деньги на кухонные комбайны, телевизоры и иногда даже машины. «Бизнес это, мать, бизнес! – снисходил до объяснений современный сын. – Большие бабки люди прокручивают! Поняла?» «Поняла», – соглашалась мать. Сына она искренне считала одним из таких бизнесменов, которые загадочным способом делают деньги из воздуха – и их за это не садят.

Отец Васьки Косого, утрюмый, заросший черной щетиной мужик, обо всем догадывался. Но что он мог сказать? Мимические мышцы его лица давно привыкли к искательной улыбке, с которой он принимал по утрам от сына деньги на опохмелку. Деньги ему сын протягивал с наполовину мстительной, наполовину презрительной ухмылкой. С каждым днем презрения в улыбке становилось все больше, как отцу казалось.

Отец не понимал сына. Васька Косой был проще чувств мести и презрения. В сущности, он был еще натуральный ребенок, не способный к таким длительным и сложным движениям души. Если бы отец заговорил с ним, как иногда бывало в детстве – строго, ласково, сурово, по-доброму иронизируя, наставительно – не важно как, но по-человечески, по-отцовски, взялся бы учить его ездить на мотоцикле, ставить розетку, запрягать лошадь, насаживать червяка на крючок – не важно чему, но простому, человеческому, рассказал о себе, похвастал, то даже сейчас Косой не то что простил бы ему побои за двойки и прогулы, но забыл о них, хотя бы на время разговора. Но отец, слабый человек, не нашедший себе места в сложной городской жизни, не мог, видно, простить себе слабости и с каждой жизненной неудачей все глубже погружался в мрачное молчание. Молчание он нарушал, чтобы назвать жену «толстой курицей», а сына – «ушастым гавнюком». Себя он называл «решенным человеком», почему и считал себя вправе напиваться к вечеру в стельку.

И вот Ваську Косого тоже взяли за шкуру, обнюхали, сунули в рот, разжевали и с отвращением выплюнули под стену следственного изолятора, обсосанного и еле живого.

– Что стоишь, ублюдок? Рви когти! – прошипела ему напоследок его прежняя жизнь.

– Внучек! – свежим и сильным голосом окликнула его жизнь новая.

– Папа? – прошептал измученный Косой.

Сильная кровь текла в жилах кержака Евстихия. Отец Васьки Косого мог бы смотреться в своего отца, как в зеркало, если бы не стал отступником и неудачником. Сейчас перед Косым стоял человек, каким его настоящий отец должен был быть – статным русобородым человеком с мудрым взглядом отшельника и мускулатурой деревенского кузнеца.

Подлинная свобода обрушилась на Косого новыми людьми и отношениями, которых он не понимал и тем вернее был ими покорен и очарован. Он, как губка, впитывал новые впечатления, главное – от деда и двух молодых веселых врачей. От деда пахло дегтем и молоком, он

показывал, как обтесывать жерди, забивать гвозди, снимать шкуру с убитого животного, разводить костер в сыром лесу, и не лез в душу. А врачихи сменили занудливую дамочку с противоестественным именем Маргарита. Дамочка лезла во все дырки и вечно была чем-то недовольна, ее смех казался Косому ненатуральным и выделанным, а ее докучливая опека – унижительной. Врачихи же играли с ним в подкидного дурачка и «тыщу», ежеминутно подтрунивали над ним, подхваливали, когда он помогал по хозяйству, ругали, когда отлынивал, – словом, помыкали им, как старшие сестры, и Косой с готовностью подчинился сладкому игу этой поддельной семейственности.

Он очутился в странной жизни. Люди, окружавшие его, не были богаты, но тратили деньги легко и весело, не пили водку в погоне за припадочным натужным весельем, не ссорились, заботились друг о друге и о нем и вели разговоры о каких-то русских передвижниках, множественности миров и солипсизме. Долго ли он здесь пробудет и что будет с ним потом, Косой не задумывался за неимением на это сил и привычки. Он пока блаженствовал, и ему потребовался сосуд – излить в него, что накопилось в душе.

Сосуд подвернулся ему в образе француза. Француза привезли те двое, которые сначала спалили Косого на вокзале с чужим углом, а потом они же привезли его сюда вместе с дедом.

О побеге Евстихий не знал. Он просто затемно приходил к следственному изолятору, устраивался неподалеку в кустах акации и высиживал до начала дня. Как только к изолятору подъезжала первая машина, он уходил. Если бы его спросили, чего он ждет, он не ответил бы, но глаза его сказали бы многое. У себя в тайге он вставал с солнцем и ложился спать с закатом, Луна, которую видел он, проплывала в длинных облаках по неведомым небесным равнинам. Безлунными ночами он видел мириады звездных дырочек, проверченных в небосводе для напоминания об истинном свете, и в мире, на поверхности которого он жил, не было дурацких полосатых барабанов, бледных аллегорий одной причины и ее неисчислимых следствий. В этом мире ничего не случалось, но все п р о с х о д л о, и нужно было только иметь веру и терпение дожидаться, когда произойдет нужное. И вот в четыре утра воскресенья шестнадцатого мая Евстихий увидел, как из лаза в стене вываливаются и разбегаются, как тараканы из банки, темные фигурки.

Одна фигурка осталась у стены, где выпала, и сердце Евстихия жалось: внука он узнал по очертаниям фигуры, какие были в юности у сына-отступника. Евстихий верно рассудил, что рядом с его юфтевыми сапогами выше колен и котомкой на плече кроссовки и кожаная куртка беглеца не будут бросаться в глаза. Он без помех покормил внука в железнодорожном буфете, исподволь присматриваясь к нему, а потом вывел его на Гусиноозерский тракт. Куда его повезут, Васька Косой не спрашивал. Под первыми солнечными лучами он согрелся, саднящая боль в пробитой мошонке отпустила и забылась, и ему стало мерещиться, что он снова счастливый мальчишка, удравший с уроков. Пределы города он покинул второй раз в жизни. Первый раз за городом он оказался в тринадцать лет, когда на честно купленном «Запорожце» выехал на этот же Гусиноозерский тракт, да бензин кончился. Теперь-то он мог быть твердо уверен, что по разбитому тракту, на обочине которого он стоит, ему предстоит ехать бесконечно долго и никогда не вернуться обратно, хотя Земля и круглая, как футбольный мяч. Но день наступал воскресный, с утра дальше Гусиноозерска никто не ехал, а им нужно было много дальше. Лишь к полудню их подобрали Николай Мирликиевич с Ильей Владимировичем и привезли в Уточкину.

Этих двоих Косой побаивался и всем видом показывал им, что заговаривать с ним бесполезно. Хозяин участка – молодой крепкий мужик по имени Петр Андреевич, тоже врач, только хирург, – глядел мимо него, словно не замечая его робкого существования, и перед ним Косой тоже не смел раскрывать душу. Оставался, стало быть, француз.

Веселые врачи вовлекли его и француза в пляску у костра. Когда же все наплясались и встали, опустив руки и в некотором смущении переглядываясь, Косой подошел к французу и улыбнулся.

Тот улыбнулся ему в ответ.

– Здорово, да? – сказал Косой.

Француз опять улыбнулся. Нужно было сказать что-нибудь равно известное им обоим.

– Д'Артаньян!

Француз улыбнулся.

– Атос!

Француз снова улыбнулся, неуверенности в его улыбке еще приба-



вилось. Косой напрягся и припомнил из истории, что француз точно должен был знать.

– Жанна д'Арк!

– Oh, qui, qui!

– Зачем вы ее сожгли?

Лицо непонятливого француза выразило слабое недоумение. Он задумался, кивнул на Люсю и быстро проговорил, подмигивая всем лицом:

– Regardes-moi cette belle brune!

– Чего?... А-а, конечно, – великодушно согласился Косой.

– Qui, qui, – француз еще раз улыбнулся и направился обратно к столу.

Косой последовал за ним. Хозяин участка, молодой мужик Петр Андреевич, не принимавший участия в пляске, встретил их вопросом:

– Ну что, представители двух великих европейских народов, побеседовали?

Вопрос задан был по-русски, и отвечать на него следовало Ваське Косому. Какой же мыслительный процесс произошел у него прежде в голове? Разберемся.

---

## МЕЖДОМЕТИЕ

### *Мыслительный процесс Косого*

Вопросительное междометие «ну что?», стоящее в начале высказывания, указывает, что спрашивающий не нуждается в получении новой информации, а нуждается в подтверждении или опровержении того, что уже знает. Например, вопрос: «Ну что, съездил (в город, в Америку, к теще)?» – предполагает, что спрашивающий знает, что собеседник либо собирался куда-то съездить, либо уже съездил, и хочет услышать: «Да, съездил» либо «А ну ее к черту!». Это междометие Васька Косой слышал неоднократно и сам его часто употреблял. Как только оно прозвучало, мозг его приготовился воспринять и осмыслить сообщение, которое он должен был подтвердить или опровергнуть. И тут возникли некоторые затруднения. Слова «представители», «великих», «европейских» и «народов» находились у Косого в так называемом пассивном словарном запасе. По своему почину он их не употреблял, а

мог только их понять, и то лишь когда они звучали по отдельности, да и то не все. Восприняв их в одной фразе одно за другим, его мозг погрузился в перебор возможных смысловых комбинаций между ними: «представители двух», «представители европейских», «представители народов», «двух великих», «великих европейских», «европейских народов». Каждая из комбинаций была столь же непостижима по отдельности, как и все они скопом. Что, например, означает «представитель народа» или «великий народ»? Наконец, измученный мозг наткнулся на смутно знакомое «побеседовали», преобразовал его в инфинитив «беседовать», из последних сил кое-как выудил из пассивного словарного запаса его значение «вести беседу, неторопливо разговаривать о чем-либо, ком-либо», преобразовал это значение в прошедшее время множественного числа глагола второго лица совершенного вида и в изнеможении отключился, посчитав свою миссию исполненной.

### *Конец процесса*

---

– Ага, – сказал Косой и в первый раз за последнюю неделю расплылся в счастливой мальчишеской улыбке.

Он не опасался уже, что его саданут ботинком по голени или вкрасиво поинтересуются, чего он лыбится, кусок падлы.

# MV

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I. ЗВЕРСКАЯ МЕСТЬ

#### 1

В десять часов утра вторника восемнадцатого мая в кабинет губернатора Леонида Васильевича вошел высокий статный мужчина. Седина, густо посеребрившая его виски, странно контрастировала с черным волосом на остальной голове и моложавым лицом, штатский костюм – с выправкой кадрового офицера, слова: «Разрешите войти?» – с уверенной поступью. Вошедшим был генерал-майор Лаврентий Павлович Тихонравов. Обмениваясь с ним крепким рукопожатием, губернатор в который раз испытал странное тревожащее любопытство, желание получше всмотреться в лицо этого человека, попытаться понять, что все-таки происходит у него в голове, о чем он сейчас думает и на что способен через мгновение. Такое любопытство пополам с опаской, только гораздо более сильное и отчетливое, заставляет молодого дурака-тракториста, увидевшего орла, зачем-то слетевшего на землю, выскочить из дребезжащей ка-

бины и мелкой побежкой приближаться к большой, красивой, опасной птице, пока в последний момент та не совершит навстречу ему угрожающего полуброска, полуполета над самой землей, стремительного, как набежавшая волна, отпугивая смущенного царя природы в стоптанных кирзовых сапогах. В облике генерала и в самом деле было что-то от большого пернатого хищника. Голову его будто насадили на штырь, на котором она могла свободно поворачиваться налево-направо независимо от разворота широких покатых плеч, пропорционально заменяющих сложенные крылья, а выступал он грудью вперед и до конца распрямляя колени (что мало кому в его возрасте доступно). Вблизи птичье сходство еще усиливалось. Годы подъели жирок на черепе генерала, сухая переносица его заострилась, как канючий клюв, глазницы округлились, светлые глаза заledenели и обрели способность, не мигая, смотреть в лоб собеседнику.

Как обычно, генерал был в штатском. Ведомство, которому он отдал лучшие годы жизни, сыграло в нашей недавней истории столь зловещую роль, что многие из интеллигенции до сих пор не могут слышать его емкую аббревиатуру без мучительной судороги сознательной ненависти.

---

## 2

---

– Садитесь, генерал, – пригласил губернатор и, раскачиваясь большим сухопарым телом, стал пробираться обратно за свой большой стол. Он был сердит, как медведь.

Чтобы обрисовать генерал-майора Лаврентия Павловича, хватит орла, парящего над оплошавшим зайцем. Фантомный Леонид Васильевич, проецируемый памятью на внутреннюю поверхность моей черепной коробки, раздвигается и ускользает. Когда он открывал губернаторскую елку для неблагополучных детей – социальных сирот или поздравлял по телевизору с Новым годом, он напоминал простоватого Михайлу Иваныча Топтыгина из добрых анимаций «Союзмультфильма»: говорил неторопливо и глуховатым голосом, не заботясь о дикции, держал голову немного набок, что вызывало к нему расположение, а к его словам доверие, а двигался он вообще очень мило – как-то даже недотеписто, слегка раскачиваясь и не в такт размахивая руками. Но при внимательном взгляде в нем же легко можно было разглядеть матерого медведюгу в просторной

клетке с грязной ванной и конурой на изгрызенном дощатом помосте. Умная зверюга, посаженная на скудный здоровый рацион по всем правилам зоотехники, забавляет замедленными кульбитами и мягкими лапами, просунутыми сквозь кованые граненные прутья, но лезть через ограждение с маковой булочкой в доверчивой ручонке – смертельно опасно: зацепит когтем и будешь пускать кровавые пузыри, суча ногами. Рук, конечно, Леонид Васильевич никому не откусывал, если буквально, в переносном же смысле... Ну, вздумала одна наша телекомпания покритиковать его за что-то, и через неделю-другую в Госкомитете по телевидению и радиовещанию выяснили, что ее лицензия оформлена неправильно. Компания надолго лишилась желания связываться с губернатором.

Светиться же на телеэкранах он считал недостойным для себя и интервью давал редко. Но однажды-таки позволил показать себя в местной телепередаче «Ба! Знакомые всё лица!» или что-то вроде того в том же развязном тоне. Ведущая бойкой передачи, гладкая молодая бабенка, крашеная блондинка с мелким плебейским рыльцем и поставленной дикцией, не нашла лучшего начала, как спросить его, добрый ли он человек. Леонид Васильевич не сразу даже нашелся и выразился в том духе, что на его должности трудно оставаться добрым. Бабенка помалкивала (какую еще плоскость она предвкушала?). Тут Леонид Васильевич улыбнулся очень какой-то китайской улыбкой и пояснил, что чиновник может быть добр лишь тогда, когда законы – справедливы, правитель – мудр, народ – просвещен и звезды – благоприятствуют. «Да-да, – приятно оживилась бабенка, всем телом работая на камеру. – Леонид Васильевич, раз зашла речь о звездах, телезрителям будет интересно узнать, кто вы по гороскопу».

### 3

Короче, как день было ясно, что смерть Олега Очирова, известного также как Чира, выгодна братьям Белым, эмигрантам, уголовникам и мелким международным воротилам. Теперь никто не мешал им прибрать к рукам самый лакомый кусмень в отечественной промышленности цветных металлов – контрольный пакет «СибУла». Этого было нельзя допустить по многим веским причинам. На сентябрь были назначены очередные выборы в Краевое Собрание

Народных Представителей, и их результат сильно зависел от алюминиевых миллионов. Но даже не в том было дело! Самое главное – Леонид Васильевич родился и вырос в Сибири и душой болел за этот суровый край и его людей. Он не мог допустить, чтобы они надрывали пупы для жирных заграничных пауков и кровососов, чтобы комбинат, который строил его отец и на котором отец так долго проработал, достался двум паразитам, не помнящим ни родства, ни Родины. Чтобы предотвратить передел «СибУла», следовало доказать, что братья Белые причастны к убийству Чиры. И тутгодились все средства, особенно которыми располагал генерал-майор Лаврентий Павлович Тихонравов.

Генерал сам понимал все прекрасно, и губернатору незачем было ходить вокруг да около.

– Что у вас по убийству, генерал? – спросив, Леонид Васильевич бросил взгляд на кожаную папку в руках генерала. Лаврентий Павлович гордился тренированной памятью военного и обычно докладывал без бумаг: цифры, имена и планы оперативных мероприятий в голове у него не путались. Сейчас он пришел с папкой и держал ее на коленях так, словно сам ее боялся.

– Докладываю: по этому вопросу у нас недостаточно информации, – помедлив, доложил Лаврентий Павлович.

Губернатор позволил себе осторожное сомнение:

– Это у вас-то недостаточно?

– Мы еще не те, что прежде, – заметил генерал.

– Проблема не в недостатке информации, – продолжил он. – Информация будет получена. Проблема в том, что уже известно. Взгляните.

Генерал раскрыл папку, достал и разложил по столу пачку фотографий.

– Кавказский кобель по кличке Трезор, – пояснил он первую. – Сорвался с цепи и убежал, а утром приполз домой изорванный в клочья и подох. Немка Диана. Хозяйка вывела ее утром погулять, спустила с поводка, а через минуту собака приползла к ее ногам с прокушенным черепом и тут же издохла; хозяйка ничего не видела, раззява. Ротвейлер Дик, издох при похожих обстоятельствах. Еще один ротвейлер, ему чуть не откусили голову. Этот славный песик с

распоротым брюхом – бультерьер Смоки; тоже дохлый, как видите. У меня еще десять таких же за последнюю неделю. Городские собаководы очень встревожены... Как ваша Люси – оценилась? Ни одна шотландская овчарка пока не пострадала, но я бы посоветовал быть осторожнее. Кто ее по утрам выгуливает? Своего Чарли я с поводка даже не спускаю, хотя он спаниель. Давно пора за них взяться, а то по улицам пройти нельзя: или цапнут, или в собачье дерьмо вляпаться, или обгавкают. А ты должен идти как ни в чем не бывало! Я все чаще мечтаю прогуляться как-нибудь вечером по городу с карабином...

Губернатор склонил голову к плечу, внимательно и терпеливо слушая. Генерал перешел на прежний официальный тон:

– Докладываю об убийстве Чирь. Убийство заказное, но некоторые обстоятельства дают основания рассчитывать на успех расследования.

И генерал по памяти сообщил губернатору:

– Вчера уголовному авторитету по кличке Миша Толстый, под которой известен Михаил Евгеньевич Толстой, пятьдесят пятого года рождения, трижды судимый по статьям за грабеж и распространение наркотиков и дважды оправданный, была забита стрелка на встречу с неким Обухом, Николаем Ивановичем Обуховым, шестьдесят шестого года рождения, многократно судимым за квартирные кражи. Встреча произошла в девятнадцать часов в кабинете ресторана и казино «Эльдорадо». Превратили город в бандитскую малину! Содержание разговора неизвестно, но сегодня между девятью ноль-ноль и девятью тридцатью в тридцати семи километрах от города по Гусиноозерскому тракту были обнаружены три автомобиля импортного производства. В иномарках были обнаружены тела девяти участников группировки Миши Толстого и он сам. Все десятеро были вооружены пистолетами «ТТ». Замечательный пистолет: медведя на задницу сажит! Сам наблюдал. У нас на заставе был прапорщик, так он на спор пошел с «ТТ» на медведя. С одного выстрела уложил. Но они даже достать их не успели. Миша Толстый считался другом и компаньоном Чирь.

Генерал разложил по столу еще одну пачку фотографий из зловещей папки:

– Леонид Васильевич. На телах убитых многочисленные следы укусов и рваные раны, точно такие же, как на собаках.

Губернатор долго перебирал и рассматривал фотографии изрезанных, распоротых когтями машин, людей и собак и задал необходимый и неизбежный вопрос, не предполагавший, впрочем, ясного и окончательного ответа:

– Кто мог это сделать?

– Собак мог задавить медведь. Или порвать кабан. Или дикий тигр. В Колумбии недавно нашли чупакабру – это такая злобная местная тварь, в холке – сантиметров семьдесят, когти, как у россомахи, клыки, как у тигра, корову на куски рвет! Но мы пока не в Колумбии. Мы проводим необходимые оперативные мероприятия, но, знаете...

Губернатор слушал.

– ... знаете, я старый охотник, из карабина я выбиваю девяносто восемь из ста, я взял двадцать пять медведей и сорок шесть кабанов, на Амуре я в одиночку добыл трех матерых тигров. Похоже, придется мне расчехлить свой верный «Зауэр» и самому побродить в тех местах.

Удивление на лице губернатора сменилось искренней озабоченностью.

– К нам приехал зверинец...

Генерал позволил себе легкую улыбку:

– На бандитов медведи и тигры не охотятся. Присоединиться – не приглашаю.

Губернатор ответил не раздумывая:

– Я не охотник. Меня и рыболовом-то назвать нельзя. Так, посидеть с удочкой...

– Я знаю, – тонко улыбнулся генерал.

Губернатор помолчал.

– Лаврентий Павлович, – вспомнил он, – американцы подарили мне «винчестер» с какой-то новой калиматорной, что ли, оптикой, очень дорогой, наверное, мне он вряд ли когда понадобится...

– Благодарю. Мой «Зауэр» меня не подводил. Как поливает за окном...

Сырость, принесенная на просторы средне-сибирской возвы-



шенности тяжелыми воздушными массами атлантического циклона, вся без остатка проливалась с низких небес тугими потоками очищающего ливня; астматики получили передышку в изнурительной борьбе с грязной атмосферой за глоток чистого воздуха.

– Когда у вас отпуск, Лаврентий Павлович, как обычно? – спросил губернатор.

– Как всегда: июль – август. Я давно не был у матери...

Детские годы Лаврентия Павловича прошли на берегу Оки в ста сорока километрах от Калуги. В голодном сорок девятом его всей родней снарядили в послевоенную Москву учиться в Суворовском училище, и с тех пор к матери он наезжал редко и всегда ненадолго, возвращаясь из отпуска; отпуска он проводил на Черноморском побережье Кавказа. С каждым приездом глаз ему все сильнее резали убогость и нищета деревенской жизни, и он все больше отдалялся от сверстников, дружков детства. Когда-то он бегал с ними на Оку купаться и выуживать из мутной воды голавлей, лазал по чужим огородам и у костра в ночном слушал, как мирно всхрапывают в темноте сильные, большие, теплые, умные животные – стреноженные кони. Теперь бывшие дружки изобретательно вымогали с него выпивку, демонстративно обращаясь к нему на «вы». В родной деревне он стал чужим. Покупая как-то в магазине дорогое кислое вино и шоколадные конфеты в коробке, он всей спиной почувствовал, как на него смотрят – как на залетного чужака, блажного иностранца, не знающего счету шальным деньгам. Когда он гостил у матери, родня сажала его на почетное место, и мать, всячески угождая невестке, зрелой, красивой, холеной городской женщине, утирала с темного морщинистого личика частые слезы счастья. В голодные военные годы и особенно сразу после войны, когда есть стало совсем нечего, она спала по четыре часа в сутки, чтобы наработать на четверых детей, обстирать их, накормить, обуь и одеть. Что сын женат на такой женщине, вернее всего говорило ей, что жизнь ее прошла не впустую. Парадный китель Лаврентий Павлович брал в отпуск только порадовать ее. По деревне он ходил в нем, как турецкий паша, посвечивая золотыми погонами.

Маленькую родную фигурку под длинными голыми ветвями старого вяза генерал-майор Лаврентий Павлович Тихонравов

вспоминал со стесненным сердцем. Мать долго махала рукой и быстро-быстро кланялась вслед машине, уплывавшей от нее по лужам густой жирной грязи, словно знала, что видит сына в последний раз.

– Что так тянет людей к морю? – задумчиво проговорил губернатор. – Умом я это, конечно, понимаю, но...

Что-то стронулось в их отношениях. Знакомы они были с тех пор, когда еще не занимали нынешних высоких должностей, но их беседа прежде всегда плавала в мутноватом растворе некоторой неловкости. Даже по делу они всегда разговаривали с какой-то натугой и принуждением. И вот в котел, в котором они оба давно вместе варились, словно сунули головню. Активированный уголь мигом вобрал в себя без остатка всю муть, все лишнее, что мешало им прямо смотреть друг другу в глаза, и они смогли без напряжения заговорить о таком обыденном человеческом предмете, как и где лучше проводить отпуск.

– Знаете, Леонид Васильевич, что меня больше всего поразило в Сибири? – признался генерал тоже как-то некстати. – Я много поездил по России, но только сибирячки не умеют кланяться и все как одна вкусно готовят. А в России – у них даже блины кислые получаются, скулы сводит. Одни постные супчики вкусно варят.

– Что ж вы хотите? Не было крепостного права и всегда хватало свежих продуктов!

Они молча посидели, думая каждый о чем-то своем, слушая дробь ливня за окном, вдыхая свежий запах городского дождя – мокрой листвы и мокрого камня.

– Я ведь знаю, где эти чупакабры живут, – сказал генерал. – У нас в городе есть один персонаж...

#### 4

– Этот Робинзон утверждает, что шесть лет просидел на берегу и хотел встретить ураган лицом к лицу. Вот его и смыло за борт. Но он выплыл – доплыл до острова, необитаемого. Лихой парень! Потом его сняли рыбаки, и он оказался в партизанском отряде. Потом бежал, спас заложников и оказался в Париже. Говорит, боялся, что в нашем посольстве ему не поверят и выдадут колумбийцам, и те его посадят. Видать, было чего бояться, Че Гевара хренов! Может быть... Но где его смыло, там нет островов. До Галапогоссов ему

пришлось бы проплыть шестьсот миль, а ближе островов там нет. Остается: или его дельфины спасли, или кит проглотил и выплюнул, или пришельцы утащили. Или ему повезло, и его подобрало какое-то судно... На этом судне он куда-то приплыл... Где-то полтора года находился... И почему-то оказался в Париже! Наша резидентура в Колумбии его легенду сейчас проверяет, но мы еще не те, что прежде... Нас продали с потрохами, а кто продавал – книги пишет и лекции читает, как державу разваливали! На флоте его, конечно, после этого не оставили. Жалко парня. Хороший был офицер. Побольше бы нам таких, мы бы им показали... Мы за ним, конечно, присматриваем, он догадывается. К нам он не пойдет – обижен, что ему не поверили, а к вам еще попробует. Кое-что случилось. Неделю назад в городе одна странная парочка объявилась. Одного вы знаете, это некий Илья Владимирович Семихаткин, да-да, из «эскимосской компании». Он на пару с одним местным неудачником решил наладить с Америкой воздушную связь. Они решили летать туда через Полюс на дирижаблях. Денег у них много, их дала малайзийская финансово-промышленная группа «Сипанг». Что-то их на наш Север потянуло, нам они не говорят, хитрые азиаты... От нашего алюминия тоже не прочь. Скоро вся Россия окажется в Малайзии. Двадцать первый век будет веком раскосых! Если мы хотим понимать внуков, нам пора учить китайский. Пока мы свою национальную идею ищем – лишь бы не работать! – они нас тихой сапой за Полярный круг выживут. Национальную идею им искать не нужно, она у них давно есть: они – жители Поднебесной, а мы – белолицые варвары и живем только потому, что они нам разрешают. Не приходилось видеть, как китаец на огороде работает? В шесть утра начинает и до часа не разгибается. Потом идет в фанзу, кладет под язык шарик опиума и с открытыми глазами спит до двух. В два выходит и до одиннадцати опять не разгибается. Потом идет домой, кладет шарик под язык и – на жену! Погодите, скоро они отменят «одна семья – один ребенок»... Я отвлекся. Второй – вообще какой-то проходимец. Это некий Николай Мирликиевич Скворешников. Ничего про него сказать пока нельзя, но три месяца назад в Колумбии высадились группа «гринписовцев». Они там против чего-то протестовали. И в этой группе находился человек тоже по

фамилии «Скворешникофф». Наш ли это фигурант, выясняется, но по описанию похоже. Он заявился в горбольницу и выдал себя за проверяющего из Минздрава. И общался больше всего с нашим Робинзоном. Я не сказал, как его зовут. Это Петр Андреевич Сабашников, бывший военный врач. Вы о нем тоже слышали: французы решили наградить его за спасение соотечественников.

– Слышал, я даже его отца, кажется, помню... У нас на комбинате он работал бригадиром ремонтников. У него еще прозвище было – «Мамочка». У него была забавная приговорка: «Ах ты, мамочка моя родная!» – и дальше матом! На партсобрания его даже не пускали. Матюжник был страшный, но как матерился, так и работал, потому и не уволили... Извините, я вас прервал...

– Я почти все сказал. Эти проходимцы даже ночевали у нашего героя на даче. Там еще много разного народа... Можно было бы с ним поработать, но он сам, кажется, не все еще знает. Сегодня узнаем: он встречается с новым французским консулом. Орден Почетного Легиона – это все понятно. Только почему так долго тянули? Это все было бы похоже на обычный шпионаж, если бы не эти трупы... Так что для начала я лучше сам к нему наведаюсь.

– Я не совсем понимаю... – сказал губернатор.

---

## ЛИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ С ОРУЖИЕМ

*Исповедь человека с чистыми руками, горячим сердцем  
и холодной головой.*

*В прозе.*

– Я кадровый военный, – начал генерал. – Мой отец погиб под Варшавой. В Суворовском меня учили фронтовики, они форсировали Днепр и брали Берлин. Мои учителя по Хабаровскому Высшему пограничному выкуривали из амурской тайги хунхузов. В академии Комитета Госбезопасности я слушал Абея. Я выучил немецкий, чтобы прочесть «Стратегию и тактику наступательную и оборонительную» Клаузевица. Военно-исторический музей я обойду с закрытыми глазами. Я готовил себя к Брусиловскому прорыву, Ледовому походу, штурму Перекопа, взятию Берлина. По боксу у

меня первый разряд, по стрельбе я кандидат в мастера. Под водой я проплываю пятьдесят метров; раньше проплывал сто. Я командовал заставой, я сутками сидел в секретах. За мою фуражку меня раз в месяц садили на гауптвахту. У пограничников была тогда мода – вытягивать из тульи проволоку, чтобы фуражка осела. Такие офицерские фуражки были в Первую мировую, а сейчас в нашей армии фуражки – как в Уганде! Я заметил: чем больше позора и беднее армия, тем выше тульи на офицерских фуражках и горделивее орлы на кокардах.

Я с юности готовился к личному действию с оружием, но вместо меня всегда погибал другой. В Корее нужны были летчики. Во Вьетнам брали якутов и бурят; вот тоже – «Бурятия», страна чабанов и министров! Даманский защищали без меня. Дворец Амина штурмовала «Альфа», а я работал с агентурой, с предателями. В Анголе и Эфиопии дела для меня не нашлось. Для Кавказа я оказался стар. Опасность всегда проходила мимо меня. Я даже не генерал по-настоящему. Да-да, по штатному расписанию председатель Краевого Управления – это полковничья должность. Генерала я получил ради субординации. Когда к нам в город перевели Ставку Сибирского военного округа, войсковым генералам пришлось бы докладываться полковнику! И мне дали генерала.

Я выслеживал тигров. Я пил горячую оленью кровь. Я убивал медведей. Приклад моего «Зауэра» весь в зарубках. Но я убивал беззащитных, и только для того, чтобы что-то себе доказать.

В Хабаровске была у меня девушка. У нас с ней не сложилось, я женился, она замуж вышла и уехала, как всегда бывает... Она мне до сих пор снится, она одна только и снится. Я ее одну и любил, наверное. Вчера она была среди каких-то белых штор, ветра нет, а они развеваются, как на ветру... А за ними – высокие деревья, одни толстые стволы вижу, светлые такие... Это мне смерть приснилась, вот что. Я не могу отправить туда молодых ребят, чтобы опять погибли другие. Эти звери меня убьют. Это будет мне месть от всех зверей.

---

Странно было губернатору увидеть на холемом холодном волевом лице генерала такую стоическую гримасу.

Ночь со вторника на среду генерал провел в верховьях Сотниковской пади. Ему нужно было как следует пропахнуть дымом и вообще иметь усталый вид человека, на самом деле ночевавшего у костра. Завтра ему обязательно нужно было добыть козу. С убитой козой он зашел бы на любой дачный участок и попросил спрятать незаконную добычу, пока он не вернется на машине. Глядя в огонь и думая о завтрашнем, генерал припомнил разговор с хозяином «Жигулей», год назад, в последний приезд его к матери, сырым пасмурным днем отвозившим его в аэропорт в Калугу.

– Генерал, значит? – уточнил для начала ладный ухватистый мужичок с острым носиком и быстрыми глазками. В деревне он был недавно, держал киоск, мотался за товаром в город и брал пассажиров.

– Генерал-майор.

Мужичок покрутил головой с поддельным издевательским уважением:

– М-м!.. И награды имеешь: ордена там, медали?

– Имею.

– Много? Наград...

– Мне хватает.

– И кого же ты за них победил? – невинно поинтересовался лукавый мужичок.

Втолковывать ему, в чем состоит его служба, или рассказывать, за что ему дали Красную Звезду, Лаврентий Павлович не мог, а отшучиваться счел ниже своего достоинства.

Красную Звезду ему дали вот за что. Когда он шел по пыльному, ледяному февральскому Кабулу на встречу с агентом – городским пуштуном из рода Хекматиара, его словно саданули изо всех сил молотком по ноге. Стреляли из «энфильда» времен третьей англо-афганской опиумной войны. К счастью, большая тупоконечная пуля не порвала ему бедренную артерию, а то он истек бы кровью под глухим глиняным дувалом чужой столицы. Может быть, стреляли даже и не в него, и пуля клюнула его на излете, почему он так легко и отделался.

На рассвете он поднялся, раздул костерок, вскипятит в солдат-

ской манерке чай, наскоро позавтракал, перевалил в Уточкину падь и стал спускаться по редколесью ее южного склона. На его крутом каменистом гребне росли редкие невысокие сосны и пониже – прозрачные рощицы стройных осин и чахлых березок. На камнях березкам не хватало влаги, зато в самом низу, в сырости, по топким берегам Уточкиной речки, страшные костлявые березы в пол-обхвата у комля задушили всю остальную растительность, кроме древних хвощей и папоротников, возникших чуть позже и покрытых ядовитой слизью силлурийских трилобитов. Подальше от речки, выше по склону, старый березняк дерево за деревом превращался в смешанный лес, по самому краю которого и шел генерал; если бы он шел ниже, сам бы он ничего не видел, зато был бы слышен любой козе, а так он и сам был почти невидим, и мог просматривать каменистые откосы и проплешины. Время от времени он замирал и прислушивался к таежной тишине. Карабин он держал наизготовку. Когда, скользя по старому зернистому снегу, залежавшемуся в тени, он выбрался из глубокой поперечной ложбины, в пяти шагах от себя он почувствовал частое сильное дыхание большого животного. Склонив тяжелую голову набок, его внимательно рассматривала огромная черно-пегая собака с маленькими медвежьими ушками, карауля каждое его движение.

---

## 6

---

Палец генерала лег на курок, и собачьи когти взрыли хвою. Словно в замедленной съемке генерал смотрел, как белоснежный клык прокусывает вороненый казенник карабина; карабин генерал, защищаясь, успел сунуть псу в пасть. Потом зверь переметнулся ему за спину, подскочил, как на пружинах, и перекусил человеку шею.

Мертвое тело Лаврентия Павловича, болтая головой, как кукла, сползло по снегу на дно ложбинки. Ночью подул ветер. Это Господь сложил губы трубочкой и тихонько дунул сверху на Землю, освещенную призрачным лунным светом. Вверх по ложбинке завихрился и прошел маленький упругий смерч и припорошил тело снегом и хвоей.

Последнее время Творцу очень нравилось наблюдать, как его тихие дуновения тревожат ночную поверхность Земли, покачивают заснеженные кроны деревьев в сибирской тайге, сдувают невесомые

мые струйки песка с острых гребней песчаных барханов в безмолвной пустыне Такла-Макан, срывают пенные брызги с бесконечных размеренных гребней Мирового Океана, посвистывают по ущельям Большого Кавказского Хребта, мягкими волнами расходятся по бескрайним полям кукурузы в американском штате Орегон, заставляют трепетать нежные лепестки горного мака на альпийских лугах Гиндукуша.

## II. АТЛАНТИЧЕСКАЯ КОЛЕСНИЦА

### 1

Тяжелая сырость атлантического циклона вся без остатка проливалась с низких небес тугими потоками очищающего ливня. К полудню вторника ливень закончился, полегчавшие облака воспарили вверх, холодные высотные вихри смяли из них светлые бугристые громады «кучевой облачности хорошей погоды», как ее называют синоптики и которая чаще украшает небеса ближе к осени, и сильно рассветившееся светило вновь заняло свое законное место в высоком голубом зените.

– Ветер, ветер, ты могуч, – произнес Петр, озирая сияющий, величественный небосвод, и потянул на себя тяжелую дверь французского консульства. Консульство располагалось на первом этаже особняка в центре города в неприметном переулке налево от Бороды, если смотреть от моста; если же смотреть с Лысой Горы – то направо.

Консул встретил Петра в косоворотке, расшитой красными пестухами, оленями и мелкими свастиками, если присмотреться.

– Франция – не очень богатая страна, – открыто улыбаясь прекрасными белыми зубами, проговорил консул, – но она умеет быть благодарной своим героям.

– В Париж могли бы пригласить, – заметил Петр, удобно устраиваясь в кресле.

– Да, Париж – это Париж... – после некоторой паузы мечтательно проговорил консул. – Когда я долго не бываю в Париже и возвращаюсь, меня очень волнуют гастрономические запахи ночных парижских улиц: тут – барбекю, там – арабские лепешки, жареные



колбаски, китайские буузы...

– Вот, о колбасках... Одна моя знакомая...

– Да-да?

– Она вышла замуж на первом курсе. Подруги-девушечники спросили ее, конечно, сразу: «Ну, как это, как?» Знаете, что она ответила? «О, это Париж в облаках!» Где вы взяли такую рубашку? Вы похожи в ней на ученого перса.

– Вот как? (Чтобы рассмотреть вышивку у себя на вороте, консулу пришлось изогнуть шею на манер идущей боком пристыженной.) Мне ее только что подарили. Я открывал выставку ваших народных ремесел. Ее повезут во Францию: наши страны всегда тяготели друг к другу. На перса, говорите? Это неудивительно: русские – потомки индоариев, как и французы.

– Гитлер бы с вами не согласился.

– В Европе не принято о нем упоминать, – холодно произнес консул. – Германия преодолела свое нацистское прошлое и вновь вошла в семью демократических народов. У вас говорят: «Кто прошлое помянет – тому глаз вон».

– Ну конечно. Сначала вы отдали ему Судеты и Польшу, а когда он обошел линию Мажино... Почему вы не взорвали Триумфальную арку?

– Вы забыли генерала де Голля и авиаполк «Нормандия – Неман»! – возмущенно воскликнул оскорбленный француз, допуская, что неприятный собеседник ничего не слышал о французском Resistance; правда, консул-то мог, мог сравнить свои маки в цветущих виноградниках с нашими партизанами в заснеженных брянских лесах. Он-то точно смотрел нашу кинохронику с бабами, причитающими над мертвыми заледеневшими сыночками.

Петр жестко усмехнулся.

Консул видимо находился в затруднении.

– Ваш друг уже сообщил вам, что награждение решено провести в субботу, двадцать второго мая? – вновь заговорил он. – Будет прием и небольшой ужин. Прием пройдет в консульстве, а ужин заказан в ресторане «Сибирь», мне сказали, там очень хорошая кухня. Мы, французы, любим вкусно поесть, как и все другие народы, впрочем. Было бы очень хорошо, если бы вы пришли в смокинге. Орден По-

четного Легиона – это очень высокая награда.

– У меня нет смокинга. Я приду в джинсах. Или в шортах.

Консул устремил на Петра пристальный взгляд матерого кота или старого профессора. Петр равнодушно отвернулся к окну.

По морщинистому стволу старого вяза за окном прыгал поползень, крепенькая темно-серая птичка с жестким хвостиком и цепкими коготками. Переворачиваясь, как стрелка манометра на паровом котле, пошедшем в разнос, птичка интенсивно проживала свою короткую бессмысленную птичью жизнь.

– Вы напомнили мне Достоевского, – с облегчением заметил консул, откидываясь на спинку кресла. – Действие всех его романов происходит в атмосфере вселенского скандала.

– Не читал.

Консул улыбнулся:

– А вы и так русский. Русские скандалят не из любви к безобразию, но из отвращения к обыденности и утверждая высшую истину. Какой истины ищите вы, Петр Андреевич? Не желаете, кстати, пообедать со мной? Я хочу угостить вас настоящей пахлавой. Я долго проработал в Турции. Восточная кухня идет сразу за китайской и французской, как мне кажется. Такой изощренности в ней нет, зато сладости и мясо на Востоке готовят в самом чистом, так сказать, виде. Мясо там всегда мясо, плоть убитого животного, а рахат-лукум – всегда какая-то прямо-таки первозданная сладость. Может быть, потому, что восточная цивилизация застыла раньше, чем китайская или европейская, и древние блюда сохранились там в неизменности.

– А русская еда?

– Русскую кухню – вы, конечно, не будете на меня в претензии! – русскую кухню я никак не могу понять. Какая-то она неопределенная, без одного яркого вкуса, совсем как ваши леса и равнины. Каша, блины, сметана, кисель – то ли это совсем уж студенистая первобытность, то ли уж и не знаю!.. Может, это уже будущее? Сало меня особенно убило. Когда я первый раз его увидел, то подумал, что меня разыгрывают – поесть соленый жир такими кусками?!

– Вы отвезете меня потом в аэропорт, – решил Петр.

Консул с тревогой посмотрел на его сумку, и Петр заверил, что к

следующей субботе вернется. Консул что-то припомнил и сообразил про себя. Во взгляде его, обращенном на Петра, просквозила сложная смесь уверенности, облегчения и сожаления.

## 2

---

Консул повел его к «Ермаку», речному буксиру, переделанному под плавучий ресторанчик. Последним его капитаном ходил легендарный пузан, семипудовый Савельич, проходивший нашу реку от истоков до устья с завязанными глазами. Трудягу выпотрошили, сдав в утиль его промазученные железные кишочки, набили его внутренности лакированным деревом, хрусталем, фарфором, столовым серебром и причалили обездвиженную лоханку в самом красивом месте городской набережной – в виду нашего главного моста. Через реку мост перешагнул в семь гигантских каменных шагов, и особенно прекрасен бывает пасмурным, сырым, теплым утром поздней осени, когда стройные пропорции недвижимого гранита словно опрокинуты в медленное движение стылых свинцовых вод, вспарываемых могучими быками. Если долго смотреть на отражение быков и арок, почудится град Китеж на какой-то римский манер, будто римские легионы, перевалив через Уральский хребет, зашли так далеко в холодную Гиперборею, что и обратный путь забыли, и саму свою солнечную родину.

В кастрированном буксире оставили без изменений лишь палубные надстройки, гребные колеса, высокую дымовую трубу, колокол для склянок и внутреннее убранство судового гальюна, чтобы, сидя орлом над железным корытцем, поднабравшиеся посетители могли ощутить себя просоленными морскими волками. Айзеры, заправлявшие в «Ермаке», проплатили большие взятки, чтобы замазать санэпидстанции глаза на струйки мочи и фекальные колбаски, уносимые течением из-под крутого борта к городскому пляжу; из-за этих колбасок Петру так и не удалось угостить брезгливую Маргариту вкусными азербайджанскими шашлыками. Но горожане против айзеров ничего не имели. Крепкая азербайджанская община, существовавшая в нашем городе добрые сто лет, поддерживала внутри себя жесткий порядок, мудро не допуская преступлений против аборигенного населения. Горожане, покупая на рынке фрукты и цветы, могли лишь подозревать о существовании азербайджанской мафии.

О безжалостной корейской мафии горожане даже не слыхивали.

– А кстати, о Достоевском... – припомнил по пути консул. – Знаете, в чем настоящая причина его популярности на Западе? Он создал самую потрясающую в мировой литературе портретную галерею нравственных калек, уродов, негодяев и мерзавцев, возьмите хотя бы эту квадригу отвратительных красавцев: Ганечка, Свидригайлов, Раскольников и Ставрогин.

Петр по-прежнему молчал, и консул поспешил досказать:

– Читая Достоевского, потрясенный иностранец с удовольствием думает: «Так вот вы какие на самом деле, русские!»

### 3

---

Где гудело и билось в раскаленных топках адское пламя, где сучили вверх-вниз маслянистые штоки могучей паровой машины, проворачивая чудовищные гребные колеса, там устроили отдельный зал на пять столиков. Время было обеденное, но зал почему-то пустовал. Лишь за столиком, самым дальним от винтовой лестницы, сидели двое: мужчина и женщина.

– Нас ждут, – показал рукой консул.

Сердце Петра бешено заколотилось. Консул улыбнулся со скрытым торжеством.

Сидевших Петр рассмотрел, подойдя к столику вплотную. Мужчина сидел ко входу лицом, женщина – спиной, но ей и не нужно было смотреть на входящих.

Она ходила по воде и видела в темноте, как кошка, царица! Это о ней грезил и томился царь царей Соломон, восклицая: «Прекрасна ты, возлюбленная моя! Округление бедр твоих, как ожерелье; живот твой – чаша со сладким вином; чрево твоё – ворох пшеницы, украшенный лилиями; два сосца твои – как два козленка, двойни серны; шея твоё – из слоновой кости; глаза твои – два глубокие озера; стан твой – как стройная пальма; груди твои, как виноградные гроздья; ланиты твои шелковисты, как шкурка ягненка. Прекрасна ты, возлюбленная моя, мила, как вечерняя заря, и грозна, как полки со знаменами!» – и шумящее безумие трагической актрисы мерно плескалось в глубине ее широко расставленных нестерпимо голубых глаз.

– Здравствуй, Сероглазый! – пропела айсурица голосом небожи-

тельницы, сошедшей на землю.

– Здравствуй, Небесная, – отвечал Петр, склоняясь к ней. – Здравствуй, Небесная.

Тьерри привстал со стула, протягивая Петру вялую ладошку:

– Zdrjavstvuj, Pjotr!

– Молчи, обезьяна.

Мелодичный смех айсурицы проплыл под низкими сводами похабного ресторанчика подобно утреннему бризу над солнечным берегом.

– Почему у них глаза, как старое говно, Сероглазый?

– У кого, Небесная?

– У всех.

– Из говна слеплены, Небесная.

---

#### 4

---

Айсурица вновь засмеялась.

– Почему ты от меня убежал, Сероглазый?

– Испугался тебя, Небесная.

Консул решил вступить в разговор:

– Присаживайтесь, Петр Андреевич, в ногах правды нет.

– Посиди с ними, Сероглазый, – попросила айсурица.

– Как скажешь, Небесная.

Тьерри пришлось пересесть.

– Я вас слушаю, – сказал Петр консулу, с неприятным чувством садясь на стул, нагретый чужим мягким филеом. – Что вы мне хотели сказать?

Консул протянул руку к столику с аперитивами.

– Молодой коньяк? Виски? Мартини? Водочка? Что вы предпочитаете перед обедом?

Петр холодно улыбнулся:

– О делах лучше на трезвую голову.

– О, никаких дел! – воскликнул консул. – Я пригласил вас пообедать.

Руку он, впрочем, взял обратно.

– Куда вы торопитесь? – поинтересовался Петр.

Консул слегка развел руками:

– Вы правы. Но тороплюсь не я, а ваша прекрасная подруга, если

мне позволено будет так ее называть.

– Да, Сероглазый, – пропела айсурица. – Я хочу, чтобы тебя поскорее наградили.

– Это была шутка, Небесная, – сказал Петр. – Ты моя награда, тебя я могу ждать вечность.

Он действительно брякнул как-то, измученный, измазюканный вонючей липкой грязью, что пускай дают ему теперь орден Почетного Легиона. Если бы он спасал американцев, то вспомнил бы, конечно, Серебряную Звезду Конгресса, а если англичан – орден Подвязки и рыцарское достоинство.

– Как хорошо! – засмеялась айсурица и обратилась к консулу:

– Не нужно ему ордена. Оставь его себе, если хочешь, француз.

Она так и не смогла понять наших наград, как мы ни бились.

Консул не мог скрыть отчаяния:

– Но вы не можете отказаться! Это будет пощечина Франции. И потом, не все ведь так просто...

Петр вопросительно посмотрел на консула. Он-то ни о чем не договаривался.

– Мне очень не хотелось бы, Петр Андреевич, чтобы вы сочли, что происходит какой-то недостойный торг, – заговорил консул.

Петр кивнул.

– Вы представитель великого народа с трагической и славной историей. Вы дважды спасали Европу...

– Первый раз – от Наполеона?

В лице консула что-то сильно передернулось:

– Я имел в виду монгольские орды.

Петр слегка поморщился:

– Мы тут ни при чем: монголов разбили чехи в битве при Оломоуце, если уж о монголах. Мы с монголами не воевали. Мы тогда воевали с крестоносцами из Тевтонского ордена.

– Было Куликово поле... – напомнил консул, промокая салфеткой нос.

– Монголы тут тоже в стороне стояли. На Куликовом поле мы бились с крымскими татарами во главе с мятежником Мамаем, которому шли помогать литовцы, а деньги давали генуэзские евреи. С крымскими татарами и турками нам долго еще пришлось воевать.

Турки называли болгар и сербов «райя», что означает «стадо», и резали их, как скот, но когда мы вступились за наших братьев, вы начали Крымскую войну. Тогда мы бились с вами на Малаховом кургане, а в сорок первом снова бились с вами на Мамаевом.

Консул был искренне возмущен:

– В сорок первом вы воевали с фашистской Германией!

Петр плотоядно улыбнулся:

– А что, Гитлер – азиат, что ли? Монгол?

– Вы чем-то сильно уязвлены, – заметил консул, осторожно поглядывая на Петра.

– Очень просто хотите меня ..., вот чем, – тихим голосом сказал Петр. – Если уж вы все так любите русские пословицы, могу сказать вам одну, специальную для такого случая.

– Сделайте одолжение.

– На хитрую жопу есть ... винтом. Извините.

Петр вновь был холоден и бесстрастен, как айсберг.

---

## 5

– Вы, может быть, и правы, – признал консул, – но у нас не так много времени, а в ваших руках сейчас будущее мира.

– Будущее мира не там, – почти пропела айсурица, пуская фужером хрустальных солнечных зайчиков; так играть и забавляться она могла бесконечно долго, бесподобная.

И Петра посетило видение.

---

## МЛАДЕНЕЦ

### *Первое видение Петра*

Он стоял на склоне пологого холма. Перед ним простиралась обширная холмистая местность с редкими купами невысоких деревьев; белой меловой дорогой без набитой колеи, словно по ней редко ездили на повозках; широким каменным мостиком через ручей, разлившийся по дну глубокой лощины; приземистыми и покатыми жилыми строениями вдалеке, укрытыми в складках местности от непогоды; широкой рекой с топкими берегами; и невообразимым городом, угадываемым по теснящимся на горизонте крышам и шпи-

лям. На видимую сторону горизонта город переползал лишь тремя башнями в форме огромных, гигантских перевернутых вафельных стаканчиков от мороженого, с микроскопическими издали стрелчатыми окнами, колоннадами и арками.

Видимое было равномерно залито золотисто-коричневым теплым светом, какой бывает летним днем при начале затмения. С небольшого возвышения, на котором стоял, видеть Петр мог не очень далеко, и сама Земля словно бы немного уменьшилась в диаметре, словно бы хотела стать обозримой и вся доступной его взгляду. Над близким горизонтом коричневая дымка заметно для глаза переходила в неяркое сизоватое небо, тусклый кругляш солнца не сиял и не слепил, а словно был просто нашлепнут на положенное ему по астрономии место; вечер был или утро, понять было нельзя.

Шагах в двадцати ниже по склону, по левую руку, росло дерево в полтора человеческих роста со светлой гладкой корой и будто составленное из длинных брюкв, очень похожее на какой-то мексиканский кактус без шипов и колючек; листья, торчавшие из верхушечных брюкв, тоже были какие-то африканские – длинные, толстые, густые и жесткие. А еще дальше вниз по склону рядами уходили к небольшому озеру со спокойной стальной водой крепкие и коренастые настоящие деревья с шарообразными кронами, равномерно усеянными крупными красными яблоками, скорее всего. По озеру плавали туда-сюда, ныряя, дикие утки, а на берег споро выбралась из воды ящерица размером с варана с острова Комодо или даже небольшого аллигатора с толстым хвостом в прозрачной воде, четырьмя лапами и тремя головками на длинных змеиных шеях в разные стороны. Покачивая шеями, извиваясь всем телом и недовольно шипя, ящерица несколько раз перекинула туда-сюда лапы, взрывая песок, и скрылась в камышах.

Прямо перед Петром стоял дом в полтора этажа, крытый плотной соломой, без окон, но с двумя зияющими чернотой проемами, но опять же почему-то без дверей или ворот, а перед домом на утоптанной земле лежал и сучил пухлыми ножками и ручками розовый грудной младенец, не крупнее обычного.

Больше ни одной живой души вокруг не было, но Петр явственно и сильно чувствовал, что они тут не одни с младенцем, но что



все полно затаенной до времени напряженной жизнью, нужна лишь песчинка, брошенная в кювету с перенасыщенным раствором; камешек, скатившийся по каменистому склону; чих альпиниста под нависающей лавиной, и тогда все придет в неостановимое движение. По меловой дороге поскачут в бой всадники, развевая алыми плащами, размахивая блестящими мечами; из приземистого строения вдалеке выйдут две еле различимые фигурки с ведрами; в хлеву задышат и начнут шумно вздыхать домашние животные; на соломенную крышу полезут поглазеть на младенца какие-то хари в серых хламидах, а из дверей осторожно выступит, держась за стойку, высокий длинноротый человек в пурпурной мантии на белом холемом теле, с золотыми браслетами на руках и ногах, а за его спиной затеснятся, выглядывая, удивительные рожи с вытаращенными от усердного внимания глазами; грянут трубы и из ворот далекого города выйдут сверкающие позолоченными бивнями боевые слоны.

«Какой странный свет», – произнес за спиной у Петра консул.

«Странный. Так что вы говорили о будущем?» – повернулся к нему Петр.

Бесполоый официант, застывший, где его захватило видение, услышал голос живого человека, сделал торопливый вихляющий шаг, наткнулся на невидимый столик, в ужасе отшатнулся, запутался в собственных ногах и грохнулся на спину в полный рост. Никелированный поднос полетел и задребезжал, сбрасывая тарелки.

### *Конец первого видения Петра*

---

Консул сделал над собой усилие и сосредоточился на Петре:

– Ах, да, о будущем... Никак не могу к этому привыкнуть... Это было будущее? Мне показалось, это прошлое.

– Это вам из-за слонов так показалось.

– Вы тоже подумали о слонах?

– Это вы тоже о них подумали: это были мои слоны. Но давайте-ка ближе к делу.

– Так вот, Петр Андреевич, – произнес консул, собравшись с мыслями. – От вас зависит, в чьи руки попадет самое совершенное оружие, какое существует на Земле.

Петр весело рассмеялся. Консул перевел вопросительный взгляд на айсурицу.

## 6

– Не смейся, Сероглазый, – сказала айсурица, поставив наскучивший ей фужер. Она прикрыла глаза, притушив их голубое сияние, и пропела, покачиваясь:

– Это колесница отца отца отца отца отца отца отца отца отца моего отца. Она быстра, как ветер, и бесшумна, как птица. Она порхает, как бабочка, и неуследима, как мысль. Ее пламень жжет врагов, как тысяча молний, друзьям он светит, как солнце. Снаружи она серого цвета, как возмездие, а внутри расписана голубой лазурью – это цвет неба, в котором она летает, и синим – это цвет моря, из которого мы вышли.

– Кто был самый первый из отцов твоего отца, Небесная? – почтительно сказал Петр. – Прости меня, если я этого не знаю.

Айсурица милостиво улыбнулась:

– Ты многого не знаешь. Первый из отцов моего отца был царским виночерпием. Он научил вас делать вино из винограда. Ты очень на него похож. Когда я увидела тебя, я подумала, что он вернулся.

– Да, Петр Андреевич, – заговорил консул, – речь идет о последней летающей колеснице атлантов. Ваша прекрасная подруга – можно мне ее так называть? – знает ее секрет. Есть основания считать (консул доверительно понизил голос), что на самом деле атланты сумели сохранить не одну колесницу. Возможно, мы их даже можем видеть. Весьма вероятно, что это так называемые Unknown Flying Objects. Они летают в беспилотном, говоря современным языком, режиме. Настало время людям овладеть ими.

– Да, Сероглазый, время пришло, – прозвенел голос айсурицы. – Я спустилась к морю и переплыла океан. Теперь ты скажешь, кому открыть тайну. Я видела: они хотят меня обмануть. Я верю только тебе, Сероглазый: ты похож на моего отца, главного виночерпия срединного континента Му.

Долго молчавший Тъери быстро пролопотал что-то. Консул перевел:

– Ваш друг утверждает, что буддийская молитва «Ом мани падмэ хум» есть испорченная анаграмма подлинного названия Атлантиды.

– Прости меня, царица, – сказал Петр. – Но как ты узнала, что время пришло?

Айсурица нежно засмеялась:

– Ты мне не веришь, Сероглазый!

Петр был непреклонен:

– Верю, Небесная, но ты все равно скажи.

– Вы научились летать. Но как плохо вы это делаете! Вы ползаете по небу, как железные червяки. Кому открыть тайну?

«Вот ни ... себе!» – подумал Петр, по-другому тут не подумаешь.

– Ну, хоть им открой, – сказал он. – Нам такую тайну открывать нельзя: мы тоже как американцы, сразу мир начнем исправлять.

Очень странным взглядом посмотрел на него консул. Но ничего не сказал конечно.

К воронам над шатрами Спасской башни Петр в этот день не полетел. «Покажи мне, где ты живешь, Сероглазый», – попросила айсурица, и он повел ее гулять по предвечернему городу. Ее, похотливую и божественную, трудно иногда бывает точно понять, что она конкретно имеет в виду.

### **III. ЛЮБИМЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕТРА**

#### **1**

«Ермак» тихонько хлюпал и резал форштевнем набегающую волну.

Каменный мост гудел и трудился. Едущие с низменного левого на возвышенный правый берег могли вообразить себя усталыми путешественниками, въезжающими в незнакомый красивый город. Глядя с середины моста, город радостно взбегал по холмам и террасам, подставляя стены домов золотым лучам вечернего солнца.

Слева от моста на правом берегу неугасимой купиной горели маковки Одигитриевской Божьей Матери. Машины, взлетавшие на мост с правого берега, оставляли горящие маковки за спиной и исчезали в ослепительном сиянии пошедшего на запад солнца. Покидая город, наши дальнбойщики нет-нет, да и припомнят пропавшую фуру Sovtransavto. Хлопая тентами и пуская из-под себя струи густого черного дыма, тяжелый грузовик въехал на мост, газанул, и больше его никто не видел.

По набережной гуляли молодые люди, изредка спускаясь к воде; белые девушки громко смеялись. В машинах с затемненными стеклами бухали боевые сабвуферы. Над проволоками хоккейной корбки взлетал звонкий футбольный мяч. Дебильноватые младенцы в колясках посапывали сладкими носиками. Томные, сонные молодые мамы истекали на младенцев теплым молоком. Айсурица медленно и сладострастно отдалась ему на скамейке в густых зарослях цветущего даурского шиповника, под блаженное зудение мохнатых пчел, отяжелевших от обильного весеннего взятка. Если бы кто к ним сунулся, Петр избил бы того в кровь. Идея защитительного мордобоя так плотно вплетена в сокровенную ткань межполовых отношений, что редкая девица не любит, с трепетом и замиранием, мохлястыми кулаками быковатого возлюбленного. Потом, когда дождик, как говаривали древние китайцы, пролился, а тучки рассеялись, они, утомленные и счастливые, вышли из цветущих зарослей на асфальт.

– Пойдем, я покажу тебе мои любимые деревья, – предложил Петр, подавая айсурице руку кренделем.

Горячая узкая ладонь проскользнула по его тугому бицепсу и уютно улеглась на предплечье, нежно обхватив *musculus pronator*.

## 2

Первые саженцы шиповника даурского (*Rosalindae vulgaris dauricae*) высажены были в нашем городе больше чем полтора века назад. Тогдашний городской голова к визиту иркутского губернатора Сибири Муравьева-Амурского заказал крутым нерчинским купцам луковицы или семена цветов, каких нигде, кроме как на Аргуни, Шилке и Амуре, не бывает. Предполагалось тронуть сердце грозного губернатора ненавязчивым намеком на его славные деяния, запечатленные для гордых потомков в звучном довеске к его простоватой прирожденной фамилии (по обыкновению еще славного восемнадцатого века). Нерчинские купцы прислали вязанку невзрачных прутиков (пошутили? не так поняли? но в любом случае – посмеялись), но не отступать же было, и сомнительные прутики, каких и у нас навалом, если не вдаваться в ботанические тонкости, понавтыкали в землю перед городской управой в последней надежде на какие-то небывалые цветы, которыми саженцы все

же расцветут. В положенный срок саженцы расцвели голубоватыми цветочками, действительно, побольше, чем у местного шиповника, да губернатор, не бывавший дальше Байкала, их не признал, хотя и был тронут. Вся остальная растительность, если не считать культурных садово-огородных кустарников, появилась на наших широтах самостоятельно; да еще, впрочем, в конце пятидесятых привезли и высадили на центральной площади Советов голубые ели с Алтая. Их благородные седины и статность пришлись очень по вкусу тогдашней беспородной власти.

Из деревьев у нас в городе не растут только дубы, ясени, секвойи и мэллорны; в самых сырых и затемненных местах можно даже сибирский кедр найти (названный так в честь настоящего кедра – ливанского, от которого произошел «леванидов крест» под бородищей Ильи Муромца; впрочем, какой из кедров настоящий – это еще вопрос для сибиряка).

Говоря вообще, хвойные появились в конце пермской эпохи, их стволы помнят предсмертные биения вымиравших стегоцефалов, но на этих древних, сильных и совсем не выразительных деревьях Петр не останавливал взгляда. В конце-то концов, даже кедр, краса и гордость сибирской тайги, – это, если присмотреться, всего лишь прямой ствол, длинный насос, качающий воду к шишкам на концах кривых плетей, заменяющих кедров ветви.

Среди высших лиственничных тоже много сильных и, в принципе, красивых деревьев: серебристый тополь ранней весной, пока его сучья не покрылись толстыми липкими листьями, белая береза, всю склоняемая народными поэтами, трехпалый клен, налипший на флаг одной спокойной северной страны, – но сердце Петра раз и навсегда тронули выразительные, неброские ильмы, не лезущие в глаза с каждой есенинской страницы. (Вообще-то так у нас не совсем правильно называют вяз узколиственный – *Ulmis campestris*. К роду ильмов относятся еще много деревьев из семейства крапивных, тот же вяз горный – *U. montana*, или берест – *U. pedunculata*, или кривой карагач – *U. tuberosa*, приносимый суховеями из полупустынь вороватой Средней Азии – как это поэт предостерегал, куда там не следует прятать деньги: «... но не в сапоги – найдут. В Азии сапоги – первое, что крадут». Ну да бог с ними, вороватыми

азиатами.) Так вот, ильм – дерево неброское, выразительное, уединенное и, как всякое, впрочем, дерево, истинно прекрасным может быть лишь на фоне чистого неба, тихой водной глади или каменной стены по возможности без окон.

Некоторые наши старинные монастыри, в особенности же их покатые крепостные стены над холодными северными водами, безучастно отражающими бесцветные бегущие облака, пролетевшую чайку, верхушки корабельных сосен, еще способны задержать рассеянный глаз туриста запечатленной в камне отрешенной гармонией линий, плоскостей и пропорций, но монастыри – уже в прошлом. Ныне-то увидеть у нас целостную, завершенную, красивую, иррациональную стену, стену саму по себе, не извращенную человеческими причинами и целями, не торец жилого дома, за которым угадываются все те же кухонные столы с полками и коридоры с пыльными половиками, увидеть такую совершенную, словом, стену можно лишь в памятниках промышленной архитектуры с невообразимой извне внутренней планировкой, подчиненной умонепостигаемому технологическому процессу, или в убудочных пристроях на задворках административных зданий разного пошиба. К своим любимым ильмам Петр повел айсурицу переулками, свернув с набережной сразу за «Олимпийским».

От спорткомплекса остался один обгоревший бетонный остов в виде гигантской перевернутой миски. В грязной воде бассейна плавали черные обугленные доски, мусор и тушки сгоревших в огне крыс, главным образом серого пасюка, обычного обитателя наших чердаков и подвалов. Мы не пожарники – копаться в сгоревшей проводке. И так ясно: полы спортзалов, пропитанные корабельным лаком, занялись так сильно и быстро, что даже умные пасюки не спаслись. Ничего символического, словом, в их гибели усматривать не нужно. Равно как и сверхъестественных причин пожара. Замкнуло где-нибудь, да и пошло полыхать.

---

### 3

---

Маршрут их прогулки совпал с изотопической линией выхода к поверхности докембрийских гранитов, я тщательно сверялся с геологической картой. В ее разломах и изломах я долго высматривал какую-нибудь изначальную предопределенность, пока не додумал-

ся до простейшего: граниты подпирают снизу водоносный слой, а узколиственный вяз – дерево влаголюбивое, не то что карагач, способный сосать сухой песок.

Докембрийские граниты залегают в основании Гондваны, их возраст четыре миллиарда лет. Совсем на поверхность они выходят лишь на каменистом плато Путорана на северо-западе Якутии. Камешек, подобранный там, запросто может оказаться ровесником земного шара.

---

#### 4

---

От «Олимпийского» они дошли до старой железнодорожной поликлиники и полюбовались стройными молодыми деревцами, вырвавшимися из-под земли в полукружии невысокого каменного забора с въездными воротами. Забор отделял их от первобытной темноты и неразличимости мохнатых елей, росших на территории. Среди елок, казалось, вот-вот промелькнет рогатый шлем тевтона, ищущего, куда бы привязать амулет.

У торцевой треугольной стены бывшего санпропускника (на фронт для наших и в сибирский плен для самураев из Квантунской армии, не сделавших харакири) они внимательно рассмотрели высокие раскидистые деревья с нежными набухающими почечками. Как писали в старинных ботанических справочниках: «Листья ильма, этого поистине украшения нашей скромной северной природы, небольшие по размеру, двурядные, перисто-нервные, зубчатые, с суховатыми, рано опадающими прилистниками, не образуют густой кроны, присущей деревьям щедрых южных широт, но стойко противостоят натискам сурового Борея». Толстые ветви старых ильмов змеились по освоенному ими объему пространства, являя собой образец зрелой древесной гибкости, силы и красоты.

Потом они вышли на деревянную улицу Смолина и надолго задержались у высокой скошенной стены из природного камня. Когда-то стена служила стеной купеческого амбара и на ней лежала черепичная крыша, но сейчас казалось, что это стена средневекового японского замка, настолько полно неправильное, тревожное сочетание ее длины, высоты и наклона верхнего обреза выражало смертоносную красоту самурайства с его изогнутыми кинжалами, мечами и долгими чайными церемониями. Невысокое деревце на фоне

острых каменных граней и трещин совершенно терялось, но, разглядев его, невозможно было уже забыть это сочетание холодного камня и живого узора гибких ветвей и ломких веточек. Специально вырастить здесь такое деревце тоже могли бы, конечно же, лишь эстетические японцы, застрявшие в своем жестоком средневековье.

Сквозь высоченную звучную арку монументального дома ИТР (инженерно-технических работников завода мостовых конструкций) они полюбовались трансформаторной будкой из кирпича такого насыщенного бордового цвета, будто кирпичи мазали густейшим суриком. Мелкие веточки на фоне сурика не различались, и темные стволы и ветви ильма, росшего у будки, словно бы являли собой дерево как таковое, дерево в чистом виде, только что вылепленное из первоматерии, из которой потом слепят все остальное.

Дом ИТР возводили в годы второй сталинской пятилетки, когда в стране всего не хватало и строили мало, но если уж строили, то метрополитены. По фасаду здания, массивного, как вавилонский зиккурат, на уровне первого и третьего этажей шли ряды коротких квадратных колонн, разделявших неглубокие манерные лоджии на два стула, не больше, как раз развешивать розовые парашюты толстых инженеровых жен. Придавая облику здания тяжеловесную имперскую изысканность, мотив колоннады в уменьшенном виде повторялся на фронте под плоской кровлей, а второй, четвертый, пятый и шестой этажи сияли гладкой желтой лысиной. В том же римском духе была решена и двойная арка для ликующих толп и скованных цепями киммерийцев. Идею сквозной арки архитектор довел до абсолютного совершенства и полноты – до высоты пятого этажа. Белоснежная океанская яхта в пенистых бурунах прошла бы под нею на всех парусах, а если бы в квартире над аркой провалился пол, диваны из нее полетели бы, как тяжелые орлы с утеса – хлопая спинками, как орлы крыльями.

В подвале дома ИТР не так давно устроили пивной бар «Гамбринус». Из вентиляции пивняка на них нанесло густым и таким вкусным пивным духом, что они, не сговариваясь, свернули и спустились по крутой лестнице, спугнув зазевавшуюся мышку. Темное пятнышко мелькнуло вдоль стены, переметнулось и исчезло под цоколем.



## IV. СТАРЫЙ РУБЕН

### 1

Петр толкнул дверь из легких липовых досок, колокольчик над дверью тоненько прозвенел, и по стукнувшей приступочке за дверью они сошли в длинное сумеречное помещение с дубовыми столами вдоль стен и лавками.

Фундамент здания, неощутимо высившегося над головами посетителей шестью тяжелыми этажами, сложили из серого гнейса; камень вырвали из земли динамитом, когда рыли котлован для какого-то индустриального гиганта. Когда в подвале сломали кладовки, перестраивая его в пивной бар, стены фундамента не стали штукатурить или обивать хлипкой дребезжащей рейкой. Жидкий дневной свет, сочившийся из окон под сводчатым потолком, впитывался серым камнем, как вода промокашкой, и в баре было, как в дождливые сумерки, когда глаз избавлен от озиранья слепящих окоемов и одуряющих перспектив. Фигуры посетителей проплывали вдоль серых стен, как тени предков в сухих подземельях шотландского замка. Образу мрачной пещеры с факелами на стенах отвечала лишь кирпичная стойка в глубине помещения, ярко освещенная желтыми дьявольскими плафонами и перебегающими сиене-красными огоньками.

На колокольчик из-за стойки вышел приземистый, сутулый, длиннорукий человек с большой головой. Голову он нес так низко, словно выпрямиться ему не давал острый горб. Вытирая руки белым поварским передником, гоблин медленно двинулся им навстречу, подсвеченный со спины. Его тень гнулась и ломалась по сводам, как крылья гигантской летучей мыши, но вблизи гоблин оказался всего-навсего седатым армянином с морщинистым лицом и крепким телом кавказского долгожителя, полным терпких жизненных соков.

– Здравствуй, дорогой, я рад, что ты зашел ко мне, – с непередаваемым южным акцентом произнес армянин низким, хрипловатым, гортанным голосом, уставив на Петра седые клочковатые брови. – Можешь называть меня Рубен. Я тут хозяин.

Очень как-то неопределенно поводил он при этом рукой у себя

над головой, словно имел в виду сразу свой подвал, дом над ним, город вокруг и планету, вместе с которой мы все крутимся и несемся в черноте. (Еще можно у нас на севере и в Сибири разыскать деревянные церковки, украшенные в безотчетно пантеистическом духе. Вместо седобородого Саваофа с растянутым по сферической поверхности ликом, символически простирающего вытянутые обезьяньи длани надо всем тварным миром, своды центрального нефа в них украшены простенькой схемкой обозримой, понятной и совсем не страшной Вселенной: синенькая краска радостно изображает небесную твердь, а на твердь часто наклеплены золотые звездочки, чтобы пусто не было.)

Петр тоже назвался.

– Петр, говоришь? – медленно повторил армянин, покачивая тяжелой головой и словно пробуя имя на вкус. – Хорошее тебе досталось имя. Много хороших людей его носили. А барышню твою как зовут? Ты не обижайся, Петр: я буду смотреть на нее не так, как на тебя. Знаешь, у нас говорят: юноша любит женщину, как нежным цветком, мужчина взнуздывает ее, как норовистую кобылу, и только старик знает, что ей самой нужно. Ну-ка, ну-ка, повернись, красавица, повернись! Взбрыкни немного, порадуй старика!

Под его ласкающим взглядом айсурица весело крутнулась, закрутив платье вокруг стройных бедер.

Петр улыбнулся:

– У нее нет пока имени.

Любуясь смеющейся айсурицей, армянин укоризненно покачал головой:

– Нехорошо это, Петр, нехорошо. У человека должно быть имя. Но как-то ты ее называешь?

– Я называю ее «Небесная».

Армянин приблизил к ней лицо, легко взяв ее под локоть.

– Небесная... Да, это хорошее для нее имя, – всмотревшись, удостоверился он. – Пойдем, Петр, я вас посажу. Гости не должны долго стоять на ногах.

Петр с удовольствием подчинился мягкому направляющему нажиму тяжелой руки на плече.

От входа сразу направо пили пиво нежные выразительные де-

вушки лет семнадцать, со славными чистыми личиками, тонкими белыми шейками, ровными зубками и упругими губками.

– А я захожу в любой круг и танцую! – с гордостью сообщила товаркам одна, выпуская дым резким неумелым выдохом в сторону.

– Ну ты наглая!.. – уважительно протянула в ответ другая, тоже словно сошедшая с глянцевой обложки. («Cool – журнал для настоящих девчонок! Парни и секс, обалденный прикол!..»)

– А вот, говорят, новый прикол пошел – пиво с лимоном пить, – поделилась первая.

– Много на свете извращенцев... – рассудительно заметила еще какая-то.

– Петр, ты посмотри на этих пигалиц, – с укором проговорил армянин, посмотрев на девушек как строгий, но ласковый отец, не совсем чуждый мысли о маленьком домашнем кровосмешении. – Молоко на губах не обсохло, а они пиво хлещут. А я вот скажу вашим родителям!

Девушки оживились, засмеялись и мило защебетали:

– Рубен, та-та-та... Рубен, та-та-та... Та-та-та, Рубен.

С удовольствием послушав их безмятежный птичий щебет, армянин по-отечески им улыбнулся:

– Ну ладно, ладно, отдыхайте. А это – Петр и Небесная. Ваших имен им знать незачем, они у вас пока неинтересные, как ваши куринные мозги. Подойди поближе, Небесная, пусть они на тебя посмотрят. Им это будет полезно.

Петр с армянином немного расступились, освобождая место для Небесной. Девочки затаили дыхание.

– А можно вас потрогать? – осмелилась та, что заходила в любой круг.

– Потрогай, – милостиво разрешила Небесная.

Девочка протянула прозрачную лапку и осторожно коснулась принцессы из своей замызанной школьной тетрадки.

– Ну, смотрите тут у меня, – наставительно сказал девочкам Рубен. – Еще по одной – и все!

Девочки снова защебетали, кроме той, смелой. Смелая притихла, о чем-то задумавшись.

За соседним столом плотно уселись лицом к лицу стриженные мо-

лодые парни в коротких кожаных куртках; кому не хватило места на лавке, те стояли, закрывая сидящих спинами. Всего молодых людей было человек двадцать. Они были погружены в свой разговор и чужих не слушали.

– Нет, ты сам посуди, – говорил один из сидевших, постарше и покрепче остальных. – Ты ему руку порезал, а если бы ты его завалил?

Порезавший имел возражения, заглушенные гомерическим хохотом заводской бригады, заставившей соседний стол пивом, воблой и натруженными руками – кто-то из работяг кое-как добрался до конца забористого анекдота.

Армянин сделал извиняющуюся мину на лице, кивнул Петру на свободный стол, повернулся к молодым людям и положил руки на кожаные плечи, раздвигая их в стороны. Петр задержал шаг, прислушиваясь.

– В мое время такие споры решались не так, – расслышал он голос армянина. – Это ты взялся за нож и не зарезал?

Старшак приподнял крепкий шар стриженной головы и негромко сказал что-то пренебрежительное, Петр не разобрал.

– Меня зовут Рубен, – веско произнес армянин, сняв руки с плеч и оперевшись на стол; голова его совсем опустилась меж больших лопаток. – А как зовут тебя? Я спрашиваю твое имя, а не кличку. У человека должно быть имя.

Старый армянин говорил, по-прежнему не повышая голоса, но как-то так очень в резонанс с серыми стенами и темными сводами, что низкий хрипловатый голос его разом будто бы даже и перекрыл хмельные разговоры и смех по всему заведению.

Старшак, прибитый резонансом и уже наученный жизнью понимать с первого взгляда и слова, с кем он имеет дело, невольно заговорил погромче, очень стараясь быть понятым:

– Да ладно, Рубен, извини, чего ты? Серега меня зовут. Мы тут поговорим у тебя.

– Сергей, значит, твое имя, – проговорил армянин, вновь заглушая хмельной шум. – Ну, беседуйте, беседуйте. А ты, Сергей, когда договорите ваши разговоры, ты останься. Я тебе кое-что скажу наедине по-стариковски. Мы, старики, болтливы, но ты не бойся:

надолго я тебя не задержу, хотя у меня много тут вниз этажей.

Старшак сказал еще что-то севшим голосом, но Рубен уже отошел от молодых людей и вернулся к Петру с Небесной.

– Ты извини меня, Петр, и ты извини, Небесная: мужчина должен знать, кто сидит у него за столом, ко мне разные люди заходят. Но пусть они разговаривают, не будем им мешать. Вон, пойдемте-ка лучше к этим...

За столом от входа налево трое зрелых мужчин в легких светлых куртках поддакивали и кивали хмельному моложавому еврею в белой сорочке с галстуком. Пожилой еврей трактовал им о чем-то, крепко пристукивая по столу волосатым средиземноморским кулаком.

– Это доценты с профессором, – пояснил армянин, беря Петра с Небесной под руки. – Это умные люди, с ними вам будет интересно поговорить...

Петр мягко, но решительно остановился.

– Рубен, давай-ка мы сначала лучше сядем где-нибудь, – настоятельно предложил он. – Мы потом сами познакомимся, с кем захотим.

Армянин рассмеялся, покачивая головой:

– Ты мне нравишься, Петр. Ты правильно поступаешь. Мужчина должен сам все решать за себя. Я вас посажу сюда. Здесь вам будет хорошо. Здесь вас не будут беспокоить – я присмотрю за вами.

Совсем свободным оставался стол за доцентами. Дальше от входа сидели за пивом двое молодых модных мужчин в синих клубных пиджаках, потом сидела еще веселая смешанная компания, а еще дальше сидели еще какие-то направо и налево под сводами, пили, курили, болтали и изредка гоготали.

Петр бросил к стене сумку и сел лицом к стойке. Из невидимой трубы где-то под потолком сочилась вода, и по сырой щели меж камней медленно сползала мокрица, студенистый бесцветный комочек первичной протоплазмы, лишенный мускулов.

– Зачем ты здесь, Рубен? – сказал Петр. – Что ты тут делаешь со своими этажами?

Никогда еще Петр не чувствовал себя менее свободным. Никогда еще будущее с таким непреклонным бесстыдством не обнажало

перед ним свои бледные холодные телеса. Он ведь совершил практически кругосветное путешествие, объехал земной шар с востока на запад. Он научился смотреть вокруг себя трезвым взглядом, без лишних эндорфинов перед глазами.

– Я присяду к вам, – решил армянин.

Быстрая улыбчивая официантка приятной молодой наружности поставила им на стол кружки с холодным пузырьчатым пивом под тонким слоем плотной пены.

– Это я угощаю: вы у меня в первый раз, – категорически заявил армянин, попутно обнимая официантку за мягкую талию. – Золотые у меня девочки, а?

Девушка зарделась и ласково улыбнулась. На ее шелковой груди висел белый прямоугольничек с именем. Ее звали Валентина, а могли бы звать Мириам или Лейла с такими черными блестящими глазами, с таким носиком с горбинкой, матовой кожей, крутыми бедрами и с таким сладострастным животиком под шелком.

– Ты мне не веришь, Петр, – с мягким укором сказал армянин, поглаживая девушку. – А ты проверь ее на ощупь, проверь, тебе это тоже может быть полезно. Небесная тебя простит, я знаю.

Петр не стал ощупывать соблазнительную Валентину, и та ушла, еще раз ласково им улыбнувшись. Специально ли Рубен их подбирал таких или само так вышло, только среди его официанток не было ни одной жилистой блондинки, и все они улыбались посетителям без внутреннего принуждения, всегда заметного даже на лукавом женском лице. Глядя на них, возникало ощущение, что девушки расхаживают между столами, потягиваясь, как ухоженные, избалованные кошки.

## 2

– Мужчина может простить все кроме оскорбления, но я знаю: ты не хотел меня оскорбить, – заговорил Рубен. – Я скажу тебе, почему я здесь. Там, где я долго жил, там очень хорошо, Петр. В горах живут красивые люди, кузнецы и виноделы, но им пришлось пролить много своей и чужой крови, чтобы остаться в своих домах. А пролитая на землю кровь никогда вся в нее не уходит, она остается на земле. Это ты мне поверь, Петр, я прожил долгую жизнь, я много видел.

– У тебя другое имя, – заметила Небесная, с интересом примери-

ваясь отхлебнуть из удивительной для нее огромной кружки.

Рубен добродушно рассмеялся:

– Бабу не обманешь – она нутром чует! Ты угадала, Небесная, но в мое настоящее имя вы не поверите, и оно ничего вам не скажет. Зовите меня Рубен, я к этому имени привык, человек ко всему привыкает. Человек должен жить на одном месте, как дерево, а не мотаться туда-сюда, как перекасти-поле. Но я старый человек, Петр, мои мертвецы давно истлели, и в их могилах лежат другие. Там, где я родился, умерло очень много людей, а когда долго ходишь по чужим мертвецам, тебе становится плохо даже там, где ты родился. Знаешь, Петр, если мертвым тесно в земле, они не могут забыть своих обид и мрачно размышляют о мести в темноте и сырости. Их размышления гложут их кости, как черви, и отравляют живых. Старые кладбища нужно сравнивать с землей и разбивать над ними сады, тогда мертвые будут иногда слышать смех живых и не будут так сильно их ненавидеть. Мертвые ненавидят живых, Петр, это ты мне тоже поверь, я знаю, о чем говорю. Здесь, где живешь ты, мало садов и парков, но тут в земле пусто, под вашими лесами и болотами мало мертвых, и они не мешают друг другу и тем, кто ходит над ними сверху.

Краем глаза Петр следил за молодыми людьми в коже. Видно было по их напрягшимся, застывшим спинам, как они тупо уперлись каждый на своем, не вникая в веские доводы старшака. Тот еще побился, побился с ними, не желая признавать поражение, и сдался, разочарованный и очень недовольный.

– Как хотите, – громко подвел он черту. – Пусть тогда уважаемые люди тратят на вас время. Ну, кто поляну накрывает?

Однако ни порезанный, ни порезавший, ни их товарищи не выразили готовности выставить пиво. Торопливо распрощавшись со старшаком и неприметным мужиком за сорок, присутствовавшим при разговоре, молодые люди, не смешиваясь компаниями, потянулись к выходу. Проходя мимо крутого плеча Рубена, они приостанавливались и говорили: «До свиданья, Рубен, ты извини, если что». Тот молча кивал каждому, не отвечая словами.

Старшак с мужиком остались за столом одни. Мужик в чем-то его убеждал, старшак криво улыбался.

– Ты заходи еще, Петр, и ты заходи, Небесная, – пригласил Рубен, медленно поднимаясь над столом. – Это очень хорошее для тебя имя. Нам будет о чем поговорить. Ты заходи ко мне днем, когда никого не будет. Днем у меня пусто и спокойно, я люблю, когда никого нет. Человек должен жить среди людей, это верно, но когда стареешь, их болтовня начинает утомлять.

С этими словами он поднялся, обласкал Небесную грустным взглядом и рукой поманил старшака.

У парня оказалось сильное красивое лицо с прямым носом, высокими скулами, ровными густыми бровями и подбородком киногероя, только лишь немного как-то не до конца вырезанное. Точнее было бы сказать, что мимические мышцы его лица не привыкли выражать нюансы и оттенки душевных состояний, привычно складываясь в выразительные, но довольно однообразные гримасы подчинения, превосходства, недоумения, когда он разговаривал с мужчинами, и тяжелой неотвязчивой ласковости – с молодыми женщинами, которых он хотел, как животное.

Армянин протянул руку и короткими волосатыми пальцами сжал покорный стриженный затылок, пригнув голову парня вниз.

– Хороший череп, – задумчиво проговорил он тусклым голосом старьевщика, перебирающего тряпье. – Пойдем.

Видно было по склоненному лицу парня, что он мучительно пытается проговорить про себя: «Не пойдем!», но у него не выходит. На прямых ногах он покорно пошел к освещенной желтыми плафонами стойке. Слева от нее оказалась дверь, ведущая куда-то еще дальше внутрь невидимого, но угадываемого помещения, залитого режущим глаз и душу искусственным дневным светом.

Блатной мужик посидел еще за опустевшим столом, поднялся и вышел, соблюдая первое правило неуловимых японских ниндзей: «Чтобы остаться незамеченным, сам никого не замечай». Проводив его взглядом, Петр увидел, что не он один наблюдал за бандитской молодежью. Привлекая его внимание, Петру сигнализировал курносый очкастый мужчина средних лет, одетый в какие-то невразумительные босоножки, брюки серого сиротского окраса и подстриженный, как коровой обжеванный.

Наблюдательный очкарик сидел наискосок через проход лицом к



выходу и, значит, к Петру тоже. Старомодная роговая оправка на его носу, чуть раскосая по моде шестидесятых, вкупе с особой формой широкого носа и общими пропорциями лица, приводила на память незабвенного студента Шурика, сильно помятого жизнью. От пива, которое он в одиночестве успел вылакать, мужчина впадал в состояние блаженного восторга и начинал активно интересоваться окружающим. Сейчас его одолевало непреодолимое желание разделить с Петром восторг от увиденного. Он бросал такие быстрые взгляды попеременно в спину выходящего блатного мужика, на Петра и на дверь у стойки, за которой скрылась покатавшаяся спина старого Рубена, что казалось, что вместо двух у него целых шесть глаз, которыми он может смотреть сразу во все стороны. Подмигивающая физиономия этого пьяного, постаревшего, облезлого Шурика показалась Петру непереносимо гнусной сейчас.

### 3

---

Своим кавказским гостеприимством хитрый армянин раскрутил Петра на кучу денег. Они просидели в баре до закрытия и любоваться ильмами у Одигитриевского не пошли. Загребущие попы оторвали у мэрии добрый кусок набережной, обнесли его чугунным забором и тщательно истребили корявую мелочь вроде ив, верб, акаций, куртин шиповника. Оставили они только старые и сильные деревья и молодую, гибкую древесную поросль. Старые ильмы помолодели, расправили ветви и очень хорошо и четко стали смотреться на фоне бегущих свинцовых вод.

На «Бороде» Петр поймал тачку, и вместо улицы Пендерецкого в кварталах молодой частник сначала завез их на улицу Синторецкого на Лысой Горе.

– Вот, ..., поназывали! – сетовал он, ожесточенно выкручивая ба-ранку на ухабах и рытвинах Лысой Горы, погруженной в темноту и собачий брех. – Пендерецкие, Синторецкие... Евреи, что ли?

– Что означает «хер»? – спросила у Петра Небесная. Каких-то наших слов она не понимала сразу. Непонятные слова долго побрякивали у нее в голове и выскакивали наружу, когда им вздумается, «шлямбур», например, или «перпендикуляр», или «домкрат», или вот еще странные слова – «репа», «телега»...

Водила, молодой мужик, от души загоготал, расслышав и не сдер-

жавшись.

– Ты под колеса получше смотри, – посоветовал ему Петр. – Не хер подслушивать!

Утром Петр на прощание еще раз провел рукой вниз по чуткому хребту прекрасной подруги.

– Зачем ты отрезала хвостик, Небесная?

– Так я тебе не нравлюсь?

– Нет, Небесная, ты нравишься мне даже без хвостика.

Не улетев в Мыскву вчера, он улетал сегодня утренним рейсом.

– Когда ты вернешься, Сероглазый?

– Скоро, Небесная, скоро...

Через два часа воздушный лайнер натужно взвыл турбинами, тяжело оторвался от земли и понес его меж облаков в Шереметьево.

---

#### 4

---

После одного случая Петр всегда имел при себе скальпель в футлярчике от дедовской опасной бритвы.

На каникулах после четвертого курса он поехал в гости к однокурснику в деревню под Псковом. В деревне не было телефона, и когда у бабы Тани, доживавшей долгий трудный век в тятином доме, прорвался аппендицит и началось смертельное воспаление брюшной полости, спасти ее кроме Петра и его оробевшего друга было некому; в райцентр послали на мотоцикле, но по всем расчетам помощь должна была опоздать. Петр прокалил перочинный нож, вскрыл бабке брюшную полость от мечевидного отростка до подвздошной кости, от впалой старушечьей грудины до безволосого лобка, рассек брыжейку и развесил скользкие кишки по рукам деревенских мужиков; с кишками на руках мужики стояли вдоль стен, теряя сознание. Протерев кишки марганцовкой, Петр склал их обратно и зашил живот суровой ниткой. Вместо хлороформа Петр налил в полиэтиленовый мешочек ацетон. С мешочком на голове баба Таня стала походить на безобразную голую купальщицу из фильма ужасов. От острой почечной недостаточности, вызванной ядовитыми парами, старуха чуть не отдала богу душу (давно ее заждавшемся). Ее откачала потрясенная бригада «скорой помощи». «Скорая» не спешила и ехала уже за трупом. Врачи были очень удивлены, застав бабу Таню в живых.

## **V. О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ, ИЛЛЮЗИЯХ И ПРЕДРАССУДКАХ**

### **1**

Полковник Хосе Лопес Вивару де Вива упорно, не жалея измученных солдат, теснил повстанцев в каменный мешок под перевалом Уонкайо. За перевалом простирался обширный глетчер, ледяная пустыня, окаймленная каменными громадами трех великих вулканов: Котопахи (5897), Чимборасо (6262) и Сангай (5410). По ночам облака над ними светились розовым – их подсвечивала снизу кипящая в кратерах огненная лава. Когда вулканическая деятельность усиливалась и в кратерах лопались особенно большие огненные пузыри, отброшенные облаками кровавые сполохи змеились по черной ледяной поверхности глетчера. Тогда казалось, что изнутри ледника прорывается наружу его собственный нетерпеливый свет, рдеющий глубоко в его хрустальных толщах; даже индейцы боялись сюда заходить. Повстанцы, даже если бы им удалось подняться на перевал и спуститься на глетчер, погибли бы на его льду еще скорее, чем в камнях под перевалом. Глетчер жил своей медленной холодной жизнью, дышал и, сползая вниз под собственной тяжестью, разрывался бездонными трещинами, а его поверхность до блеска отполировал ветер. Здесь было воистину преддверие игольчатых чертогов индейского Шолотля, звездного бога холода, льда и наказаний.

Но именно безвестной гибели повстанцев и нельзя было допустить. Победа тогда лишилась бы всякого смысла лично для полковника. Если бы повстанцы замерзли за перевалом или исчезли в трещинах, он не смог бы этого доказать, потому что не нашел бы их тел. Всегда оставалась бы вероятность, что повстанцы обошли ледяные ловушки по неведомым тропам или укрылись в тайной пещере с запасами топлива и провианта. В эту пещеру полковник не верил, но более всего ее и боялся. Чем иначе можно было объяснить, что ему вообще удалось вытеснить повстанцев в это ущелье. Может, они сами шли зачем-то на перевал, а он просто шел по их следам, чтобы в конце концов остаться в дураках?

Об этом можно было, впрочем, пока не беспокоиться. Поднять-

ся на перевал повстанцы не могли. Перевал был плотно и надолго закрыт густой облачностью, в такую погоду по горам не ходят даже альпинисты. (В такую погоду они залегают в яркие палатки, как медведи по берлогам, и опасно травят байки о Черном Альпинисте<sup>1</sup>.)

По утрам полковник выбирался из сырой палатки, с трудом разминая затекшие за ночь суставы немолодого тела. Но он готов был бы даже ночевать под открытым небом, лишь бы довести операцию до победного конца. В штабе ему уже намекали об отставке и пенсии. Теперь же, спустившись с гор победителем, он доказал бы всем и самому президенту, что в силах командовать дивизией, а не полком, как сейчас.

Но победить нужно было в ближайшие дни, до начала сезона дождей. Облачные армады были уже на подходе к Андам, и в Гилее, зоне тропических лесов на склонах Западной Кордильеры, неперестанно моросил дождь, первый предвестник многомесячного ливня. Здесь же, в зоне хвойного леса, близко к альпийским лугам, это был даже и не дождь уже. Вместо капелек воды с неба плотно сеялись какие-то маленькие ледяные иголки. Иголки пробивали мокрую одежду насквозь и даже, казалось, пробивали кожу.

А еще выше в горах выпал снег, и с гор несло лютой сырой стужей. Волглые одеяла от нее совершенно не спасали. Просыпаясь на исходе ночи от мучительного холода, солдаты, сжав зубы, натягивали задубевшие ледяные ботинки и быстро снимали лагерь, чтобы согреться ходьбой. Глядя на их слаженные действия, полковник испытывал чувство гордости за них и за себя, их командира.

Маневра повстанцы были лишены. Сзади лезли озверевшие от усталости солдаты, с боков подпирали крутые склоны, увенчанные зубцами отвесных скал. Нечего было и думать взобраться на них, чтобы улизнуть в соседнее ущелье. Скалы были неприступны, по каждой ложбинке неслись потоки воды, срываясь с уступов кра-

---

1 Черный Альпинист – фольклорный персонаж: альпинист, из ревности сброшенный товарищем в пропасть, уцелевший, но сошедший с ума. С тех пор он бродит по горам, разыскивая любимую, и силой домогается всех девушек без разбора (вар.: вообще всех подряд); домогательства его оказываются, как правило, успешными. Ср. со Святогором, Вечным Жидом, Сен-Жерменом и проч.

сивыми пенными водопадами, а по склонам ползли вниз, ворочаясь, подмытые валуны. Через каждые пятьдесят – сто метров им и так приходилось идти по пояс, по грудь в ледяной воде. Они давно уже брели каждый сам по себе, еле переставляя ноги, и поджидали друг друга, только когда нужно было идти вброд. Поодиночке идти вброд было нельзя: вода сбивала с ног и подхватывала, чтобы унести и забить изломанный труп между камней далеко вниз. Они крепко брались под руки и мелкими шажками вступали в несущийся поток, нащупывая шаткие камни на дне.

Из спецкурса «Экстремальное выживание» Петр знал, что в условиях низкой температуры и недостатка пищи (когда спецназ, груженый боеприпасами по самые яйца, совершает многодневный марш-бросок по заполярной тундре) жизненно важно меньше пить, чтобы не тратить драгоценные килокалории на подогрев лишней жидкости в организме; мочиться в таких условиях следует при первом позыве. Когда Петр в который раз замедлил шаг и замерзшими пальцами стал выковыривать из тугих петель пуговицы на ширинке, его тронул за плечо Хуан, индеец-кечуа с массивным мясистым лицом и безволосой кожей протомонголоида. Его далекие предки некогда двинулись из Центральной Азии вдоль западного побережья Тихого океана, дошли до Берингии, то есть перешейка, некогда разделявшего Тихий и Северный Ледовитый океаны, перешли на Аляску, прокочевали на юг через Северную и Центральную Америку и остановились, лишь упершись в Западную Кордильеру, перевалить которую им не хватило запала (от кого они так бежали?). Хуан подгонял французов и следил, чтобы они не утонули, не сорвались в пропасть и не спрятались. Петр ему помогал: через сутки французов нашли бы солдаты, но, скорее всего, мертвыми. К утру вода в кружке покрывалась ледком, а пленники обессилели и совсем пали духом. Улегшись за камнем, они тут же подтянули бы колени к груди, обняли их и навсегда заснули. Простодушный индеец давно уже считал Петра боевым товарищем и дал ему дельный совет. Оскалившись, что должно было изобразить любезную улыбку, он жестами показал, что мочиться можно на ходу прямо в штаны – вода все смое. Петр так и делал потом, наслаждаясь горячей струйкой, стекающей по холодной ноге в ледяной ботинок; даже немного те-

плее от нее становилось. Оказывается, все так делали; французы тоже мочились в штаны с истинно европейским презрением к неуместным условиям, а останавливались, только чтобы сесть, привалиться спиной к камню, съежиться и задремать. Их безжалостно тормозили, вздергивали на ноги и заставляли идти дальше.

На четвертый день мучений зона леса закончилась. Редкие лиственницы (точно такие, что растут и у нас везде, а в Южной Америке растут лишь высоко горах да еще на Огненной Земле) разбежались по склонам, и открылась широкая заснеженная долина, альпийский луг. Долину цирком окаймляли скалы; ущелье, по которому они шли, изгибалось за спиной, как уползающая змея. Зубцы скал терялись в сером густом тумане. Трещины в матовых черных монолитах были плотно забиты снегом, и казалось, что это не снег, а прожилки белого мрамора, испещрившие скалы до самых вершин, что эти прожилки кто-то терпеливо нарезал алмазным резцом лет эдак миллиона два, холодея от вдохновения. Они поднялись уже на очень большую высоту. Разреженный воздух позволял ощутить и зримо представить, сколько вокруг нагромождено еще скал, утесов и пропастей и как долго можно еще идти по этому дикому нагромождению безумных безжизненных красот.

На краю цирка все остановились и сгрудились, словно надеялись согреться от живого тепла друг друга. Веток, которых им удалось по дороге наломать и принести с собой, хватило бы от силы на два костра.

Петр встал в сторонке. Ему стало легко и спокойно. Страх, безнадёжность, усталость, холод и боль его отпустили на миг. На этот миг он освободился от своего измученного тела и мог полюбоваться абсолютной красотой, красотой в чистом виде, не предполагающей человека, который бы на нее пялился.

---

## 2

---

Обнаружив себя в Латинской Америке, Петр словно заново родился. Не в том расхожем смысле, что в одночасье стал другим человеком. Неузнаваемо измениться, разменяв четвертый десяток, – такое возможно в результате эпифании, но не потока новых впечатлений или выпавших испытаний. Испытания человека не меняют – они лишь проявляют его естество, как сернокислые сульфаты,

соединяясь с молекулами серебра, проявляют скрытое изображение на черной фотографической пластине. А новые впечатления лишь избавляют от предрассудков и заблуждений (что имели в виду еще древние даосы, рассуждая о пользе путешествий).

Измениться Петр не мог (к тридцати годам он давно уже был завершенным, готовым, доделанным человеком), и не имел предрассудков, от которых его могла бы избавить именно Латинская Америка. Просто его впечатления от нее оказались столь непохожими на все, что ему доводилось испытывать в прежней жизни, что временами он казался себе новорожденным, который пока не понимает, что происходит вокруг; даже не видит толком, что происходит. Кроме ровного стука теплого материнского сердца у него нет пока других привычных, проверенных, надежных впечатлений от окружающего мира. Ему еще предстоит долго приобретать их вечным и потому, кажется, не очень эффективным методом случайных проб и закономерных ошибок. Единственным, пожалуй, заблуждением, от которого Петр в Латинской Америке окончательно избавился, была врожденная уверенность, присущая и всякому человеку, что Земля вертится исключительно ради него. Отсюда было недалеко и до осознания, что не такая уж он и ценность в масштабах Мироздания. Жить ему от этого, конечно же, меньше не захотелось и переступить через чужую жизнь не стало легче, но переступить через инстинкт самосохранения – легче, равно как свободно и осознанно пожертвовать чужими жизнями ради высшей цели.

Вот ведь какая цель стоит передо мной сейчас. Я вовсе не намерен живописать выпавшие ему испытания. Я лишь хочу понять, какими путями он пришел к главному поступку жизни, как научился видеть мир таким, каков он есть на самом деле, а не отраженным в нашем мозгу, косном и негибком, когда касается нового и выходящего за рамки, как за прямой линией прогресса, ведущей из прошлого в будущее, он стал прозревать немыслимые петли и кривулины, которыми Творец в припадке божественного вдохновения исчеркал генеральный план Своего Творения, а нашей то есть жизни.

---

### 3

О Латинской Америке Петр знал не более того, что знает о ней всякий мало-мальски образованный человек. Советскую Детскую

энциклопедию он читал в детстве с интересом. Полиграфия ее ныне покажется бледноватой, зато статьи для нее писали маститые академики и профессора. Спасибо советской власти: от них не требовалось приносить науку в жертву торгашу-Меркурию, превращать серьезное познавательное чтение в занимательное перелистывание цветных картинок и красочных диаграмм, наглядно показывающих, как обезьяна взяла палку и превратилась в человека. ДЭ исподволь приучала любознательных школьников не проходить мимо деталей и мелочей, из которых одних и состоит мир живой и неживой природы. Благодаря привычке и любви к серьезному чтению, привитой ему в детстве, Петр и узнал позже, что Верховный Инка, прижив ребенка с рабыней, съедал его, тушеного с овощами; что Алонсо Охеда, сопровождавший Колумба, был уверен, что оказался на опупке земного шара, и без усталости лазал по джунглям, обдирая с адмиральского мундира золотые галуны, чтобы лично испить водицы из каждой лужи и не пропустить заветного родника вечной молодости, который точно должен был где-то здесь на опупке бить из-под земли; что бородатого и белокожего Писсаро, одуревшего от солонины и жажды наживы, инки сочли вернувшимся Кецалькоатлем, Пернатым Змеем в изумрудном оперении; что все кому не лень создавали здесь государства: иезуиты, беглые рабы и транснациональные корпорации; что Колумбия названа так в честь Колумба, а независимой стала в 1813 году после великой войны за независимость, огонь которой неоднократно прокатывался туда-сюда по всему континенту; что Боливия названа в честь героя этой войны – Симона Боливара (но не лошади); что сапоги гаучо шьются с отдельным большим пальцем, чтобы зажимать им кованую дужку стремени; что в джунглях Сьерры, высокогорной области между хребтами Западной и Восточной Кордильеры, бродят немногочисленные племена первобытных охотников и собирателей – прямые потомки первой волны засельщиков континента, добравшихся аж до Патагонии (кто же так напугал робких патагонцев, что остановить их бегство смогли лишь холодные воды пролива Дрейка, где перетекают друг в друга Тихий и Атлантический океаны?); что на стенах пирамиды в Тегусигальпе есть детализированное изображение летательного аппарата с жидкостным реактивным двигателем,



которым управляет человек с нечеловеческими пропорциями лица и тела.

Все так, но это все равно были тихо шелестящие страницы интересных, умных, безопасных книг, а не поток, шквал, тайфун живых звуков, запахов и вкусов, которым обрушился на него целый континент.

Остается еще добавить, что прежде, чем этот тайфун подхватил его, понес и закружил, он долгие месяцы провел на необитаемом острове, предоставленный самому себе, неумолчному птичьему гомону с рассвета до заката и шуму прибоя круглые сутки. Кругом, сколько хватало глаза, простирались пенистые гребни Мирового океана. Свободно пробежав тринадцать тысяч километров, волны накатывались на песчаную подошву острова, взбухали, темнели от взбаламученного ила, с грохотом обрушивались на западный пляж и бежали дальше на восток, оставляя за собой тихие заводи на другой стороне острова. К исходу заключения в этой светлой темнице и впрямь на опупке Земли, без стен и тюремщиков, сознание Петра являло собой новехонькую, глянцевою, нетронутую *tabulae rasaе*, написать на ней можно было что угодно. А галдящие Пятницы, приплывшие на тарахтящем моторном боте, равно верили в Гуахайоке, индейского бога могил и мертвых, требующего человеческих жертвоприношений, и иудейскую девственницу, принесшую в жертву единственного сына; как церемонно выражались средневековые книжники: «...тельца упитанного, им же Господь сотворил гостивству великую, совокупив на ней воедино небесныя и земныя, ангелов и человеков».

В горах это совокупление ощущается иначе. В горах человеку дано почувствовать себя самого озябшим босоногим ангелом, тихо ступающим нежными подошвами по острым камням.

---

#### 4

---

Детство наше прошло, и пути наши разошлись; последние девять лет мы вообще не встречались – срок достаточный, чтобы знакомиться заново.

Сначала мы не совпадали во времени и, соответственно, не совпадали в пространстве. После пятого курса я сразу поступил в аспирантуру и по-прежнему приезжал домой на каникулы летом

– он получил направление на Дальний Восток, и отпуск получал ранней весной или поздней осенью. Потом мы перестали совпадать в пространстве, без чего говорить о времени не имеет смысла. Из Англии я не приезжал, а когда вернулся на родину и мы могли бы встретиться, административная граница Приморского края стала для него каким-то последним непреодолимым рубежом.

Он исправно нес службу в суточных нарядах по кораблю, проверял санитарное состояние камбуза и гальюна, составлял рационы дополнительного питания для молодого пополнения с дефицитом веса, доукомплектовывал медикаментами медчасть, готовясь к очередной проверке. Словом, романтическая мечта, загнавшая его на край света, оборачивалась жалкой подделкой. Каждый день он проходил по длинному пирсу под крики жирных ленивых чаек, провожал взглядом серые силуэты больших кораблей на горизонте, слушал, как шлепают волны о борт неподвижного крейсера, но в море ни разу не выходил, не попадал в шторм и не сходил по шаткому трапу на чужой берег, придерживая бесполезный кортик на бедре. Он мог бы уйти в коммерческий флот, но его сознание было уже тяжело отравлено. Он не желал уподобляться толстому и небритому финикийцу на замызганной неповоротливой фелукке, до бортов груженной прибыльным товаром – вонючей овечьей шерстью. На океан он согласен был смотреть только с высоты надраенной до блеска палубы грозного боевого корабля, под андреевским флагом прущего куда-то в геополитических интересах России. Ради этого он последние три года и не отдалялся от крейсера, чтобы крейсер не ушел в поход без него, не приезжал в отпуска и не объяснял, почему. Тетя Валя очень на него за это обижалась, думала, что он забыл о родителях, связался с ушлой девкой. Она даже меня на этот счет пытала: не писал ли он чего об этом мне. Мне он, конечно, не писал. (Все не соберусь спросить, где он-то проводил отпуска, пока в них уезжал. Неужели тоже на теплом ласковом юге, сменив одно море на другое?) Все это время друг о друге мы узнавали через родителей. Они так долго и дружно прожили дверь в дверь, что почти породнились, а нас считали, должно быть, названными братьями. Ввиду грядущих жизненных бурь они мудро поддерживали в нас слабеющий огонек взаимного интереса, чтобы в случае чего нам легче было

прийти друг другу на помощь. Они не желали видеть, что нас уже разнесло, как «Нинью» и «Пинту» по пути к вожделенной Ост-Индии, битком набитой ничейными сокровищами.

---

## 5

Я ведь тоже не сразу вернулся домой и тоже посмотрел немного на мир. Защитив диссертацию по усоногим рачкам, я тут же выиграл грант Рокфеллер Центра и уехал стажироваться в одну благополучную страну за туманным Ла-Маншем. Мы с Чарльзом Дарвиным писали диссертации по одной теме. Он тоже начинал с систематики сидячих ракообразных. Англичане, некогда купцы, мореходы, колонизаторы половины мира, великие естествоиспытатели природы, а ныне чудаки с островным сознанием, не устояли, видно, перед моими обильными ссылками на разрушителя викторианских устоев их жизни и щедро оплатили мне год жизни на своем большом обитаемом острове. В Великой Британии я завязал связи с одной международной экологической программой (наполовину шпионской, как все международное) и еще полтора года успешно осваивал ее программы мониторинга окружающей среды. Мне даже удалось на два месяца уехать на берега рек северной Канады, чтобы на месте изучить влияние ядовитых дымов Детройта на неустойчивые северные биоценозы. Лишь после этого я вернулся на родину координатором таких же проектов по Сибири (одним из). Словом, все эти годы я деятельно устраивал жизнь на свой вкус и лад. Потихоньку собирал материал для докторской – выцеживал из великих и малых сибирских рек своих усоногих, ездил по белу свету докладывать об их неторопливом житье-бытье и попутно с координаторством и мониторингом (и во многом благодаря им) стал заведовать лабораторией водных биоценозов одного научно-исследовательского института в нашем академгородке.

Он же сделал все то небольшое, что от него зависело, и нетерпеливо ждал осуществления мечты – секретного пакета из штаба флота с приказом о дальнем походе.

---

## 6

Кажется, я увлекся и переборщил, когда щедрой рукой наделял кумира моего отрочества обширной эрудицией и тонким вкусом.

Он ведь мало интересует меня как неповторимая личность. Он скорее моя мечта о целостном гармоничном человеке, идеальный человеческий тип, изваянный в мраморе, дискобол со скрученным мускулистым торсом и невозмутимым классическим профилем, аллегорическая фреска о провидении, упертый ветхозаветный Иов, поющий осанну на гноище, победительный Александр Невский в блистательном исполнении Черкасова. Для оживляжа древние греки рисовали мраморным олимпийцам черные зрачки в пустых глазницах, румянили им щеки и губы, но мы-то уже не греки. Раскрашенный от руки истукан, подделывающийся в наших искушенных глазах под живого, не заставит наши сердца сладко сжиматься от неподдельного восторга и трепета. Настала, значит, пора недрогнувшим резцом стесать лишние фидиевы кудряшки с его беломраморного чела, нарезать ему морщин на лбу и придать его взгляду жесткое недоброе выражение, чтобы вдохнуть в него хоть какое-то жизненное правдоподобие. Кумиру это повредить не в силах, а у меня еще запланировано вздуть специальный огонь у его чугунного постамента и наполнить мою кумирню густым багровым светом; а Иова я зря сюда, конечно, приплел.

Наши отношения не были столь просты, как может показаться, и о себе я заговариваю не потому, что хочу затесаться в веселую компанию своих же персонажей. В сущности мы олицетворяем собой две разные жизненные стратегии, остро сформулированный тезис и антитезис, неумолимо требующий столь же острой формулировки, чтобы в результате их метафизического синтеза достичь запредельного удовлетворения незаинтересованного любопытства, что называется.

Итак:

Я ходил за ним, как теленок, и его небрежные просьбы бросался исполнять как повеления монарха в горностаевой мантии. Но мы становились старше, и прыть моя уменьшалась. Я понемногу распрямлял плечи и обретал способность рассматривать его трезвым ироничным взглядом.

Он же опекал меня и как к должному относился к бурным проявлениям моих верноподданических чувств, но, исподволь посматривая на меня, все чаще задавался одним мучительным вопросом.

Когда мы удалялись от родных берегов, предпринимая долгие волнующие путешествия по туннелю от Лысой Горы до Почайки или в городской ЦПКиО на танцы, я, естественно, держался у него в кильватере. Всегда можно было нарваться на шайку агрессивных пацанов из других дворов, а посещения танцев вообще загодя планировались как войсковые операции с агентурной разведкой, боевым дозором и штурмовым батальоном; арьергард не предполагался: по тревожным темным аллеям мы шли, забегая один вперед другого, чтобы не показаться трусом. Но массовые драки случались нечасто – обычно конфликт разрешался поединком. Нашим Пересветом чаще всего оказывался Петр. Гибкая и сильная нервная система вкупе с отлично работающими железами внутренней секреции, мгновенно выбрасывающими в кровь нужное количество адреналина, делала его неустрашимым и опасным бойцом. Он бледнел, в глазах у него темнело, и он бросался в бой, сохраняя полный самоконтроль. Не молотил воздух кулаками и ногами, как взбесившийся паровой молот, а умело маневрировал, дразня противника недостижимостью, и неуловимо скользил на дистанцию короткого, хорошо поставленного удара кулаком в нос, коленом в пах, локтем по челюсти со всего разворота; мир мальчика-подростка полон щепоткой нежности, когда он играет, и концентрированного насилия, когда он выходит на вечернюю улицу. При этом он не был таким уж любителем подраться. Просто он должен был осваивать мир, полный чудес и опасностей, и, значит, должен был быть готов ко всему. В десятом классе он даже обзавелся ножом с выкидным лезвием. Это был настоящий бандитский нож из бриткой рессорной стали, а не китайская подделка из мягкого железа. Вооружился он на тот случай, что противник унижит его, будучи старше и сильнее или в численном превосходстве, и однажды (больше, конечно, чем «однажды») ему так случилось выхватывать нож из кармана, выщелкивая на лету лезвие; это широкое движение он отрабатывал перед зеркалом, любясь грозным блеском обнаженного оружия. Он, разумеется, не думал резать тогда Бублика, но, если бы их не остановили старшаки, один из них попал бы в больницу, другой – в тюрьму: Бублик был старше и не мог отступить, а Петр вообще тогда не отступал. (Он потом разобрался с Бубликом иначе. В оди-

ночку Петру было не справиться, и они избили его с Обухом и еще кем-то. Я в первый раз был несколько им разочарован и отчужден, стороной узнав об этом. Ножа у Петра уже не было, был разгневанный отец с солдатским ремнем наперевес.)

Но, когда мы плавали по тихим внутренним, так сказать, акваториям, тогда уже не знаю, кому чаще приходилось любоваться косым Андреевским крестом на чужой корме. Я лучше учился. Меня награждали грамотами и книжками. Я собирал шуршащие гербарии и гремящие минералогические коллекции. Меня выставляли на олимпиады, и я побеждал. Я умел обращаться с микроскопом. И главное – я больше читал и больше знал, удивлял неожиданными поворотами мысли и расхожими банальностями, бытующими в среде начитанного юношества. Из Ветхого Завета я мог ляпнуть: «И заповедовал им Господь плодиться и размножаться», мог спросить: «Чего ты такой серьезный, как всадник бледный?» – а когда школьная пассия Петра, начитанная девочка, заказала ему мадригал, мадригал сочинял я; поэтическими красотами мой стихотворный опус № 1 не блистал, но я хотя бы размер выдержал, противоестественно зарифмовав вечные южные «розы» с сибирскими «морозами».

Я легко допускаю, что природа наделила его гораздо щедрее меня и всяческих сил и потенций у него больше до избытка. Просто его разум проснулся в худших жизненных обстоятельствах.

На тех, кто видит и слышит его впервые, маленький живчик дядя Андрей, его отец, производит впечатление суетливого плюгавого мужичонки, кое-как одетого, небритого и всегда нетрезвого. Он мастерски владеет убойной ненормативной идиоматикой русского языка и совершенно теряется перед листом бумаги. Если по листу стройными рядами идут мелкие буковки, дяде Андрею, уверен, представляется, что он стоит на краю непролазных джунглей с голодными крокодилами и каннибалами, а девственно чистый лист, на котором он сам должен написать письмо, пугает его, как бескрайняя заснеженная тундра до горизонта, без вешек и ориентиров. Я ни разу не видел его за газетой или книжкой и уверен, что за свою жизнь дядя Андрей не написал ни одного письма длиннее семи куцых фраз; первой, разумеется, всегда была «Здравствуй (те)», последней – «До свиданья. Пиши (те)», а пять между ними чудесным

образом вмещали в себе все содержание его жизни за отчетный, так сказать, период. По-моему, он даже телевизор не способен смотреть более двух минут кряду: забывает и путается, что ему показывали минуту назад, и смотрит дальше, как папуас в зеркало, не способный отождествить себя со своим перевернутым справа налево отражением. Стило он регулярно кое-как брал в пальцы, лишь когда бригадирствовал. Заполняя корявыми буквами наряд на выполненные бригадой работы, он наверняка долго мусолил ручкой по бланку и, наконец, расчетливо дырявил его шикарным росчерком на конце замысловатой подписи (замысловатость которой придал исключительно ради красоты, но не из соображений криптографии).

Тетю Валю – невысокую, массивную, прямо-таки кубическую женщину с малоподвижным лицом – я вообще не понимаю. Она мало говорит: готовит молча, ест молча, убирает со стола молча, вяжет молча – и, сдается мне, вообще не испытывает потребности в членораздельной речи. О чем-то она, конечно, размышляет при этом, только ее размышления так и остаются погребенными в ее большом теле. По жизни, как говорится, я понимаю ее еще меньше. Дядя Андрей предупредил ее однажды перед отпуском: «Мать, ты хочешь отправить меня на курорт. Не трать зря деньги. Купи полтора ящика водки и выдавай мне по бутылке. И мне будет хорошо, и дешевле будет. На курорте я столько же выпью».

Водка была куплена. Дядя Андрей уединился со своим ящиком, а когда источник тихого равномерного счастья иссяк, вышел на работу, не догуляв отпуска. Предоставленный самому себе, он начинал томиться и немедля отправлялся на поиски, чем бы заполнить пустоту в себе. Шум и грохот заводского цеха, изнурительная работа с непокорным неисправным железом заполняли ее лучше всего. Но в своем деле дядя Андрей был дока. Когда случались сложные аварии на комбинате, за ним приезжали долго еще после того, как он вышел на пенсию, хоть днем, хоть ночью. (Вообще-то на молодых фотографиях дядя Андрей совсем другой – крепкий ладный паренек с лихим чубом и уверенным, чуть ироничным и ласковым взглядом вожака и самоотверженного драчуна; дрался он, разумеется, главным образом из-за девок.)

Думаю, не удивительно, что в умственном, что называется, раз-

витии я опережал Петра ровно на столько же, на сколько он опережал меня в остальном и главном, раньше меня завоняв ногами и потом, как маленький вонючий мужик, и раньше став мужчиной, в любой системе отсчета – абсолютной или относительной, и в любом смысле – буквально-физиологическом или переносно-истинном. В некотором смысле нас действительно можно считать братьями. Он опекал меня на улице, отчасти – чтобы хоть в этом убедиться в своем превосходстве над образцом для подражания, который вечно болтался у него перед глазами, и я действительно донашивал кое-какие его вещи. Но он дочитывал мои книжки, отставая в чтении от меня тоже ровно на год и не имея шансов когда-нибудь меня догнать. Книжки и журналы родители покупали и выписывали мне, и много-томная «Детская Энциклопедия» была моей, а не его. «Трех мушкетеров» и свежий номер журнала «Знание – Сила» читал первым я. Бранденбургский концерт Баха он прослушал по моему настоянию; и больше его не слушал, что уж говорить об атонических скрипках позднего Пендерецкого. (Музыка для него заканчивается там, где заканчивается классический гитарный рок-н-ролл средней тяжести – энергичная, мрачноватая, в меру агрессивная музыка городского люмпен-пролетариата; что тоже, впрочем, вполне достойно.) И так далее. Эрудицией я щедро поделился с ним из своих запасов.

Я даже думаю, что и учиться он начал лишь благодаря мне. В десятом классе всем телом налег на учебу, чтобы доказать себе, что тоже может не хуже меня. От моего примера ему было не так легко отмахнуться.

Мы ведь росли не в пустыне. Наш двор не был необитаемым островом, и его покровительственное отношение ко мне не могло переходить известных пределов, вступать в сильное противоречие с тем, как ко мне относятся остальные дикари-островитяне, какую ступеньку иерархической лестницы я в их глазах занимаю.

Не сразу это стало очевидным, но я поднялся в их глазах до ступеньки, удобнее и лучше которой для меня и быть не могло.

В раннем детстве я был щедр как истинный повелитель счастливого солнечного царства, в котором мне выпала удача родиться наследным принцем. Я легко раздавал поиграть редкостные диковинные игрушки, которые мне привозил из Мысквы дядя (и ко-



торые редко после этого возвращались к законному владельцу), и зазывал всех подряд к себе домой, чтобы мои родители напоили их чаем. Всегда голодные, эти дети пьяниц уплетали бутерброды с маслом и сыром, радуясь неожиданному угощению. Этой радости они никогда потом не забывали. Добрая половина из них, повзрослев, разошлась по тюрьмам, но им всегда было приятно, выйдя на свободу, при встрече обменяться со мной дружеским рукопожатием. Мы обитали уже в разных и люто враждебных один другому мирах, и наши рукопожатия на миг возвращали бытию утраченную им целостность и полноту. (Иностранцам этого не понять: мы все из одного двора, а они уже несколько веков живут порознь со своим народом.)

Став постарше, я оказался ловким и азартным в играх и вообще более-менее своим во всех поворотах дворовой жизни. Когда мы играли в футбол, так сказать, на выезде, то есть в других дворах, я самоотверженно бился до победного конца, бросаясь на мяч, как тигр, получая синяки и шишки и однажды получив легкое сотрясение мозга. Да я и играл к тому же весьма неплохо, а по настроению – отлично играл. Мне удавались ювелирные навесные передачи через все поле, когда, лишь услышав «Пас!», я на слух выкладывал мяч Медному Купоросу за спину, и ему оставалось только развернуться и приложиться к мячу с лета во всю силу, попав или не попав в створ ворот, не важно. (Вообще-то играть в футбол всерьез, по-настоящему, то есть биться у чужих и своих ворот, не жалея себя, Медный Купорос не любил и не мог – ему не хватало силы и «дыхалки», зато любил и мог красиво выебнуться. Тут он себя не жалел, и на зоне его уважали.) Несясь во весь опор лоб в лоб с таким же самоотверженным молодым дураком, я умел в последний перед костоломным столкновением момент так повернуть в сторону колени, чтобы ему показалось, что мяч уже у меня в ногах, и он бросился бы за моим тающим хитроумным фантомом, а сам уверенно обрабатывал мяч и напролом пер через растерянные оборонительные порядки соперника. Может быть, в футбол я играл лучше всех во дворе, и умение так играть тоже как-то поддерживало мой иерархический ранг на приемлемом уровне, если уж я не в состоянии был поддерживать его более эффективным способом. Наблюдая со стороны за моей

сокрушительной игрой, мои дворовые товарищи испытывали такие же примерно восторг и гордость, какие испытывал я, наблюдая, как дерется Петр.

Я не дрался. В детстве, то есть совсем в детстве, когда я был еще большеголовым нескладным зверенышем, мало чем напоминавшего маленького человека, я еще способен был на здоровую физиологическую агрессию. Мог расквасить чей-нибудь нос и потом долго смаковать плоды победы, всячески помыкая побежденным противником. К исходу отрочества я мало-помалу стал труслив до тошноты. В труса меня превратили общая утонченность натуры и чересчур богатое воображение, слишком развитая способность предвидеть последствия своих поступков. В напряженной ситуации, когда лучшее ее разрешение – прямой удар в наглый подбородок, я впадал в тягостную нерешительность. Мой мозг, оттачивая новоприобретенный навык перебирать гипотетические варианты развития не начавшихся еще событий, перекрывал все каналы связи с исполнительными, так сказать, органами, то есть кулаками, и в тишине гудел, трудился, просчитывал и все никак не мог досчитать-ся до лучшего варианта поведения из необозримого множества возможных. В результате команду к решительному действию он всегда отдавал с большим опозданием, словно в насмешку предлагая мне, униженному и оскорбленному, броситься в погоню за оскорбителем, удаляющимся самой пренебрежительной походкой. Нечего и говорить, что я опускал голову и понуро брел туда, куда незадолго до того бодро шествовал. Гипотетическая возможность погони открывала моему вошедшему в раж воображению такие захватывающие комбинаторные перспективы, что их возбужденное изучение отнимало у меня последние нравственные силы. Я, разумеется, все отрочество мечтал о кун-фу или, на худой конец, боксе, но боксером, слава богу, не стал. Вовремя уразумел, что сильному бокс не нужен, а слабому – не поможет.

Но эти же качества натуры – воображение и утонченность – позволяли мне легко представить и заранее глубоко прочувствовать муки несмываемого позора, в пучину которых я сам же себя и ввергну, стоит мне сделать хотя бы один шаг с поля боя, и по виду моему, кажется, всегда видно было, что я так и буду стоять, парализован-

ный нерешительностью, но лучше дам разукрасить свое чистое умное личико бордовыми фингалами, чем брошу товарищей.

Этого от меня, слава богу, и не требовалось. С меня было достаточно демонстрации, что я на это способен. Если, по агентурным данным, посещения танцев действительно должны были закончиться массовой дракой, меня, кажется, просто не брали. К тому времени было уже не столь существенным, на какой высоте прибита иерархическая ступенька, до которой мне удалось доползти. Важно было, что я обеими ногами стоял на ступеньке совершенно особой, отдельной лестницы. Если задрать голову, на самом верху таких лестниц можно увидеть подошвы Ламарка, Менделя, Эйнштейна, Шредингера, Пикайзена, Ойстраха, Билла Гейтса и чьи там еще. Ни одного из этих имен великодушные дружки моего дворового детства не знали (кроме, пожалуй, Эйнштейна! по его теории относительности, да еще Менделя могли бы спутать с Менделеевым), но безошибочно чуяли, что я намерен высоко еще вскарабкаться по такой же точно лестнице, и ничьего самолюбия это не уязвляло. Мне искренне желали удачи. Меня исподволь оберегали как народное достояние. Я был признан отчасти своим и, значит, призван был представлять от их лица в высших сферах, куда им-то вход был заказан.

По высшей справедливости нам следовало родиться в один день, чтобы в роддоме нас перепутали и его воспитывали мои родители.

---

## 7

---

Нас, слава богу, не перепутали. Имея к тому наследственную прирожденную склонность и хорошую домашнюю закалку (благодаря патриархальным педагогическим воззрениям дяди Андрея), он уверенно осваивал мир, главным образом, в его пространственном измерении. В сущности вел жизнь кроманьонца. Вступал в контакты с разнообразными аборигенами все более и более отдаленных берегов и земель, налаживал с ними меновую торговлю, заключал и расторгал наступательные и оборонительные союзы, и я не удивлюсь, если он признается, что не очень и цеплялся за леера, когда его несло за борт. Я почти уверен, что в Латинской Америке он так надолго задержался не совсем по принуждению. Он шесть лет просидел на берегу и наверняка считал себя вправе, раз уж ему представилась,

наконец, такая возможность, головой вперед броситься в сложную жизнь неизведанного континента. (Толстенький датчанин, оставивший свое имя целому морю и группке островков, сначала тоже долго втолковывал сиятельному, невежественному петровскому вельможам о необходимости разведать восточные рубежи империи. Добившись скудных средств и неограниченных полномочий, он тоже очертя голову бросился на поиски своих неприветливых скалистых островов – своей смерти.) И я точно знаю причину, по которой Петр не женился, заканчивая академию, как строго заведено у выпускников военных училищ на последнем курсе.

Он не связал себя обязательствами, которые не позволили бы ему при случае вступить в ряды каких-нибудь повстанцев, остаться в джунглях врачом подобно новому Швейцеру, отправиться на поиски копей царя Соломона.

Я же погружался в глубины и сокровенные тайны мира, по поверхности которого он так уверенно передвигался. Он шастал по вечерним улицам молодым масаем, выдерживая жестокий ритуал инициации (в условиях нашей цивилизации не всегда предусматривающий выпускные школьные экзамены), а я в это же время суток уже складывал в портфель учебники и тянулся к альбомам по живописи, научно-популярным журналам и книгам по всем отраслям человеческого знания. По мере нашего взросления его тайная ревность к моим успехам на этом пути возрастала с той же скоростью, с какой уменьшалось мое открытое восхищение им. Мы были как две большие аптечные бутылки, соединенные журчащими клистирными трубками: содержимое одной прибывало, другой – убывало (но света и воздуха в ней становилось больше!). Он и во врачю пошел по моим, в каком-то смысле, следам.

Заниматься биологией по-настоящему я стал в девятом классе – пошел и записался в университетский (sic!) кружок биологии (для школьников, разумеется, и подающих надежды). Очень уж хвастать я, может, и не хвастал, но гордился и ощущал себя избранным, призванным, допущенным в некий храм науки, словом – *electus*’ом. Я стал умно говорить, в голосе моем появились особые плавные модуляции, я научился правильно выстраивать фразы и обдумывать и скупое цедить слова, особенно когда меня обуреало желание вы-

валить всё сразу, что скопилось в голове. В чем, собственно, и заключалось всё мое невинное хвастовство. Ну чем мой ум был тогда занят... Тем, к примеру, что приготовление пищи при контакте ее с открытым огнем приводит к пиролизу белка, а пиролиз, в свою очередь, обладает высоким мутагенным воздействием. Если перевести и осмыслить, выходит, что обезьяна стала человеком лишь потому, что научилась есть шашлыки. Еще я рассказывал, как отстригал ножницами голову лягушке. Опыт, явственно отдающий вивисекцией, призван был приоткрыть метафизическую тайну бытия, хотя ножницы, бедная лягушка и батарейка были самыми обыкновенными. Выходило, Господь тоже мог бы гальванизировать глиняного Адама батарейкой, а потом прибеж к партеногенезу, когда из его же ребра сотворял нашу праматерь – такую послушенькую голенькую Еву. Догадываюсь, наслушавшись меня, Петр и дал себе твердое слово учиться так, чтобы поступить потом в мединститут и стать непременно хирургом, чтобы я не смог его переплюнуть, когда подойдет мой черед. Хотел он стать великим хирургом? Вряд ли. Он хотел стать просто хирургом. Это во мне сидела такая идея – стать великим естествоиспытателем природы. Только пропасти между биологией и медициной он не мог видеть. Я стремился понять причину и механизм жизни, разгадать главную мифологическую загадку живой материи – как мертвые холодные молекулы углерода стали цепляться одна за другую и слепились в конце концов в теплого живого человека, а он хотел научиться вырывать венцу и смыслу творения glands всего-навсего.

И тем не менее.

Что он пропал в Тихом океане, я услышал через полторы-две недели, как из штаба Тихоокеанского флота прекратили его поиски. Мои родители были бы поражены моим бессердечием, доведись им увидеть мою улыбку при этом известии. Такая змеиная улыбка раздвинула бы толстые губы Нобелевского лауреата Нильса Бора, если бы при нем лягнули, что постоянная Планка равна единице и, следовательно, незачем иметь ее в виду, клепая бомбу для Хиросимы. Мой названный русский брат был для меня именно такой фундаментальной константой, без которой видимый мир изменил бы свои стройные пропорции до полной неузнаваемости, расплылся бы, как

дохлая амеба на предметном стеклышке микроскопа, захлопнулся бы, как прочитанная и отложенная в сторону книга, как Вселенная, которой не достало первотолчка бесконечно до одури расширяться и она с шумом ринулась обратно к пресловутой сингулярной точке. Я не мог так легко поверить в его исчезновение и гибель.

## 8

Что-то, помилуй бог, делается не то с человеческим голосом, превращенным в электромагнитную волну, колеблющую стоячий неподвижный эфир, или в поток электронов, несущийся по медным проволокам, провисшим над мхами, марями и болотами. В телефонной трубке шипело, поскрипывало, пощелкивало, и вместо родного, глуховатого, осторожного голоса моего отца из нее словно звучал скрипучий голос Вселенной. Как тихо было вокруг Земли, пока Попов с Маркони не изобрели радио, а теперь эфир переполнен нашими радиофицированными голосами и музыкой. Может случиться, однажды наш шум разбудит каких-нибудь злобных демонов пустоты и вместо последних новостей на нас прольется их издевательский шакалий лай и хохот (вышло совсем в набоковском духе). Пока же я расслышал, что Петр нашелся. Связь была плохая, и узнал я об этом словно космонавт с другой планеты. Да так оно и было отчасти: я находился в поселке Алаиховское на крайнем северо-востоке Якутии.

В эти полтора года я был особенно занят и много ездил по «этой стране», как у нас одно время модно было называть Родину; даже русские смели так называть ее публично.

Усоногие рачки, возникшие чуть позже трилобитов и чуть раньше хордовых, за прошедшие с той поры геологические эпохи расплозились по всей поверхности нашего геоида. На новых местах они принялись неспешно мутировать и превратились в благодатный материал для таксономических упражнений. Более поздние организмы слишком хитро устроены, чтобы их можно было столь же легко разложить по полочкам. Чего стоит тот же утконос, покрытый шерстью, как выдра, и несущий яйца, как утка (к чему, может быть, его толкает лишь непрестанное созерцание своего дурацкого утиного клюва; с таким украшением нечего и думать затесаться в высший таксономический разряд плацентарных). Создавая утко-

носа, природа, видно, сама не определилась, какого зверя лепит. В междуречье Индигирки и Нижней Колымы основным мутагенным фактором для усоногих стало повышенное содержание в речной воде связанных окислов цинка, вымываемых из осадочных пород позднего мела, и я непременно должен был побродить по их берегам, чтобы убедиться в этом лично: в том, что дело именно в окислах и, во-вторых, что давно известные науке усоногие не превратились во что-нибудь совершенно другое, то есть все идет пока, как оно и раньше шло, и, значит, можно пока не ждать от эволюции какого-нибудь катастрофического сюрприза. Ну и мне еще не приходилось бывать в Якутии, и я хотел увидеть желтые кроны ее чахлах полярных лиственниц, широкие петли ее северных рек, разбросанные по осенней тундре, красной от поспевшей клюквы, ее тяжелые облака, клубящиеся над побережьем, мокрые утесы, отделяющие ее от холодных соленых вод Ледовитого океана.

Выслушав радостное известие, я попрощался с отцом, покинул переговорный пункт и, петляя по лужам, направился к условленному месту, где меня ждал вездеход. Экспедиционная жизнь дает редкостную возможность пройтись по родной стране легким шагом беззаботного иностранца, приветливо поглядывая на озабоченных аборигенов в грубых, тяжелых, темных одеждах, вышедших к фактории за патронами, крупами, солью и спичками. Приняв меня на борт с моими сачками, пробирками, реактивами, палаткой и спальным мешком, вездеход взревел, крутнулся и, лязгая гусеницами, быстро и плавно унес меня в тундру. Я даже и не вспомнил о Петре, вернувшись через месяц домой и заскочив к родителям.

Будь у меня больше времени, я успел бы опомниться. Но я был захвачен врасплох, ожидал увидеть бородатого Миклухо-Маклая, жадно косящегося на душистую буханку ржаного хлеба, или сэра Фрэнка Чичестера, в долгой одиночной кругосветке утратившего способность дослушивать до конца любезные вопросы молодой вежливой королевы.

К возвращению сына тетя Валя подготовилась как могла – перекрасила квартиру до неузнаваемости. По полу протянула нарисованную красную ковровую дорожку с зеленым рантом, а стены покрыла большими ромбами – салатными и нежно-розовыми в



строгой геометрической очередности; в центре каждого салатного ромба по трафарету был наляпан цветок, долженствовавший изображать собой чайную – непременно чайную! – розу, в центре каждого розового – зеленый кленовый (почему-то) лист. Я едва не задохнулся от этой жуткой подмены. Такой же подделкой под дизайн и подлинность отдавали плотные бордовые шторы с кистями, скрывавшие облупленный оконный переплет, персидский ковер на стене, потихоньку источавший под себя ядовитые синтетические ароматы, полированные поверхности серванта, подделывавшиеся под цельное дерево; в сущности и вся жизнь тети Вали под известным углом зрения выглядит подделкой. (А ведь тоже любила, страдала, радовалась, сокрушалась, надеялась!)

А он ведь совершил целое кругосветное путешествие! И странным же взглядом он должен был смотреть вокруг себя в первые дни дома.

– Красиво у нас в поселке стало, – заметил он, неловко сидя на продавленном диване. На этом диване мы с ним возились, как щенки, опровергали принятый ферзевой гамбит, листали журнал «Техника – молодежи» с опровержением заманчивой и вечной идеи *perpetuum mobile*. Но это все было в прошлой жизни, и вот он вернулся на этот же диван Колумбом, вместо Индии с алмазами и перцем, открывшим какую-то Америку с табаком и картошкой.

Я предложил «подвигать пешки», и мы сыграли. Он вяло переставлял фигуры с места на место и прозевал элементарную «вилку» конем. Никакой радости победа мне на сей раз не доставила. Вот ведь: передо мной сидел человек, при непосредственном участии которого меня скоро безжалостно обокрадут – подсунут отгадку главной загадки живой материи, а я досадовал, что ему неохота подрывать мой пешечный центр!

В нашем рабочем поселке действительно стало красиво той осенью. Засохшие старые тополя, не вынесшие ядовитого дыхания близкого комбината, повсеместно спилили под корень или обрезали по высоте живого ствола, и вдруг обнажились стены и неповторимые очертания каждого отдельного дома, улицы вновь обрели направление и перспективу, главная поселковая площадь Трудовой Славы оказалась цельным, завершенным, легко обозримым архи-



тектурным ансамблем в стиле советского конструктивизма с его любовью к плоским кровлям, высоким аркам и застекленным апсидам, а старые дома помолодели и посвежели, как побритые старики. Даже «дом над хлебным», загаженный жильцами-подонками, посвежел. Оказалось, что у него тоже имеется своя физиономия, если смотреть на него издалека, не принимаясь к нему и не всматриваясь в трещины на его штукатурке, и место в пространстве.

Напротив него некогда был разбит детский сквер со скамейками, качелями, вертящимися дощатыми кругами, на которых так трудно было устоять на ногах, борясь с центробежными силами, и гипсовыми оленями, к шершавым спинам которых так хорошо было прижиматься животом, замирая от страха высоты; наши матери вели нас в этот скверик по очереди, пока мы были совсем маленькими. Теперь, когда тополя спилили, перед домом открылась обширная, неровно занесенная первым снегом пустошь, иссеченная черными тропинками меж тонких белых березок, и дом стал виден во всей грандиозности, как многопалубный, многомачтовый, многопушечный фрегат, вернувшийся в родной порт, когда о нем уже забыли все, кроме безутешных черных вдов. Да и сам порт давно заброшен, и меж пустых пакгаузов с выбитыми дверьми проносится и воет ветер. Весной тополиные обрубки под давлением соков, качаемых насосами мозолистых корней, сплошь обросли толстым диким листом и стали походить на какие-то мексиканские кактусы.

---

## 9

---

Это я посоветовал ему купить участок в Уточкиной, через два участка от нашего. По-соседски заглядывая иногда к нему, я и познакомился с Маргаритой, Василием, кержаком Евстихием, Косым и мало ли с кем еще.

Какое-то время он меня по-прежнему не подпускал к себе. Когда ему нужно было в город или требовалось что привезти, он принимал мою помощь как должное, но по дороге мы болтали о всяких пустяках. Долго так продолжаться однако же не могло. Однажды поздно вечером он зашел ко мне, я как раз был один, приехал тоже копать землю под картошку. У него имелся ко мне один вопрос, ответив на который я превратился из постороннего в заединщика.

– Вот смотри, – начал он, затаивая взгляд. – У меня отчество Ан-

дреевич. Значит, моего отца зовут Андреем. У тебя отчество...

– Дальше давай! – я отдышал и резвился.

– Как звали отца человека, у которого отчество Мирликиевич?

Кого же еще ему было спрашивать? На кого еще он мог хоть как-то положиться, чтобы рассказать, как оно все осуществлялось на самом деле?

Единственное, о чем он рассказывает темно и неясно – как они выбрались из каменного мешка под перевалом Уонкайо. Подозреваю, не было никакого полковника де Вива, перевала и глетчера, а есть тайна и клятва ни перед кем не приоткрывать ее завесы. Я надеюсь когда-нибудь за нее все же заглянуть.

Очень надеюсь также увидеть настоящую, подлинную атлантическую колесницу, а не эту детскую игрушку.

---

## 10

---

Откуда во мне, «рожденном в СССР» (в рабочем поселке, точнее), такая тяга к знаниям и что мне за дело до исторических судеб русского народа?

Неугомонному племени торговцев, мелких ремесленников, ростовщиков, брадобреев и лекарей, книгочеев и мистиков, с опаской, но неуклонно проникавшему в Сибирь, уклад жизни за Уральским хребтом приходился очень по нраву. Русские в Сибири в восемнадцатом веке были очень немногочисленны. Общество в редких городах образовывалось самое смешанное. Обширность края, губернатор коего простирает самовластную длань над доброй половиной континента, грандиозность трудов по его освоению, окружение диких лесных инородцев, не всегда мирных, редкость образованных людей стирали сословные границы совершенно. Сыновья землемеров высматривали невест на балах у городского головы, не чванясь своим разночинством. Пылкие поляки, последние рыцари Европы, ссылаемые в Сибирь после своих трагических восстаний, вхожи были в лучшие дома. Жертвы несчастного обольщения, что ростки конституционализма, насильно пересаженные с унавоженных просвещением нив Европы в наши скудные почвы, дружно примутся и дадут такие же обильные всходы и полезные плоды, вызывали всеобщее сочувствие. Проезжающего ученого-путешественника принимали как особу королевской крови инкогнито (если, разумеется,

у того хватало ума избежать подозрений, что он ревизор; тогда его принимали еще пышнее). Хлебосольство принимало размеры лукулловские. Пельмени – излюбленная пища сибиряков – лепились мешками, пироги с осетриной выпекались в невероятных количествах, медовуха варилась бочками. И горе было гостю, не выказавшему за столом достаточного усердия! Оскорбленные в лучших чувствах хозяева могли надавать такому тумачу, чтобы понудить его отдать должное кухарке. Черта оседлости (злосчастная полицейская мера, призванная охранить простодушного русского земледельца от пронырливого жида, но тем вернее приведшая империю к гибели) за Уральский хребет не распространялась. Лепная звезда Давида ни у кого не вызывала желания спалить синагогу. История для сибиряков начиналась с Ивана Грозного и Ермака, и никому не приходило в голову крикнуть: «Христа продали!» Перед вечными изгоями европейской цивилизации открылось самое обширное поле деятельности, и они принялись деятельно его возделывать: торговать, шить одежду, скорняжничать – и дышать вольной грудью, забывая по субботам выяснять отношения с тем, кто посулил им землю обетованную, но вместо того рассеял их по лику земному. (Вот где бы приплести упертого Иова, но куда-то я его уже успел нехстати приплести раньше.) Впервые, может быть, в своей много-тысячелетней истории они оказались такими же пришельцами, как и все, кто их тут окружал, отчего их расовые предрассудки скоро уничтожились за ненужностью сами собой. Дочерей они всегда охотно выдавали за знатных гоев: сыновья от таких браков могли унаследовать от отца титул кагана, оставаясь по матери все теми же прямыми потомками Авраама; в Сибири чести быть еврейским зятем мог удостоиться каждый. Они даже стали позволять сыновьям жениться на шиксах, к чему издавна питали стойкое предубеждение: со времен Соломонова многоженства всякая жена не еврейка подпадала под подозрение, что она тут же начнет науськивать еврейского мужа против иудейского Бога в пользу какого-то своего местного языческого божка. В особенной степени склонность к смешению с русскими свойственна была небогатым представителям этого древнего племени. Толерантность – мимикрия слабых и гонимых – толкала их искать избавления от вечного вавилонского

пленения, смешиваясь с вавилонянами. С каждым новым поколением они все больше растворялись в них, перенимая имена, нравы и занятия русского народа, теряя сопричастность к пышному родословному древу колен Израилевых, к запутанной истории пророчеств, явлений, видений, гонений и мстительных побед, которая зовется Ветхим Заветом. Неистребимую уверенность, граничащую с фанатизмом самого изуверского толка, что долг родителей – дать детям самое лучшее образование, они, тем не менее, как-то сохранили, да еще, пожалуй, некоторое остаточное пренебрежение к физическому труду.

В каком-то смысле я тот же утконос, сомнительное существо, равно чуждое птицам и зверью, наделенное клювом и шерстью, но могущее только мечтать о крыльях и клыках. Женские имена Муза, Руфина, Капитолина, Бронислава исчезают из наших семейных преданий два поколения назад; Соломоны и Моисеи никогда в них, кажется, и не водились; родственники по мужской линии кажутся мне исконнее таковых по женской; мои дядя и деды всех степеней родства – техники и инженеры, они строили «Транссиб» и самые большие в Сибири заводы, двоюродный дядя создавал первый в Сибири Центр метрологии и стандартизации; мои тетки и бабки – учительницы математики, русского языка и географии; смешно: ни одной учительницы музыки среди них не отмечено, меня даже не мучили скрипкой! Без грузного светила гинекологии в моей родословной тоже, впрочем, совсем не обошлось. И каким же подлинным, неподдельным, трагическим семитом был мой троюродный дед! Зловещее «врач», так напугавшее русского человека во времена холерных бараков, по отношению к нему превращалось в жалостливое «женский врач», внушавшее снисходительность к деду и суеверный ужас перед его занятиями. Благодаря этому счастливому обстоятельству дед, начав практику при царе, столь же успешно практиковал при Керенском, Колчаке, большевиках и коммунистах. Хоронили его при развитом социализме. За гробом его шла добрая половина женского населения города, излеченная им от страшных для мужского уха «женских болезней»; на могилу его долго приносили живые цветы.

Увы, не дети их приносили. Детей у деда не было; для чадолюбив-

вого семита – поистине кара божья! Дед взбунтовался. Он не пожелал признавать неполноценность своих яичек и принялся щедро распространять свое семя среди многочисленных любовниц, разнообразных красавиц. Попытки его повторить опыт Авраама<sup>1</sup> оказались однако тщетными: или семя его оказалось-таки бесплодным, или любовницы предохранялись. Законная супруга сносила их стоически, и три из них пришли проводить деда в последний путь. Легкомысленная молва записала в их число саму Тинскую, легендарную красавицу и достоверную богачку. Первые наши фотографии ради нее игнорировали отцов города и живописные ландшафтные виды его окрестностей, не тронутых урбанистической цивилизацией. Офицеры из-за нее стрелялись на дуэлях. Под занавес своей долгой жизни она указала гэбэшному оперу на мужской носок у порога, битком набитый золотыми царскими червонцами. В куче осклизлых тапочек и потертых туфель носок лежал якобы на тот случай, если бы грабить ее пришли старорежимные брезгливые урки. Фамильные же бриллианты хитрая еврейка хранила в другом месте, да и червонцы засунула в грязный носок перед самым приходом опера.

В год смерти деда я едва ли еще просился на горшок, и для меня его фигура была поначалу столь же мифической. Но еще через шесть лет моей жизни величественный миф материализовался. Материализация была по печальной необходимости лишь частичной. Будучи последовательным материалистом, из мертвых дед не восстал и не являлся в виде прозрачного призрака, зато однажды меня подпустили к его библиотеке. В семилетнем возрасте читал я уже бегло, о чем тетя Броня, вдова, после смерти деда так недолго исполнявшая роль хранительницы его библиотеки, была, разумеется, загодя осведомлена. При жизни деда жизнь ее была заполнена ревностью, заботами, хлопотами, гордостью, овдовев, она добровольно приняла на себя миссию опекать подрастающее поколение городских соплеменников. Вряд ли меня специально приводили предъявлять матриарху, но тетя Броня с умилением наблюдала, как еще один маленький, глазастый, чернявый, смышленный еврейчик тянет ру-

---

1       Первенца Исаака Аврааму родила египтянка Агарь, раба его законной жены Сары. Сара, будучи до временной бесплодной, сама отправила супруга к своей рабе (Быт. 1.6.).

чонки к суперраритетам вроде «Птиц Америки». «Птицы Америки», трехтомное собрание изумительных гравюр метр на восемьдесят, увидевшее свет в 1875 году тиражом сто двадцать пять экземпляров, оцениваемое сейчас в сто тысяч долларов за каждый том, хранились, впрочем, в особом недоступном шкафу. Мне под руку подвернулся учебник зоологии. Листая его, я и увидел потрясающую картинку, иллюстрацию, поразившую мое воображение и, может быть, решившую мою судьбу. Быстро-быстро пошевеливая мелкими усиками под долгим рыльцем, покачивая удивительными толстыми усами во лбу, с кончиков коих в мутные илистые толщи зорко пялились тусклые улиточные глазки, грозно пронося две мощные зазубренные клешни, по песчаному речному дну с редкими камешками продвигался на членистых ножках тщательно препарированный рак, равнодушно демонстрируя мне свои плотно скрученные бесцветные рыбы внутренности. Вот откуда моя первая лягушка с собственноручно отстриженной головой, утыканная электродами. (Вспомнилась Персиковская лягушка – но это другая, параллельная лягушка! – что ж делать, если будущим зоологам в наших широтах приходится кромсать вялых лупоглазых квакушек: огнеупорные саламандры у нас не водятся.) Но библиотека скоро погибла. Тете Броне приспичило совсем уж затесаться в древнейшую расу. Чтобы улечься в каменистую, тяжелую, глинистую чужую землю, она распродала библиотеку и убралась на историческую родину в первой волне (а то, может статься, я стал бы филологом, или античником, или талмудистом). Произошло это году в семьдесят втором. Под раскаленными палестинскими небесами стало на одну усатую старуху, ровесницу кровавого века, зачем-то больше, а книги, любовно и тщательно подбиравшиеся одна к другой на протяжении жизни трех поколений книгоцеев, сохраненные в революционных бурях, красных террорах и партийных чистках, разлетелись по чужим рукам, как осенние листья. Ну не символично ли: неугомонные семиты, оплодотворившие европейскую культуру идеями монотеизма и мессианства, деятельно интриговавшие при всех европейских дворах, мешавшиеся во все бунты и революции, ссужавшие деньгами всех завоевателей и сами повоевавшие, творившие шедевры во всех искусствах и кучу чего наоткрывавшие во всех науках, сохранив-

шие себя во всех гонениях и погромах, так и остались рассеянными по всей ойкумене; кроме той ее, разумеется, области, что заселена монголоидами. Все же остальные мои умершие достоверные родственники нашли упокоение в мягкой, прохладной, печальной русской земле, и не наблюдается пока, чтобы кто-нибудь из моих живых теток, дядей, братьев, сестер и племянников намеревался этому обычаю изменить. Так что Вечный огонь для меня святыня, а Стена Плача – культурно-историческая ценность; непричесанные березовые колки мне роднее стройных сикомор; патриотические контры Гостомысла с Рюриком понятнее гедеоновой мстительности (долго же ему пришлось допекать своего Бога требованиями знамений, чтобы отважиться на гарантированное убийство неразличимых Орива, Зива, Зевея и Салмана, князей и царей мадианитянских); словом, Россия – моя единственная Родина и другая не грезится. Но скажите на милость, как мне скрыть высокие надбровья, по козлиному блудливый разрез глаз, выдающийся дерзкий нос с высокой сухой переносицей, жесткий волнистый волос, средиземноморскую живость и предприимчивость натуры и жену-еврейку, умницу и пылкую красавицу? Частенько все же в последнее время сквозит в обращенных на меня взглядах немое сомнение, почему я еще здесь. Словно чем старше я становлюсь, тем больше я, сибирский еврей из беспородных, должен ненавидеть землю, на которой вырос, и презирать людей, которые почему-то считают ее своей.

Но странные же, должно быть, сомнения читаются во взглядах, изредка бросаемых на вас мной!

*(Март 2003 г., г. Улан-Удэ, пивной бар «Мир игры».)*

---

## 11

Как можно себе представить, команданте Родригес равно верил в перманентную революцию и провидческую силу индейских шаманов. Нас не должно удивлять такое смешение романтического коммунизма, требующего незамедлительно приступить к переустройству мира, и экстатического язычества, требующего прежде соотнестись как-нибудь с иными сферами бытия. Подобной эклектичностью отличается мировоззрение всех мыслящих людей, жи-

вущих на этом далеком континенте, переплавившем в себе, как в огромном тигле, такое множество рас, культур и религий. В чем же еще им искать начало своего особого третьего пути, как не в истоках своей неповторимой культуры и национального своеобразия? Путь нахрапистых, самодовольных гринго требует отказаться от живых слез Девы Марии ради неживой трудовой этики рассудочного немца Лютера, а ортодоксальные марксисты, прорубившие себе второй путь сквозь исторические джунгли, подослали к пламенному трибуну Троцкому хладнокровного упыря Меркадера с ледорубом (а потом заслушались лупоглазого вурдалака Барбулиса и впали в ревизионизм).

Если бы вместо Латинской Америки Петр оказался в Черной Африке, он мог бы легко избавиться еще от одного прирожденного заблуждения, коего не избежал сам Чарльз Дарвин, побывавший недалеко от тех же мест на незабвенном «Бигле», имеется в виду – на Галапагосах. А именно, что негр – это есть промежуточная ступень между обезьяной и человеком. Это не так. Современной наукой достоверно установлено, что первой человеческой женщиной была негритянка, говорившая на каком-то из койсанских языков. На этих языках до сих пор говорят африканские пигмеи, племена к'унг и в горных районах Эфиопии. Для койсанских языков характерны щелкающие звуки. Подкидывая в светлых ладошках сочное румяное яблоко или, вероятнее, зеленое кожистое авокадо, наша черненькая, маленькая, грацильная праматерь Ева пощелкивала, как козодойка, соблазняя черненького Адама.





## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### I. НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ

#### 1

Мыска... В ней Петр бывал проездом неоднократно. Стилица всегда открывалась перед ним по-разному. В детстве, по пути к тетке на Харьківщину, – шоколадным эскимо в золотинках, задранными соплами ракеты «Союз» в навечной предстартовой готовности и там же на ВДНХ – открытыми экскурсионными вагончиками на электрической тяге; вагончики беззвучно укатывались с обширной площадки за входными арками, чтобы быстро зазмеиться меж павильонов, полных механических чудес и диковинок, и искусственных прудов, обсаженных плакучими ивами. Экономные родители без колебаний проигнорировали такое заманчивое для мальчишки средство передвижения.

В отрочестве Петр побывал в Мыске в составе тургруппы отличников и надолго очаровался длинными и плоскими американскими машинами у «Интуриста», послушно подивился нечелове-

ческим статям замшелой богатырской троицы в Третьяковке и до самой глубины ранимого мужаящего естества был оскорблен обнаглевшим негром: черный пёр по тротуару, намеренно выпуская сигарный дым в лица встречных белых девушек.

Позже, в пору юности и первой мужской зрелости Петра, когда могучая советская империя на глазах рушилась и на ее свеженьких развалинах засуетились энергичные некрасивые люди с неумными лицами, в эту пору лукавые мысквички задумчиво посматривали на его курсантские нашивки, взвешивая на невидимых девичьих весах достоинства своих прелестей и скуку гарнизонной жизни среди унылых заполярных пейзажей; замызганные молдованки в метро с усилием протягивали ему под видом спящих младенцев грязных мальчишек, одурманенных жарой и неподвижностью («Мэй, мэй, Ионица, где же твой Плуговаш?»); бледные, как поганки, молоденькие продавщицы, вынужденные стоять за пустыми прилавками государственных магазинов, смотрели на него побелевшими от вселенской ненависти глазами – молоденькие дурочки ненавидели всякого, кто жил другой, полной и красивой, жизнью и требовал, чтобы ему показали полосатые плавки пятьдесят четвертого размера; и для него же барабанил и дудел диксиленд у входа в самый центральный мысковский магазин. Приезжая деревенщина на стоптанных каблуках, потерянная и подавленная, мрачно слушала развеселое обезьянье зуденье и с каменными лицами метала, метала, метала красные тогдашние червонцы в кривой футляр от кривой негритянской трубы.

Посматривая на пряничные маковки и шатры Василия Блаженного, бросавшегося собачьим (или своим) калом в грозного царя, Петр прошел по брусчатке древней Красной площади. По ней в окружении сиятельной шляхты вскачь проносился любитель конского ристания Гришка Отрепьев в блестящем польском доспехе; степенно проезжал молодой, оробевший, ликующий Михаил Романов в царственных бармах, любитель ботвиньи и стерляжьей ухи; здесь же его внук, свирепый эпилептик с круглыми глазами навывкат, облаченный в коротковатый ему стрелецкий кафтан, рубил саблей буйные стрелецкие головы, пьянея от крови, как турок; а еще позже курносые мужички сваливали здесь же в гремящую кучу гордые тевтонские штандарты. Потом

Петр поскорее миновал тесное устье Нового Арбата (гірло, как говорят малоросы, любители проталкивать себе в гірло галушки и вареники в сметане), проник равнодушным взором сквозь высокие, холодные, строгие стены здания Минобороны (генералы которого с таким олимпийским равнодушием попытались решить его судьбу, разлучив его с морем) и вышел к легендарному ресторану «Прага». После мешка чеченского гексогена ресторан был в строительных лесах. По лесам с мастерками в руках расхаживали чернявые югославы в синих комбинезонах и задумчиво напевали старинный десятерц о Марко Кралевиче, Бано Страхине и Черном Арапине:

Клета му е душа и проклета,  
Който майка си не слуша...

---

## 2

---

Посредине подземного перехода под Арбатской площадью заливался баян, и осипший мужской голос слабо выводил в шаркающем полумраке:

По танку вдарила болванка –  
Прощай, любимый экипаж:  
Четыре тру-упа-а возле та-анка  
Украсят утренний пейзаж...

В черные недра бездонного футляра Петр, нагнувшись, положил пятьдесят рублей.

– Выпей за моего деда, – попросил он.

Растягивая потертые меха, баянист склонил набок сухое острое птичье личико, прислушиваясь к постукиванию клапанов и движению струек воздуха по сложным деревянным внутренностям старого инструмента.

– Его звали Тимофей Луверьянович Сабашников, – сказал Петр, ему почему-то было очень важно, чтобы баянист выполнил его просьбу. – Он сгорел под Варшавой в танке.

– Сибиряк? – уверенно предположил баянист, наяривая фиоритуры.

– Сибиряк.

– Бурят, значит?

– Почему обязательно бурят?  
– В разведку с ними, говорят, было хорошо ходить: надежный народ. Ночевать-то есть где?

– Найду.

Баянист оборвал проигрыш, поднял на Петра жесткий острый взгляд, какой бывает у старых прапорщиков и строительных прорабов, и, не понижая голоса, предостерег:

– Ты смотри, сибиряк: Мысква-то не любит бездомных, ох не любит! Она их нюхом чует. Плохо сейчас в Мыске бездомному. Давай еще десяточку – я тебя устрою к своей марухе на ночь, да ей еще бутылочку для знакомства. Бабу не требуется?

– Не требуется, – Петр повернулся уходить.

– Да ты погоди, погоди, сибиряк! – спохватился баянист. – Что ж ты сразу не сказал? А то вид у тебя, знаешь...

Петр задержал шаг.

– Какой у меня вид?

– Известно, какой, у меня глаз наметанный. Тут много мимо меня разного народа проходит. Дома-то тебя кто ждет, или ты из этих, из нынешних?

Петр был все-таки человек действия и поступка и не имел привычки и навыка смотреть на себя со стороны. Сейчас ему самому странно было осознавать себя, что вот он идет по Мыске со скальпелем в кармане.

– Я не из этих. Дома меня ждут, и я к ним вернусь.

– А ну как узнают? Примут такого-то? – усомнился баянист, соображая что-то про себя о стоявшем перед ним молодом мужчине с решительным лицом.

– Примут.

– Вот и хорошо, – легко согласился баянист. – Ты подожди меня, подожди: я тебе пригожусь.

Скребя ногтями по дну футляра, он бормотал:

– Ты думаешь, я из-за денег тут играю? Для денег я только до обеда играю...

– Не берешь денег после обеда?

– Почему не беру? Беру, если дают. За душу зацепило, значит.

Закинув тяжелый футляр за спину, баянист вприпрыжку заковылял

за быстро пошедшим Петром.

– Да ты не беги так, сибиряк, не беги! – задыхаясь, попросил он.

По широким пологим ступеням они поднялись на поверхность. Милая, нежная, переменчивая среднерусская атмосфера набухла влагой, собирая завесы мелкого дождика. Небо посерело и снизилось поближе к земле, в воздухе сильно и свежо запахло мокрой листвой. На перекрестке, сворачивая на Большую Басманную, притормозил, содрогаясь от мощи, огненно-алый японский мотоцикл Honda Fierblade XR-1.6.00SW Super Stream. Баянист пауком метнулся к краю тротуара и прицельно харкнул на маленькое переднее крыло с раздвоенной синей молнией. Мотоциклист в глухом черном шлеме перещелкнул педалью, выкрутил газ, мотоцикл взревел, оторвал от асфальта колесо и, взревая и порывая, умчался, дьявольски лавируя в потоке.

– Я с утра ложку кислоты выпиваю для ядовитости, – с деловитой гордостью циркача-канатоходца похвастал баянист.

– Соляную пьешь? – Петр с симпатией разглядывал редкую седую поросль на его пергаментном черепе.

– Серную: соляная крепости не дает. От серной, если сразу не вытрет, всю краску ему проест.

---

### 3

---

Кажется иногда, что всякий старый и большой город продавливает поверхность земли и евклидово пространство заодно. Если веками неспешно строиться и строиться на одном месте, чутко принаравливаясь к тенистым лощинам, сухим косогорам и петлистым коровьим тропам, то никакие правильные генеральные планы и реконструкции не смогут потом преодолеть инерции живой жизни, упрямо сокращающей расстояния перелазами и кривыми переулками. Однажды зачавшись как живописное сельцо какого-нибудь летописного боярина Кучка, город, в полном согласии с природой, не признающей прямых линий, так и растет дальше вширь и вкось по какой-то хитрой неевклидовой геометрии, с каждым десятилетием все прочнее и глубже укореняясь в ландшафте искривленными улицами, неожиданными тупиками и запутанными коммуникациями, многие из которых уже и неизвестно откуда и куда тянутся под землей заброшенными туннелями, провисшими мокрыми кабелями и проржавевшими трубами (к несказанной радости диггеров,

новых троглодитов в АЗК и касках). Проведя Петра метров триста по широким панелям Нового Арбата, баянист затянул его в узкий Трубнический, как гласила угловая табличка, переулок, сплошь заставленный машинами, так что непонятно было, как они намерены потом разъезжаться, и вдоль глухой кирпичной стены свернул еще дальше во дворы к детским площадкам, гаражам, кустам сирени, трансформаторным будкам и снова площадкам.

Определенных планов, как скрадывать Лумбу, у Петра не было, и он пока послушно шел, куда ведут. Это был не тот случай, когда стоит лезть кривой отверткой в хитрые шестеренки темных уклончивых причин и ясных твердых следствий или с дурацкой недоверчивостью шевелить палкой тенёта судьбы, развешанные, может быть, для просушки.

– Приглянулся ты мне, – заверял его баянист, через каждый шаркающий шаг подкидывая и поддергивая на скособоленном плече ремень тяжелого футляра. – Ты слышь-ка, сибиряк: невеста тебе не требуется – всерьез или так, поджениться, а? Без бабы тебе трудно будет: ты мужик в соку, на сметане вырос, сразу видно. Да ты не думай, что кривую, или горбатую, или еще какую: красавица, в школе отличница была, в фирме работает. Заделаешь ей пацаненка и езжай обратно к себе на заимку, а?

– Своих женихов не хватает? – Петр недоверчиво покосился на баяниста.

– У тебя порода другая. Ростом-то ты помельче будешь, зато у тебя скула длинная. А наши прут, как картошка на навозе: в ведре много, а на вкус – вода водой. Сначала в Америку все хотели удрать, музыку ихнюю ловили, жвачку жевали, дудочки с мылом носили, а теперь мечтают, чтобы их сразу тут на корню скупили. На кого Россия останется? А тебя солить не надо, кровь у тебя густая, сразу видно. Ну так как? Девка – красавица, кровь с молоком, ей сейчас самая пора: знаешь, какие они об эту пору горячие – ух! только тронь ее!..

В Уточкиной Петра ждали Люся со Светой, а по его квартире в кварталах босиком, покачивая бедрами, расхаживала Небесная. Петр вспоминал ее сейчас с тоской и болью в сердце. Так же она расхаживала по холодной пещере высоко в Андах, словно не замечая маленьких лесных индейцев из Сьерры, вооруженных копьями и каменными то-

порами, и притихших повстанцев с автоматами. (Ну если и не высоко в Андах, пускай внизу в джунглях, между первобытными хижинами подобно жертве авиакатастрофы, подобранной и спасенной сердобольными дикарями. За такую жертву ее Петр первоначально, скорее всего, и принял и, может быть, порывался оказать ей врачебную помощь.)

Петр отрицательно покачал головой.

– Сам смотри, – кивнул баянист. – Тебе виднее... Ну и что? Еще одна будет. Будет где переночевать, когда в другой раз приедешь, если, конечно, китайцы выпустят. Вы там, я слышал, обратно к китайцам хотите? Зря. Ихний Чингисхан по тележному колесу всех ровнял: кого по колено, кого по плечи, а кого и по пояс, чтобы одни младенцы, значит, остались. Зверюга. Тыщу лет, говорит, будете жить по моей ясе. Ты там у себя не слыхал, что это за яса такая?

Вопрос был задан без той особой вкрадчивости, предвкушающей заранее известный ответ, которая выдает в вопрошающем тонкого диалектика или безумного. Да сумасшедшие и не имеют обыкновения спрашивать. Ослепительное знание обо всем на свете мгновенно и восхитительно само собой вспыхивает в глумливых безднах их пошедшего в разнос неокортекса прежде, чем в нем замкнется условно-рефлекторная дуга между двумя неглубокими извилинами: между третьей сверху в правом височном сегменте, в зоне Вернике и Брока, которая порождает тревожащее ощущение недостатка информации, и второй снизу в левой лобной доле, в которой гнездится вопросительная интонация. (Топография неокортекса приведена по Лайму-Вандерхузе. – Авт.) Сумасшедшим нет нужды спрашивать. Они и так обладают самым полным и совершенным знанием, не допускающим сомнений и не нуждающимся в подтверждениях. Какие могут быть сомнения, если у тебя в голове уместился как-то весь мир со всеми его чудесами и тайнами!

– Чингисхан был монголом, – Петр уже жалел, что связался с нечитанным сумасшедшим; сумасшедшим баянист, конечно, не был, но так Петру проще было его про себя называть.

– Монголом?..

Мимолетное удивление растаяло в голове баяниста, как пар над горячей чашкой, и он мигом подвел китайцев и монголов под обший знаменатель:

– А все едино: от обезьяны пошли.  
Помимо его воли на лице Петра выразился интерес.

---

## **МЫ – НЕ ОТ ОБЕЗЬЯНЫ**

### *Рассуждение баяниста об антропогенезе.*

– Тут все дело в обезьянах, а они бывают разные, – начал баянист.  
– Маленькие, которые бегают по веткам, называются мартышки. От мартышек пошли вьетнамцы. Когда вьетнамец ловит обезьяныша, вьетнамка таскает его как ребенка и дает ему титьку, и из него вырастает маленький вьетнамыш, только немой. Они дают ему имя и учат лазать за бананами.

От вьетнамцев пошли корё, монголы и китайцы. Монголы пьют жеребьячье молоко, и за это китайцы их не любят. От монголов пошли индейцы, от корё пошли корейцы, а от китайцев пошли японцы. Японцы тоже не считают китайцев и корейцев за людей и убивают их палками, если попадутся, или возят в клетках.

Есть еще средние обезьяны. У них тоже хвост, но морды собачьи. Они живут в Африке, лают, как собаки, и воют на Луну, как волки. Это бубины. От бубинов пошли какие-то песьеголовцы, но их выжили из Африки негры.

Негры пошли от больших горилл. Когда негр убивает гориллу-мужика, он говорит: «Прости меня, черный отец, я съем твою печень», а с гориллами-бабами негры живут как с женами, и у них рождаются настоящие говорящие негротята. Эти гориллы – очень умные, почти как мы с тобой, хоть и обезьяны, и могут разговаривать руками, как немые, если научить. Одну научили и назвали ее... не помню...

– Ей дали кличку Уошо, – подсказал Петр, скучая: о говорящей обезьяне он читал в добросовестном советском журнале «Наука и Жизнь», который не врал.

Баянист принял его слова к сведению без всякого внутреннего протеста; точно – не сумасшедший.

– Ты тоже знаешь, – удовлетворенно сказал он. – Ну, научили ее, и она давай сразу бананы просить и ругаться по-немому, если не



дают. Но умняющая. Увидела в небе самолет, показала на него пальцем и просит: «Покатай меня на этом». Сама сообразила, представляешь? Ну, поговорили так с ней о том о сем, посмотрели на нее, да и спрашивают: «Ты кто?» А знаешь, что она ответила? «Я отличное животное горилла!» – вот что. Тоже, значит, понимала про себя. Ну, тот, кто спрашивал, пришел, значит, вечером домой и застрелился: понял, кого он держал в клетке – почти такого же человека.

Петр не стал возражать, и баянист продолжил:

– От негров пошли черноногие французы: есть французы, которые пошли от армян, а есть с черными ногами от негров. Черноногие французы жили сначала в Алжире, а потом их выгнали оттуда арабы. Эти, которые с черными ногами, в футбол хорошо играют, вот почему французы стали чемпионами.

Есть еще носатые обезьяны. Они живут на острове в океане, называется... Калиман... Килиман...

– Мадагаскар.

– Ну, или так. (Опять ведь просто принял к сведению!) Они ходят на задних лапах животом вперед, ручонками так размахивают! И нос у них завернут вниз, как у нас, чтобы вода в ноздрю не попадала: они ходят, где мелко, и ныряют за ракушками, как утки. А у нас обезьян нет, и мы пошли от медведей. Если с медведицы содрать шкуру, она будет, как голая баба с двумя титьками. Вот почему русских не любят – завидуют. Что хорошего произойти от обезьяны? Знаешь, что сказал об обезьяне Римский Папа? «Генрих, – сказал, – хоть ты и римский император, не смотришь в зеркало, как женщина, а то увидишь обезьяну, сатанинское посмеяние человеку!»

– А кто произошел от носатых обезьян? – напомнил Петр.

– Армяне. Турки. Евреи. Цыганы.

(Страшноватый получился перечень, отдающий «Освенцимом».)

*Конец рассуждения баяниста*

---

Петр счел нужным спросить, от кого же тогда пошли немцы.

– Немцы тоже бывают разные, – охотно пояснил баянист. – Первые немцы пошли от дикого кабана – Кабанья Голова, слышал? А потом – от свиньи, вот почему они белобрысые и любят сосиски

с капустой. Свиную сосиску немец ест, как мы блин, я читал: мы поедаем блин, чтобы засиять, как солнце, а немцы едят сосиски, чтобы стать свирепыми, как свиньи. Свинья – она ведь тоже почти человек. Вот найдут у тебя цирроз печени, допустим, и будет тебе кирдык! А был бы ты американцем, тебе бы взяли, да вшили печень от свиньи, и стал бы ты как новенький. Скоро ее с нами скрестят и выведут людей со свиным сердцем. Так вы китайцам не продавайтесь. Их два миллиарда, да вы запишетесь. Равновесие нарушится, ось повернется. Перетянут. Где была Африка, станет Северный полюс, а где суша – снова море. Вот сейчас мы тут идем, а потом киты будут плавать.

– Китайцев не два миллиарда. Меньше. Не повернется. Не перетянут.

– А это их неправильно считают, – возразил баянист, шевеля пергаментными щеками и острым подбородком. – Те китайцы, что в Китае, это не все китайцы. Есть китайцы тайные.

Дворами и переулками они неожиданно вышли к парапету из серого бетона, протянувшемуся далеко в обе стороны. Провода с перемычками, густо протянутые вровень с его верхним краем, обозначали полотно железной дороги в глубокой и широкой выемке. Железная дорога упорно пробивалась через Мыскову к какому-нибудь из ее многочисленных вокзалов, может, к Белорусскому, а может, к Казанскому, противоестественно сорасположенному на одной людной площади с Ленинградским.

С нерешительного неба сыпанул мелкий кисеистый дождик. Петр подставил усталое лицо под его холодные освежающие капельки, и в зыблущихся просветах меж низкими облаками – клоунами серого тумана – увидел в преломленных лучах темную тушу нырнувшего кита. Медленно разводя длинными, вялыми грудными плавниками, двигая вверх-вниз фигурной раздвоенной лопастью на мускулистом стебле, кит шевелился в мутной толще, неторопливо проплывая над ними.

– Ты зря смеешься, – убежденно сказал баянист, уверенно озираясь в поисках затаившихся китайцев.

По узкой дорожке вдоль парапета прогуливалась красивая разнополая парочка молодых людей лет по восемнадцати. Тон задавала яркая девушка с короткой мальчишеской стрижкой синтетического окраса, тонкой шейкой с пушистыми волосками в ложбинках, плоским животиком, мартышечьими ручками, острыми коленками и долгими сухощавыми лодыжками, торчавшими из коротких брючек. Рядом с ней юноша выглядел нежным умным цветком, хотя и носил темные и густые усики, не знавшие, впрочем, бритвы.

– У них спросишь, – сказал баянист.

Они стояли посреди дорожки, загораживая парочке дорогу. Пропуская девушку первой, юноша приотстал, опустив длинные ресницы.

– Молодые люди... – обратился к ним Петр.

Девушка устала на него светлые бесстыжие глаза и с готовностью остановилась прежде, чем Петр заговорил.

– Кто вы? – спросил Петр.

– Мы?... – переспросив, девушка облизнула губки острым язычком, хищная, как мелированная кошка.

Петр улыбнулся:

– Я издалека, у нас тут спор вышел о мысквичах...

– Мы китайцы, – удостоверившись, что с ней не заигрывают, сказала девушка. В маечке и брючках она стояла перед Петром, как голенькая, горячая, смуглая, тонкорукая и тонконогая фараонова дочка перед вавилонским царем в плотной тяжелой парче, этим непостижимым старцем с кольчатой бородой, повелителем ревущих боевых слонов и разноязыкого гарема в неге и роскоши среди фонтанов.

– Ты тоже китаец? – спросил Петр у юноши, с сожалением отрывая взгляд от его обольстительной и слегка непристойной подруги.

– Я пока вьетнамец, – спокойно сказал юноша, достойно переноса унижение стоять у девушки за спиной, когда с ней заговаривает другой мужчина.

Баянист шевельнулся, предлагая идти дальше, но никогда и ни в чем Петр не был легковверным.

– А по-китайски?..

– Нет проблем, – и девушка тоненько и очень похоже замяукала, словно резиновая игрушка с пищиком, вздумавшая заговорить по-человечески:

– Вэй, хуао жень бяо элосэ жень вэнь. Мяо-мяо жунь-жунь!

– Что-то не очень похожи вы на китайцев, – недоверчиво заметил все-таки Петр, разглядывая правильные светлые лица молодых европеоидов.

– А мы тайные китайцы.

Как почудилось Петру, девушка опять облизнулась острым влажным красным жалъцем.

Как я уже говорил, планов, как разыскивать Лумбу, у Петра не имелось, тут он вынужден был полагаться на случай.

И минут через десять хитрый случай осторожно высунул для него свиное копытце с мутноватой витрины музыкального магазинчика «Железный костыль Люцифера». Магазинчик располагался в отдельно стоявшем кирпичном домике с полуподвальным этажом, ушедшим в землю. Когда-то в полуподвале жили, а теперь он, скорее всего, пустовал – маленькие окошки его не были зарешечены; или хранилось в нем что-нибудь до того никому не нужное, что и решеток не стоило. Следы жизни, некогда происходившей под его низкими потолками, если и сохранились, хотя бы в виде клока обоев на ободранных стенах, запыленной корзины с торчащими прутьями, этажерки с выломанными балясинками, безногой куклы, стоптанного ботинка, книжки без конца и начала, то сквозь разводы светло-зеленой краски на стеклах совершенно не просматривались. Зато витрина, пристроенная к домику с фасада, жила напряженной жизнью в духе готического романа ужасов: пугала прохожих своими вурдалачьими личинами с подтеками крови у вялых жабьих ртов, шипастыми напульсниками, цепями и прочим устрашающим музыкальным железом в стиле Heavy metall. Заводить с брутальными металлургами разговор о дебилизирующей попсе совершенно очевидно не имело никакого разумного смысла, но имело смысл незамедлительно вернуться на Новый Арбат и разыскать большой музыкальный магазин на все вкусы. Досадуя на пустую трату времени, себя и баяниста, завлекшего его так далеко в каменные внутренности Мысквы, и не стремясь даже к справедливому распределению

досады между собой и своим добровольным провожатым, Петр бросил его, кое-как распрощавшись со стариком, желавшим, видно, чтобы Петр укокошил заодно его соседа-пьяницу.

Чтобы не заплутать между гаражами, он вышел в просвет между домами на широкую людную улицу и спросил у прохожего, как короче пройти на Красную площадь.

Очень крупный мужчина с большим лицом и такой массивной челюстью, что, казалось, ему никак не удавалось надолго удерживать рот закрытым, принял его за шутника.

– Ноги стопчешь, – насмешливо отозвался питекантроп, отваливая тяжелую челюсть.

Оказалось, что Петру сначала нужно проболтаться на автобусе пять остановок до ближайшей станции метро «Химки-Ховрино», конечной на линии, и с дьявольским воем и грохотом пронестись под землей еще пятнадцать длинных метрополитеновских перегонов. Хитрыми дворами провел его баянист.

---

## 5

---

Как-то очень чисто и со вкусом они одеваются – эти молодые мужчины, продавцы дорогих магазинов, и бреются, опрыскиваясь после хорошим мужским парфюмом, и движутся мягко и вкрадчиво. Есть, словом, в их облике нечто двусмысленное. Ну, да и работа такая – предугадывать и исполнять чужие желания.

Тасуя по стеклянному прилавку пяток пластиковых футлярчиков с дисками, Петр с отвращением всматривался в их обложки, пытаясь заглянуть в душу молоденькой девчонке, которую он приехал зарезать: «Я вся твоя» – белый пеньюар, крупные розы, бело-розовый шелк, лучи и блики; «Майские грозы» – белая лошадь в галопе, тугие струи весеннего ливня, мокрый сарафанчик, облепивший девичье тельце, как обертка конфетку; «Гуттаперчевая девочка» – огромный красно-синий шар, узкобедрая фигурка в гимнастическом трико на шаре, гибкие руки, воздетые в поисках единственной во Вселенной линии неустойчивого равновесия, массивный атлет на кубическом сиденье; «Лунная соната» – плоская, как доска, ночная пустыня с четкой линией подсвеченного с той стороны горизонта, абрис черного рояля, ниспадающие складки вечернего платья, лунный луч, без которого ничего этого не было бы видно;

«Спи, прелестный друг» – мрачноватый черно-коричневый фон и маленькая буква L в ослепительно белом кружочке, плавающим в насыщенных разводах вечности.

Цельный образ не складывался, и это вызывало желание одним махом смести футлярчики на пол.

– Поставьте, пожалуйста, – попросил Петр, выдвигая по стеклу прилавка футлярчик с кружочком.

Черный аппарат, чмокнув, всосал радужный кругляш, и из динамиков неторопливо полилась неожиданно непростая и напряженная мелодия; слова, выпеваемые очень высоким и очень сильным женским голосом, были ей под стать:

Спи, я завтра зайду за тобою первым лучом.

Я – зимнее солнце, и я появляюсь все реже и реже.

Спи, мне больно смотреть,

как красиво лежишь ты на теле реки...

Петр мог бы с гордостью называть себя интеллигентом в первом поколении: деды и прадеды его были крестьяне. Но в нескончаемой череде его предков, измученных тяжелым трудом на земле, копилась и копилась по капле способность глубоко и тонко чувствовать прекрасное, чтобы выплеснуться в нем, и его пращуры смогли бы его глазами и ушами увидеть и услышать непростую красоту мира, несводимую к буколическим пейзажам передвижников и пасторальным мелодиям могучей кучки. Молодая женщина, способная так петь, не могла улыбаться непроницаемой улыбкой безмятежной восточной бодисатвы, не ведающей ни страха, ни боли. Она бесспорно была плотью от плоти того варианта монотеизма, который сулит избавление от мук только после окончательной телесной смерти, безо всяких последующих перерождений, а пока учит находить в них самих радость и блаженство, видеть в помраченном мире отблески его изначальной и грядущей гармонии, целесообразности, полноты и совершенства.

Петр слушал с каменным лицом, продавец не решился ему помешать.

– Проняло? – с тонкой иронией улыбнулся продавец, как это умеет житель столицы, разговаривая с провинциалом, когда песня отзвучала.

На белой сорочке продавца тоже висел на специальной прищепке картонный квадратик. Лет двадцать пять тому назад его счастливые родители долго выбирали ему имя, колеблясь и мучаясь, и как-то его называли.

– Какую берете?

– Всех.

– Поклонник?

– Племяшке, – доверчиво пояснил Петр, снова взваливая на плечи свою тяжелую крестовину. – У нас не купишь, не привозят. Да и далеко везти-то: полтыщи верст.

На терпеливом лице продавца слабо обозначилась легкая заинтересованность, и простодушная деревенщина разговорилась:

– Я бы и в город съездил, конечно, но далеко просто так-то ехать. Сначала плыть по Бирюсе два дня на лодке, потом на барже по Ангаре еще трое суток, а в Елизово – на «кукурузник», если погода летная, и в Богучаны, а там уж – на поезд. У нас ведь дорог нет: по реке только или самолетом, а зимой – на оленях еще можно. Раньше все привозили, и пластинки тоже, а теперь даже муку не всегда. Племяшка-то очень ее любит: услышала по радио и пристала: привези, мол, дядя Петя, да привези! Сама-то она обезножила, никуда не ходит, по деревне ее на тележке катают – как не уважить? Ну, ведмедь когда ее укусил. Пошла, понимаешь, по ягоды, а в малиннике – хозяин и окажись. А она нет, чтобы молча стоять, возьми да и завизжи. А ведмедь – он бабьего визгу не любит, он от него свирепеет, ну и отхватил у нее полноги от колена.

Не верить своим ушам означало бы для молодого продавца отказать от глубокой уверенности, что чем дальше от Мысквы, тем ближе к киноцефалам, что Мысква поэтому – единственное место, где стоит жить, кроме, разумеется, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Калифорнии, и что он сам чем-то заслужил право называться мысквичом и, значит, лучше всех других, кто так называться не может.

Петр стал его дожимать:

– Я мишку скрал потом с тятиной берданой – если зверь попробовал человечины, другую мясу он есть не станет, но ноги-то уже не вернуть. Брательник ей деревянную ногу выстругал, но куды она на ей ускачет? Большая девка, замуж бы по осени отдали – тринадцать

годков уже, так она деревяшки-то стесняется. Просит только меня: привези мне, мол, дядя Петя... как это... ну, автограф ее, роспись то есть. А как же я ентот автограф разыщу? Мысква большая. В тайге я бы ее разом выследил, а Мысква – хоть она и помене тайги будет, но выследить тут человека, абы хучь и зверя – поди попробуй. Вона какие домищи...

– Тебе любая подойдет, – решил продавец. – Я тебе подскажу, как одну найти. Доедешь на метро до Медведчиково, выйдешь по переходу налево, там у девчонок спросишь – покажут. Ее там все знают. У них в подъезде домофон, конечно, так ты ей про племяшку расскажи...

Догадка, почему на всех обложках Лумба в темных очках, уже давно вызревала и копошилась в Петре, как семечко в теплой сырой земле, готовое выпустить тонкий бледный росточек и проломить асфальт.

– А сколько же их тогда всех? – Петр испытывал смесь летящего ощущения скинутой с плеч тяжелой ноши и давящего предчувствия ноши гораздо, гораздо более тяжелой.

– Все они здесь, – продавец показал пальцем на футлярчики. – Пока одна на гастролях, другие – в студии пишутся. Сейчас многие так делают, лишь бы на фейс были похожи. Ты не знал? А эта новенькая, – продавец щелкнул по футлярчику с отзвучавшим «преlestным другом».

– Никто ее убивать не пробовал? – Петр говорил своим голосом. Подделываться под деревенского не было больше нужды.

Продавец не был, казалось, удивлен таким вопросом, а превращения Петра не заметил.

– Год назад одну пробовали убить. Какой-то маньяк из Казахстана.

– Убил?

Продавец почувствовал какую-то неуловимую перемену в стоявшем перед ним мужчине с не таким уж простым лицом, как ему поначалу показалось и как хотелось, чтобы так оставалось и впредь, но остановиться не смог.

– Промахнулся. В психушке теперь сидит. Триста сорок рублей в кассу. Порадуешь племяшку.

Петр заплатил, раз обещал, и выбросил футлярчики в урну на



улице, кроме одного – с «Прелестным другом» и буквой L в маленьком кружочке.

---

## 6

Он поехал в Шереметьево и сразу улетел обратно домой. Четыре Мысквы: отроческая – большая, странноприимная, золотисто-солнечная, завлекающая механическими диковинками; потом – опустошенная, недоуменно-настороженная, тревожная, взвешивающая; совсем недавняя – подозрительная лично к нему, привезенному из-за границы без документов и убедительных объяснений; и вот эта нынешняя – деловитая, богатеющая, ухоженная и нарядная на иностранный неоновый лад, – эти четыре города, столь не похожие один на другой, слились для него в нечто единое и цельное – в образ чуждого, равнодушного, величественного, блудливого Нового Вавилона, смешавшего языки и нравы, похерившего грандиозную филофеевскую химеру Третьего Рима, разложившего на лотках свои азиатские горшки, матрешки, кресты и иконы, готового хоть мертвецов своих выкопать на продажу. В самолете он уснул, и ему приснилась молодая, горячая голая ..., с визгом катающаяся по росной траве.

## II. МАРТОПЛЯ

---

### 1

Из Мысквы Петр вернулся утром пятницы четырнадцатого мая с затекшей шеей, сопревшими ногами, усталый, разбитый, но освобожденный. Одной молодой дурочке еще можно было бы попытаться втолковать, какой катастрофой может закончиться ее концерт у нас в городе (и на это надежды не было, но не резать же ее было в самом деле!), но их насчиталось целых четыре штуки плюс новенькая в запасе. Проклятая Лумба поманила его вихляющей сучьей побежкой, вильнула, переметнулась и рассыпалась мерцающими болотными огоньками: «Лови меня, Ваня, лови-и!» Балаганная фигура клоуна Ильи Владимировича оказалась не такой уж потешной. Оказалось, Илья Владимирович давно у нас орудует, напропалую ерничая, подмигивая и с непреклонным упорством строя свою дьявольскую пирамиду.

Со мной Петр так должен был объясниться, раз уж неосторожно ввел меня в курс дела. Лишь после этой поездки он, собственно, и отбросил со мной обиняки и недомолвки. Это было его своеобразное заявление о достойной капитуляции.

В тот ветреный прохладный вечер у калитки дежурил ленивый Хват. Природа и тут не упустила случая лишний раз продемонстрировать свой ремесленный дар не повторяться в актах творения. Из этих трех полумедведей, полусобак Хват – самый ленивый, хитрый и прожорливый, Угадай – самый подвижный и даже, пожалуй, игривый, а Догоняй отличается какой-то упертой сосредоточенностью, он будто постоянно мысленно идет по чьему-то следу (почему его чаще остальных и можно застать лежащим).

Довольно унижительно стоять перед породистой взрослой овчаркой, не смея шевельнуться, пока она сама не потеряет к тебе интереса. Но тут мне стало просто не по себе. Меня изучало даже не умное животное, тщащееся встать вровень с человеком, а словно человек в обличье какого-то медведя, с трудом припоминающий утраченное человеческое естество. Мутные желтые глаза Хвата бегали по моему лицу с поистине человеческой быстротой, непрестанно и неуволимо меняя выражение. Никакая овчарка не способна так тщательно и осмысленно изучать лицо стоящего перед ней человека.

– Заходи-заходи, – подтолкнул меня Петр, и я с облегчением прошел мимо жуткой разумной твари, с холодком в спине ощущая, как ее взгляд ощупывает мой затылок.

Толстая лупа не понадобилась. После великого муравьиного переселения муравьиные норки вдоль забора без труда обнаруживались на каждом квадратном дециметре. Мураши деловито выбегали из дырочек в земле и устремлялись к центру участка истреблять садово-огородных вредителей, не перебегая при этом к соседям. При недавней вскопке земли ни один маленький защитник будущего обильного урожая не погиб и ни одному из них не грозила гибель завтра.

Я выпрямился, и, надо полагать, очень многое читалось у меня в глазах.

По тому, как он на меня посмотрел в ответ, ясно как божий день мне стало, что он не разделяет моего щенячьего восторга пе-

ред всеми этими очевидными, бесспорными, реальными чудесами. Все-таки поздно я научился по достоинству оценивать главную способность этих так называемых людей действия и поступка. Рано научившись решительно делить людей на своих и чужих, испытав мир и себя на прочность, они довольно быстро научаются потом видеть пределы своих возможностей и ответственности и столь же решительно говорить: «Не мое дело», – и отходить в сторону тем более решительно, если это действительно не их отныне дело.

## 2

Это, конечно, было жестоко с его стороны – привезти Небесную в Уточкину, не подготовив как-нибудь заранее к этому Люсю со Светой. Они жили в Уточкиной на птичьих правах, а в его отсутствие находились наедине с тремя мужчинами, которые хотя и не могли позволить себе ничего лишнего, но не были монахами. Даже кержак Евстихий нет-нет, да и бросал на тихую Свету тот по-особому пристальный и ласковый взгляд, каким мужчина поглядывает на волнующую его женщину. Чего уж тут говорить о пролетарских ухватках Василия или Косого; для Косого они, конечно, были староваты, но и время шло. Словом, возвращения Петра Люся со Светой всегда поджидали как светлого праздника, с надеждой, а он приехал с женщиной.

– Это Небесная, – сказал он, знакомя ее со всеми. – Небесная будет здесь жить.

– Очень приятно, – неприятным голосом отозвалась ядовитая, как кобра, Люся. – С вами будет жить, Петр Андреевич?.. Собирайся, Светка!

– Не буду, – твердо заявила вдруг робкая Света.

Долго, кажется, потом Люся втолковывала ей наедине что-то о женской гордости, но сразу вечером не уехала, а с утра нужно было сажать картошку.

На скудных сибирских пепельно-серых подзолистых почвах с содержанием гумуса в 1–2,5% картошка не дает таких урожаев, какие она способна давать, допустим, на дерново-подзолистых почвах центральной России, богатых гумусом и менее кислых. Поэтому сибиряки, во всем остальном гораздо более трезвомыслящие и лишённые суеверий, по сравнению с прочими ветвями раскидистого

родословного дерева великороссов, сажают чертовое яблоко с древними языческими ритуалами, давно забытыми в иных местах, где картошка хорошо родится и сама по себе.

На рассвете Петр с Василием стояли с лопатами в руках на краю вспаханного участка. Люся со Светой, держа на весу ведра с семенной картошкой, стояли лицом к ним. Косой, заранее лентясь, приготовился набирать им картошку, сидя у мешков на корточках. Проснувшись на одну половину, на другую он находился во власти сладкого сна и вздрагивал всем телом, закемарив, клюнув носом и потеряв равновесие. Очнувшись и встряхнув головой, он сосредотачивал взгляд на сером комке земли под ногами, на мохнатых выпуклостях отсыревшего от росы мешка под боком, на листьях осинки, играющих на свежем ветерке, и вновь встряхивался, клюнув носом.

На востоке окоема заалела узкая полоска, резко отделившая небо от земли, свет от нее медленно расплылся по тусклому рассветному небосклону, как капля жидкой акварели по промокательной бумаге, и скоро из мягкого серого киселя на восточном краю горизонта показался неяркий краешек докрасна раскаленного солнечного диска.

Пора было приступать, чтобы не упустить первого луча, упавшего на землю. Света толкнула Люсю в бок локтем:

– Начинай, Люська.

– Мартоплю?

– А какую еще!

– Ты начинай, – возразила Люся. – У тебя голос тончее.

– Ну, ладно, – покорно вздохнула Света. – Только я конец не помню.

Она переступила с ноги на ногу и высоким звенящим голосом повела:

– Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, картопля!..

– Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, мартопля! –

подхватила Люся. Голосок у нее и вправду оказался чуть пониже, побасовитее, потолще, как говорят в Сибири.

– Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, укропчик! – снова повела Света.

– Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, мукропчик! – подхватила Люся, еще чуть понизив.

– Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, жавороночки! – звонко повела

Света, уверенно повышая еще на четверть тона.

– Ойё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй, пчелки яряя! – протянула Люся, понижая.

Так они и выводили, сплетая и расплетая послушные голоса, высокий и звенящий Светин и низковатый, напряженный Люсин:

- Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, прилятитя к нам!
- Ойё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй, с теплым летичком!
- Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-яй, с частым дожличком!
- Уйю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю, без морозичков!
- Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-яй, с золотым ключом!
- Ойё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, с серебряным!
- Айя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-яй, отмыкайте вы!
- Уйю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю, землю-матушку!

Люся кивнула Петру, Петр вонзил острую лопату в мягкую podatливую землю и двумя быстрыми движениями – шварк, шварк! – выкопал лунку; Люся – шлеп! – ловко бросила в нее картошку.

Василий замешкался, но скоро ритм работы установился и дальше пошло без досадных сбоек:

- Уж мы ее, родимую... –  
(Шварк, шварк лопатой! – шлеп картошкой!)
- Уж мы ее, кормилицу... –  
(Шварк, шварк лопатой! – шлеп картошкой!)
- Уж мы ее лопаточкой... –  
(Шварк, шварк лопатой! – шлеп картошкой!)
- Уж мы ее маматочкой... –  
(Шварк, шварк лопатой! – шлеп картошкой!)
- Уж мы ее ковырочкой... –
- Уж мы ее ковырнем-ковырнем... –
- Уж мы ее колупнем-колупнем... –
- Уж мы ее глубоко-глубоко... –
- Уж мы ее в серединочку... –
- Уж мы ее в пуповиночку... –
- Уж мы ее под сердечушко... –
- Уж мы ее во животичек... –
- Уж мы ее под пупочичек... –
- Уж в самое во родилово... –

- Напрасно Света переживала: нужные слова сами вспоминались, она ни разу не сбилась. Как отмечал еще Альберт Лорд, неграмотные народные певцы мыслят не словами, а словесно-ритмическими формулами, и свои песни не разучивают, как мы не учим язык, который слышим с младенчества.

## 1

– Помойтесь, побрейтесь, возьмите комплект чистого постельного белья, кружку, ложку, тапочки... Что с вами?! Девочки, каталку!

Петра Андреича!

Веки старика мелко-мелко дрожали, глаза закатились, как у припадочного, челюсть отвисла и ходила вверх-вниз. Схватившись обеими руками за живот, старик медленно сползал вдоль косяка, хватая воздух, как рыба на песке.

Со стариком Петр разобрался быстро. О, прекрасный эскулап!

– Стыдно в твои годы, отец! Вставай.

– Доктор, и вправду очень болит! – жалобно улыбнулся старик, не поднимаясь с каталки. – А как ты догадался, доктор? Я таких зубров проводил!

– Тактику на ходу меняешь? – улыбнулся Петр. – Учился я хорошо!

– Сразу видно, – мгновенно среагировал старик, упорно сохраняя беззащитное положение лежачего. – Вид у тебя внушающий, доктор.

Петр обернулся к медсестре:

– Ну и что мы с этим старым симулянтом будем делать?

– Как решите, Петр Андреевич, – отвечала обманутая и недовольная медсестра.

– Кладем. Медицину уважает: давно меня доктором не называли.

Медсестра не желала сдаваться так легко.

– Да у него, Петр Андреевич, даже полиса нет.

Старик заворочался на каталке, одной рукой забираясь в карман мятых брюк, а другой подманивая Петра наклониться.

– Эх, отец, – вздохнул Петр, рассмотрев в складках несвежего носового платка тусклые крупинки и капельки желтого металла. Все вместе они тянули грамм на сорок.

---

## 2

---

В десятой палате лежал чистенький домашний десятиклассник, от легкой жизни на вид совсем подросток. По натуре ласковый и доверчивый, юноша легко освоился в мужской компании и на правах старожила счел нужным завести разговор с новичком. Улучив удобный момент, он по-свойски поинтересовался у старика:

– За что сидел-то?

По красной костлявой груди старика расплылись поблекшие тагуировки.

– Туалет с подкопом взял! – быстро сказал старик, вываливая из

щербатого рта язык с толстым налетом. – Ты кто, щенок?

– Андрей.

– Ну держи тогда ... бодрей, ...!

Парнишка оглянулся на мужиков. Мужики с интересом прислушались.

– Не вешай носа, а то помрешь от поноса! – посоветовал растерянному парнишке старик.

– Ну-ка, скажи бе-е-е! – властно велел он.

Парнишка едва не открыл было рот заблеть.

– А вот хрен тебе! – сказал старик, не дав ему времени принять невозмутимый вид, и отправился знакомиться с дежурной медсестрой. На крашенном белой эмалью щите, под которым ее иногда можно было все же увидеть сидящей, были наклеены разные медицинские объявления, а в верхнем углу нарисовано отталкивающее красивое строгое женское лицо в белом колпаке и крупно выведена надпись: «Мой пост – моя честь»; как будто на ее честь, такую холодную, мог кто покуситься.

В палату величественно вплыла огромная усатая старуха с уткой в руках, и ходячие больные дружно пошли в коридор. Справа от парнишки лежал одинокий пьяница, он угодил под чугунные колеса электрички, выскочившей из темного тоннеля. От долгой неподвижности его кишечник совершенно ослаб, и старухе пришлось долго наминать его твердый бугристый живот, пока вялый кишечник до конца не опорожнился от спекшихся каловых масс.

– Ну что, просрался? Полегчало? Сколько говна-то накопил! – нежно сказала огромная старуха и унесла из палаты зловонную посудину.

– Окна откройте, – сказала она, уходя.

### 3

Резать старика нужно было быстро, чтобы успеть вывести потом из наркоза с таким букетом: низкий гемоглобин, мерцательная аритмия, хронический нефрит и цирроз печени.

– Не выдержит старичок, – покачал головой анестезиолог. – На все – полтора часа максимум.

– Успею, – сказал Петр. – А не успею, хоть умрет на чистых простынях.



Старик жил один, и дома его ждали только голодные шустрые тараканы, поблекшие от недоедания.

– В молодости должен был думать, на каких простынях умирать.

– Когда он был молодым, чистые простыни ему обещала Родина. Пускай выполняет.

– Вы, Петр Андреевич, смешиваете разные понятия: Родины и государства. Родина ничего не может обещать, она у нас немая, как дурочка, а от того государства – ни флага, ни гимна, а вместо герба – ошипанная курица, двухголовая мутантка. Кстати, наша Нинка не родня ему? Бульон каждый день, котлеты, помидоры...

– Вряд ли, – сказал Петр, посмеиваясь про себя: в день поступления старика медсестра Нина дежурила в приемном покое.

Утром в среду, девятнадцатого мая, Петр еще раз присел к старику на кровать.

– Тяжелая будет операция, отец. Не боишься? Подними руки.

– ... мне, старику, бояться! Ты, главное, сам не бойся! Режь его на хрен! – о своем теле старик привык, видно, говорить как о чужом, чтобы легче переносить боль и страх. Били его, судя по шрамам, сильно, охотно, часто и чем ни попадя.

– Что это за ругательство у тебя – ...? Ни разу не слышал.

Что ж, больница – это целый маленький мир, в котором не бывает тайн.

– А ... ты слышать-то мог! Ловят кошку, выламывают ей клыки и ...!

– Повидал ты в жизни...

– И повидал, и поебал. Ты их почаще, девок-то, они это любят. Ich bin liben frau, nicht caput, gerr ofcir!

– Воевал, что ли? Вроде не подходишь по годам... Повернись на бок.

– Спереди не подошел, да сзади подкрался. Я у них пять лет отчебучил. Сначала гастарбайтером, а потом слюбился с хозяйской дочкой. «Main liber, – говорит, – main liber», а сама льнет, прижимается... Ей четырнадцать, и мне пятнадцать, уже чешется, но понимаю. «Nine, – говорю, – fater!» – отец услышит, дескать. «Спит», – показывает. «Ну, раз спит...» И, в общем, вдул ей по самые уши. Женился потом: ее фатер уже боялся – наши придут, спросят с него за все. Я его «Шлюпкой» звал – Шлюпке его фамилия была, толстый был, свинья. По первости брюквой кормил, а как наши поближе – то

кофею, то сахаринчику, то курицу... Чует кошка, чью мясу съела! Да и привык ко мне. Я ведь деревенский, все умею, что по хозяйству: корову подоить, коня запрячь, ну и с техникой тоже... Хорошая немочка была, ласковая, как кошечка. Все: «Main liber russich! Main liber russich!» А наши не дошли, ну да поздно уже было на попятную: сын родился. С первого раза пацаном обрюхатил!

– А в Союз как? Американцы выдали? Не напрягайся.

– Сам. Домой захотел. ..., думаю, мне, русскому, на чужбине? Хотя и сытно, а все не то. Порядку там у них слишком много. Любят они слишком порядок... Из-за этого и фашисты. А как же! Мы для них не люди, низшая раса, раз бардак любим. А немцу бардак хуже всякой чумы. Конечно, они нас истребить захотели или обратно в леса загнать, чтобы мы землю зря не загадили. Но не вышло у них, конечно: чтобы в такой войне победить, себя самого нужно не жалеть и своих не жалеть, как мы. Представляешь: война, наши к Берлину идут, а они для беременных сироп специальный делают, с витаминами, целая фабрика ради этого сиропа работает! И не могли кто другой хотя бы ложку съесть, будь ты хоть кто: солдат или там генерал! Моя мне дала раз попробовать – вкусно, можжевельником отдает... И как на меня домом от этого сиропа повеяло!.. А наши меня сразу: сюда иди! И на Колыму. Отмотал семь лет, а потом – амнистия, то-сё...

– Не жалеешь, что вернулся?

– А ... ее жалеть!

– А знал, что посадят?

– Знал, конечно, как не знать. Предупреждали, отговаривали... Но не могу забыть, и все тут, хоть помирай!

Петр встал:

– Ну что ж, готовься, будем оперировать.

– А ... мне готовиться? Ты это, доктор...

– Ну?

– Ты смотри там, не отчекрыжь чего лишнего. Что я бабе буду предъявлять?

Петр улыбнулся:

– Не отрежу, не беспокойся. Предъявишь.

– Доктор, а нельзя мне вместо наркоза... того... чистого?

- Да ты уже тяпнул, а?
- Было дело, – покаялся старик. – Для знакомства.
- Если добавишь, выпишу, – посуловел Петр. – Но если выживешь, так и быть – налью пятьдесят грамм.
- Выживу, – уверенно пообещал старик. – Я живучий. Обещал, доктор! Двести.
- Он еще торгуется! – засмеялся Петр. – Хирурги любят живучих, как когтистые кошки, людей.

---

#### 4

---

Выйдя из больницы в три дня, Петр поехал на центральный стадион. Опасения его, что никого он там не застанет, оказались напрасными. Илья Владимирович был хорошо и виден, и еще лучше слышен. В желтой каске и синем комбинезоне он стоял на вираже беговой дорожки. Ему требовалось иметь возможность одним взглядом объять циклопическую пирамидальную конструкцию, возводимую посреди футбольного поля. Мегафон он держал обеими руками.

– Ниже, ниже опусти! – взрывал мегафон. – Крепи ее лучше! А вы там – выше, выше поднимайте, да прибивайте сразу, прибивайте, последняя осталась! Запасных нету, не дай бог уроните! Всех поувольняю! Под забором помрете!

Петр похлопал вошедшего в раж прораба-самозванца по плечу. У строителей был бригадир, и на веселые угрозы Ильи Владимировича они привычно не реагировали.

– О, Петр Андреевич! – на весь стадион проревел Илья Владимирович, умышленно забыв снять палец с красной кнопки. – Пришли полюбопытствовать?

Петр кивнул на конструкцию:

– Что это будет?

– О, это будет что-то! – нормальным голосом вскричал Илья Владимирович мимо мегафона. – Египетская пирамида с окошечками! Каждый новый куплет она будет петь из нового окошечка, и все будут гадать, где она появится в следующий раз. Я сам придумал! Представляете, в лучах прожекторов, в дыму, раскрывается дырочка...

Судя по основанию шириной в футбольное поле и наклону наметившихся граней, пирамида намеревалась вознестись вершиной

до десятого этажа. Ее трубчатый каркас понизу уже закрывали фанерными щитами. Щиты были заранее обклеены белой фольгой, и в лучах прожекторов пирамида должна была светиться, как гигантский кристалл горного хрусталя. Ни через какое окошечко личико Лумбы на ее сияющих плоскостях было бы не разглядеть.

– Вы сумасшедший, Илья Владимирович? – серьезно сказал Петр.  
– Вы будете подавать сигналы пришельцам?

Илья Владимирович понурился.

– Да, я – сумасшедший, – с горечью признался он. – Заниматься в наше время подлинным искусством – это чистое сумасшествие и форменное безумие.

– Мне нужен Николай Мирликиевич.

– О, никаких проблем! – оживился Илья Владимирович. – На со-  
роковом автобусе доезжаете до остановки «Магазин». Сходите и  
потихонечку, не спеша идете от остановки прямо вверх до линии  
ЛЭП. Там поворачиваете направо и идете до перекрестка. За пере-  
крестком доходите до водоколонки, там домик с белым палисадни-  
ком и черемухами. Собака – злая, осторожнее!

– Ну, после ваших-то собак тигр за кошку сойдет. Что у них за  
порода все-таки?

– О, это самая настоящая собачья порода! – воскликнул Илья  
Владимирович. – Подлинная порода!

– Ну и какая? Бордоские доги? Мастино неаполитано?

Илья Владимирович, казалось, задумался.

– Какая? А вот какая... Как бы вам, впрочем, объяснить? Вы ведь  
человек конкретный, так сказать, материальный? Вам желательно все  
сначала потрогать, пощупать, а абстракции вам чужды, кажется?

– Ничего, я напрягусь.

– А, ну если так... Вот какая у них порода. Возьмем, к примеру, дом.

– Дом?

– Ну да, дом: ваш дом – вы ведь в большом доме живете? – избу  
какую-нибудь, землянку, хижину тростниковую... ну, хижину пока  
отбросим. Дома это все?

– Дома.

– Вот-вот, а что тогда есть дом? Просто дом, не дворец, не землян-  
ка, не избушка на курьих ножках, а просто дом?

– Ну.

– Идем дальше, – призвал Илья Владимирович. – Возьмем теперь собаку какую-нибудь.

– Возьмем.

– Возьмем... А где же мы ее возьмем, позвольте спросить?

С этими словами Илья Владимирович поставил мегафон растром на тартановую беговую дорожку и убежал куда-то под трибуны.

Вернулся он минут через пять, обеими руками прижимая к груди маленькую рыжую собачонку. Собачонка терпеливо позволяла себя нести, свесив лапы, и пыталась дружелюбно повилить хвостом.

– Вот, еле поймал, – объяснил Илья Владимирович, почему его так долго не было. – Вахтеры прикормили, очень умная, говорят. Рыжиком зовут, хотя я бы назвал Каштанкой.

– Это кобель, – сказал Петр, рассматривая умного Рыжика. – Каштанка ему не подходит. Если б он был сучкой...

– А какая ему разница! – возразил Илья Владимирович. – Ему лишь бы кормили, а как его будут называть, ему-то лично все равно. Не так ли?

Петр поморщился:

– Зачем вы его притащили?

Илья Владимирович поднес Рыжика к Петру; Рыжик беспокойно задргал в пустом воздухе лапами.

– А вот скажите, Петр Андреевич: это собака? То есть не кошка, не лисица, не волк, на худой конец?

– Собака.

– Но можем ли мы назвать этого песика настоящей, подлинной собакой, собакой в чистом, так сказать, виде? Собакой, какой она должна быть? – вскричал Илья Владимирович в восторге и, добившись полнейшей наглядности, опустил Рыжика за ненадобностью на землю.

Рыжик отбежал немного, постоял, раздумывая, принялся к мусорной урне на проходе, задрал лапу, попрыскал и деловито убежал обратно куда-то к себе под трибуну.

– Кому она «должна быть настоящей собакой»? – сказал Петр, но сбить Илью Владимировича с мысли было уже невозможно.

– А вот вы и попались, Петр Андреевич! Кого вы-то имели в виду,

когда сказали «настоящей собакой»? А имели вы в виду ту самую настоящую, подлинную, говоря словами великого Платона, собаку, о которой я вам и трактую.

– И что? – терпеливо спросил Петр.

– А то, любезный Петр Андреевич, что мои собачки – это не мастино, не доги какие-нибудь тощие, а подлинные, неизвращенные собаки, какими они и должны быть! Настоящие собаки. Как они себя ведут, кстати?

– Нормально.

– О, конечно, нормально. У вас все нормально, словечко-то какое упругое: нор-маль-но! Раз уж мы заговорили о собаках, – перескочил он, – должен вам признаться: не нравятся мне эти породистые городские собаки, очень не нравятся! Глупы-с очень-с! Неучены и потому глупы-с! Вы же детей отдаете насильно в школу, а собаку, которая учится с превеликим удовольствием из одной бескорыстной врожденной любви к хозяину, – почему вы ее-то не учите! Почему вы таскаете ее на поводке, как дурочку! Ладно, шавку какую-нибудь вроде этого Рыжика! Но овчарку, ротвейлера особенно – это ведь серьезная собака, с ней нужно еще уметь управиться, она кого попало слушать не будет – ее-то нужно дрес-си-ро-вать! И не дети, конечно, должны этим заниматься – детей самих еще нужно... пороть их нужно, разложив поперек лавки, вот что! Знаете, когда я вижу тонконогую девочку еще, как она зло кричит тоненьким голосочком серьезному взрослому кобелю: «Фу! Фу!», как будто он ее поймет и послушает, я сразу думаю о родителях: куда вы-то смотрите, что вы хотите сделать из своего ребенка! Она ведь потом так со своим ребенком будет! Будет требовать от него, чему не учила. И добро, если будет добиваться, даже если и не учила – ребенок сам поймет, что от него требуется. Так ведь она и добиваться не будет уметь, привыкнет с собакой, что ее все равно не послушают, и никакой уверенности в себе и своих словах в ней не будет, привыкнет, что ее слова ничего ни для кого не значат. Ну, и кого же она воспитает, если сама себя не научится уважать? Вы знаете-ка что, Петр Андреевич: вы выпускайте-ка моих собачек погулять с утра пораньше, часиков этак с пяти, а? Если вам не трудно будет, конечно, а то загадили весь город, пройти невозможно. Куда ни ступишь – сразу

в собачье говно вляпаешься!

– Они сами бегают, куда им нужно.

– Да, умные собачки, умные, – подхватил Илья Владимирович.  
– Ученые даже, можно сказать. Под присмотром росли, потому и ученые. Знаете, когда я слышу сильную немецкую овчарку, как она тоскует на балконе девятого этажа, я говорю этим кулакам: держите на балконе своего ребенка тоже, раз он тоже член вашей семьи!

И вновь заревел рабочим, подхватив мегафон:

– Куда ты ее криво!..

На том разговор и закончился.

---

## 5

---

Хозяин домика с черемухами, двухметровый седой здоровяк с толстыми руками и ногами и большим мягким телом, провел Петра по бетонированной дорожке, завел в маленькую залу и оставил наедине с постояльцем. Николай Мирликиевич сидел в трусах на табуретке посреди комнаты, в контрапункт здоровяку-хозяину являя собой метафору подступающей хилой старости. Худые как палки ноги Николай Мирликиевич держал в тазу с разведенной горчицей; когда он шевелил пальцами ног, по его опавшим икрам перебегали тоненькие веревочки.

На божнице у него за спиной в правом углу светился золотой образ. Легкие золотистые горки подымались над черным провалом адской бездны. И над бездной, на пересечении поверженных адских врат, в нежно-голубом круге мандорлы, света от великого света, торжественно стоял воскресший Спаситель, подлинный Царь Славы в пронизанных золотым свечением развевающихся одеждах. По сторонам от его исполненной силы и теплого света фигуры шли ликующие вереницы нескончаемого людского множества, исторгнутого из ада, а в самом низу образа, в адской черноте, два ангела, сверкавших золотом нимбов, сковывали исчерно-серого Сатану<sup>1</sup>. Петр невольно поднял взгляд и посмотрел на икону равнодушно, как на табуретку.

– Врачу, исцелился сам, – громко сказал он. – Помощь ваша нужна, Николай Мирликиевич.

---

1        Подробнее о русской иконописи см., напр.: Н.А. Барская. Сюжеты и

– Помощь... Всем нужна моя помощь... – устало произнес тот, шевеля в тазу пальцами.

– Нужна. Без вас мне не справиться: тяжелый больной.

– Хороший человек?

– Хороший – не знаю, но живучий.

– Это хорошо, что живучий... – Николай Мирликиевич оставался безучастным к просьбе.

– Да что с вами? Вы же врач, Николай Мирликиевич!

Николай Мирликиевич медленно поднял голову.

– Я скорбен, скорбен, – удрученно признался он. – А врач... Ну, какой я врач, без пациентов, без практики. Вы справитесь, Петр Андреевич, справитесь... Что у него?

Петр рассказал.

– Действительно, тяжелый, – уныло подтвердил Николай Мирликиевич. – Не знаю даже, что и присоветовать...

– Мне не совет нужен, мне вы нужны у стола. А я буду вам ассистировать.

– Ассистировать?.. – Николай Мирликиевич, казалось, был удивлен. – А вы лучше вот как сделайте, Петр Андреевич... Повешайте-ка где-нибудь в операционной образок, что я вам передал, авось поможет. Не потеряли, надеюсь?

– Шутить изволите? Я вас силой уведу, Николай Мирликиевич!

– Семеныч! – вялым голосом крикнул тот, и в комнату вошел хозяин домика, с хамской ухмылкой на большом лице засучивая рукава.

– А ну-ка, сынки, идите сюда! – окинув фигуру стоящего Петра оценивающим взглядом, крикнул он себе за спину.

За ним выросли трое крепких молодцев той же кулацкой ковки, разве что ростом чуть пониже, да в плечах поуже. На вид молодцам было от двадцати с небольшим до тридцати – тридцати пяти. Старший был женат и носил усы и черную щетину, младшие пока еще брились.

– Беритесь, сынки... – лениво распорядился Семеныч, и Петр мигом оказался в трех парах сильных рук.

Семеныч вопросительно посмотрел на постояльца:

---

образы древнерусской живописи. М., 1993.



– Прикажете выносить?  
– Выносите, милые, выносите! – махнул рукой Николай Мирликиевич.

Молодцы подняли Петра в воздух, пронесли тем же путем, каким он сюда вошел, и поставили на ноги за воротами на улице.

– Еще раз придешь – закопаем, – посмеиваясь, пообещал старший и легонько подтолкнул Петра в спину:

– Туда иди, там ближе.

По кривым и пыльным улицам Лысой Горы Петр пару раз раньше ходил, но как-то не задумывался, что здесь уже не совсем город и даже совсем не город. Здешние обитатели каждый день спускались в город на заработки и, усталые, возвращались к вечеру поить и кормить огромных свиней и драных коз, а лысогорская шпана до сих пор расхаживала в домашних тапочках и кепочках-восьмиклинках и дралась между собой у ветхого кинотеатра «Буревестник», затерявшегося в неизвестных тупиках и переулках; организованных экспедиций в город лысогорские не предпринимали и не подвергались поэтому ответным нападениям городских.

– А красного петуха не боитесь? – поинтересовался Петр, заправляя рубашку. – Или я вам сейчас стекла кирпичами повысажу?

Молодцы насупились. Младший побледнел и стал потихоньку отпихивать от себя руку старшего, средний тоже захотел подраться и стал осторожно заходить к Петру со стороны, отводя недобрый взгляд.

– Я не уйду, – холодно сообщил им Петр. – Придется вам меня нести.

Неизвестно, чем бы все кончилось, а вообще-то – хорошо известно, чем, да вмешался Семеныч, вышедший на улицу:

– Давайте-ка его обратно, сынки!

Молодцы не посмели послушаться.

– Ну чего вы от меня хотите, Петр Андреевич? – устало сказал Николай Мирликиевич, когда Петра втолкнули обратно в комнату.

– Я уже вам сказал.

Петр сел на диван у дощатой стенки; стенка отгораживала зал от кухни с Семенычем и сыновьями.

– Эй, – крикнул им туда Петр, стукнув в стенку кулаком, – накрой-

вайте на стол, я сегодня не обедал!

Из кухни, как из берлоги, послышалось и стихло гневное бурчание.

– Экий вы упрямец! – досадливо воскликнул Николай Мирликиевич. – Я же вам сказал: справитесь вы, Петр Андреевич, справитесь! Слушайте свой внутренний голос...

– Этого мало, Николай Мирликиевич, – твердо сказал Петр.

Николай Мирликиевич изумленно посмотрел на него, не веря своей догадке.

– Чего же вы хотите? – почему-то прошептал он.

– Вы сами знаете.

Николай Мирликиевич покрутил головой:

– Ну, знаете, Петр Андреевич, однако!.. Я ведь не Симон-чернокнижник...

– Оперировать вы уже отказались, – напомнил Петр.

– Это вы, что же, хотите?..

– Да, хочу.

Николай Мирликиевич погрузился в долгое раздумье. (Тут бы обрушиться на читателя мухой, монотонно зудящей на стекле, но некогда, некогда!)

– А что, у вас какой-то личный интерес к этому пациенту?

Петр молчал.

– Ну что ж, – неуверенно начал Николай Мирликиевич. – Я, пожалуй, попробую... Хотя, сами понимаете...

– Понимаю, – сказал Петр, поднимаясь. – А что с вами все-таки, Николай Мирликиевич? О чем вы скорбите – о грехопадении прародителей и помрачении природы?

– Куда же вы, Петр Андреевич? Вы уж оставайтесь. Семеныч, выноси Угодника.

Семеныч вынес из кухни большую квадратную доску, обеими руками прижимая ее к животу. Когда он повернулся животом к окну, решая, куда поставить икону, Петр рассмотрел изображение. На коричневатом фоне темно-розовой охрой был выписан по пояс высоколобый лысеющий старец с длинным и узким прямым носом, миндалевидными черными глазами, скорбно смотрящими чуть в сторону, и короткой седеющей черной бородкой от самых висков,

похожий, в общем, на старого армянина-книжника. Подумав, Семеныч водрузил его на крышку старинной магнитолы «Мелодия», стоявшей у стены на тонких ножках, так что взгляд Угодника как бы обратился к воскресшему золотому Спасителю под потолком. Потом Семеныч попятился к дверному проему на кухню. Николай Мирликиевич обтер ноги висевшим на спинке стула полотенцем, вышел из таза и, шлепая босыми ногами, приблизился к Петру.

– Ну что ж, Петр Андреевич, просите.

Петр перевел взгляд с Угодника на Спасителя и обратно.

– Кого просить?

– Его просите, – подсказал Николай Мирликиевич, осторожно поднимая палец. – А Никола тоже попросит, за тем и поставлен.

– Ясно.

Петр сделал шаг к божнице и задрал голову.

---

## БЕСПОЛЕЗНОЕ ЧУДО

### *Молитва Петра*

«Иже еси на небеси... так, что ли?.. Ну ладно, короче. Тут один старик есть, помоги ему, если можешь. Ты Лазаря воскресил, чтобы в тебя поверили, бесов из бесноватого изгнал – сделай хоть одно бесполезное чудо! Не для всех, а для одного. Он в тебя не поверит – жизнь у него была не такая, чтобы поверить, но ты все равно ему помоги. Я знаю, это отец твой все так устроил, но почему ты смотришь сверху, как мы тут колотимся, и не вмешиваешься? Извини, конечно, что я с тобой так по-простому, но сам посуди: тебя две тысячи лет не видно и не слышно – может, тебя вообще нет? Ну, распяли там тебя – может быть, не могу спорить, но с чего я должен верить, что ты воскресал? А может, и не тебя вовсе распяли? Конечно, верю я в тебя, не верю – тебе все равно, но ты сам говорил: «Возлюбите друг друга, как я вас возлюбил». Всех-то нас скопом – легко любить, конечно, ты смотришь на нас сверху – мы все для тебя на одно лицо, как чукчи, нет, ты одного человека полюби! Пользы от него, конечно, никому никакой не было и не будет: он как медведь в лесу жизнь прожил, – но должен же хоть кто-то делать, что должен, покажи пример хотя бы. Не могу, конечно, обещать, что сразу в тебя до конца поверю, но тебе-то это и не нужно,

как я понимаю. Я бы не стал просить, если бы вообще в тебя не верил, но... В общем, смотри сам, тебе виднее сверху».

## 6

---

Молчание нарушил Николай Мирликиевич:

– Вы, Петр Андреевич, говорили, как бандит на стрелке.

– Жизнь такая.

Уже уходя, Петр спросил еще раз:

– О чем вы все-таки так скорбите?

– Идите, идите, Петр Андреевич, – отмахнулся Николай Мирликиевич. – Лучше уж вам не знать.

– Я, кажется, знаю, – сказал Петр.

– Ну и не спрашивайте.

– И вы допустите? Вы же вроде любили бедных!

Николай Мирликиевич понурился:

– Вот и скорблю. Я, знаете ли, из другой исторической эпохи. Илье-то все эти жестокости привычны, он ветхозаветный. У них там просто было: резали друг дружку, как баранов, а сверху их огнем заливали...

Провожаемый младшим из братьев, Петр вышел во двор и принялся: в тесном дворе остро и сладко наносило конским навозом.

– Коней держите?

– К соседу гости приехали, кержаки какие-то.

– На лошадях?

– Не нози, батя, а?

## 7

---

В десять часов утра следующего дня, в операционный четверг, держа на весу стерильные руки и сжимая и разжимая ладони, чтобы тонкая резина обтянула пальцы, как еще одна своя кожа, Петр еще раз посоветовался с анестезиологом.

– Как, Валерий Петрович, полтора часа дадите?

Анестезиолог отрицательно покачал головой:

– Час, Петр Андреевич.

– Не успеем, значит, – сказал Петр. – Снимите бандаж и развяжите руки.

Операционная сестра, ни о чем не спрашивая, освободила руки старика от липких резиновых лент. Побледневший старик сел и потянулся к ногам, чтобы ей помочь.

– Сиди-сиди, – остановил его Петр. – Ходить тебе не скоро придется. Маша, есть у нас стакан? Да-да, стакан, граненый.

– Пойду спрошу у девочек, – медсестра побежала в предбанник.

– И хлеба занюхать! – крикнул вдогонку Петр. – Валерий Петрович, составите человеку компанию? Я бы пока воздержался.

– Луковицу бы еще, доктор, – осторожно подсказал оживившийся старик.

– Ишь какой! – засмеялся анестезиолог. – Завтра тебе будет луковица, все будет.

Засосав второй стакан неразведенного спирта и даже не успев его занюхать, старик мирно уснул, пробормотав что-то вроде: «Я парнишка лихой, меня знает окраина...».

– Скальпель!.. – решительно сказал Петр, как в воду прыгнул.

---

## 8

---

Ночь с четверга на пятницу Петр провел в больнице. Из операционной старика перевезли в реанимацию с острым печеночным кризисом. Утром Петра позвали в реанимационную палату.

Старик был бледен, как полотно, и еле жив.

– Ты это, доктор... скажи, чтобы она ушла.

Медсестра Нина, честно отработывавшая стариновское золото, проверила уровень физраствора в капельнице и ушуршала в коридор, мягко колыхаясь бедрами.

– Жалко, что ты меня с того света вернул, доктор.

– Хорошо там?

– Как в цветном телевизоре, только ничего не видно, одни полосы. Музыка играет, все мне радуются, как родному... В раю так, наверное... Так мне все равно стало... Умирать не страшно.

– Что ж вернулся? – с облегчением улыбнулся Петр. От старых врачей он много раз слышал: если больной галлюцинировал о том свете – выживет.

– Так обещал я тебе. Мое слово – камень.

– Ну и молодец! А я своего не сдержу, ты уж извини. С твоей печенью тебе ни грамма нельзя. Посадил ты ее...

- Как не посадить! На лесосплаве, знаешь, как?
- Как?
- А вот нырнул ты, допустим, с бревна в ноябре – бригадир тебе сразу «гранату» и под собачью доху. Знаешь «гранату»?
- Нет.
- Стакан водки с перцем и кусок хлеба с горчицей. А если в декабре – то уже «бомбу»: стакан спирта с перцем.
- Ты сильно-то не напрягайся, – посоветовал Петр. – Тебе еще долго отходить.
- Подожди, доктор, – старик попытался привстать. – Я тебе тайну открою, а то потом передумаю. Один старый бандит в лагере мне рассказывал...

---

## ПОЧЕМУ Я ВЕСЬ В ШРАМАХ

### *Рассказ старого бандита*

«Ты знаешь, почему я весь в шрамах?

Зима была лютая, страшная, плюнешь – плевка не видишь, только слышишь, как ледышка катится, на лету замерзло. Балдоху<sup>1</sup> полгода уже не видели, конвой с факелами ходил. Да зачем там конвой – тундра кругом: сам не замерзнешь – волки задерут.

И вот то ли сияние северное началось, то ли еще что, но однажды ночью проснулись все как один и никто снова уснуть не может: в ушах зудит что-то, зудит, а то потрескивать начинает и снова зудит. И вот один садится, скидывает бушлат и что там у него еще было, достает мойку и начинает себя полосовать, полосовать по руке, по груди, по лицу! Задрал голову на лампу, воет как собака и полосует себя, полосует! Потом второй, третий... так всем бараком выли, как звери, и резались. Утром пол и нары в крови и трупы в ней плавают, только трое выжили: я, еще один урка и один политический.

Он был геологом и рассказал мне потом в больничке, а я тебе расскажу...»

---

1 Балдох – солнце (блат.).

– Этот геолог, пока его не посадили, искал у вас за городом руду какую-то, бокситы, что ли, урка не запомнил, а геологу тому ночью сразу карачун сделал, чтоб еще кому не рассказал. Он, говорит, клад огромный нашел и никому не сказал, себе хотел забрать. Вот погоди, доктор, встану на ноги, покажу тебе, где. Я проверял: приметы сходятся. Да одному мне не управиться, а золото – оно, знаешь, кровь любит. Верный человек нужен.

– Сходим, посмотрим, – сказал Петр, поднимаясь. – Только зря, кажется, твой урка хорошего человека убил. Что-то другое он нашел, раз никому не сказал.

– Не скажи, доктор: просто так людей не убивают, – не согласился старик. – Смотри, доктор, обещал!

– Обещал-обещал, – подтвердил Петр.

В дверях палаты Петр уступил дорогу Нине:

– На пост?

– А правда, что вы оперировали с закрытыми глазами? – Нина затаила дыхание.

– Правда. Это называется телевидением.

Нина засмеялась.

– Вас внизу мужчина ждет, – вспомнила она. – Говорит, срочно.

---

## 9

---

Недоверчиво косясь на снующих туда-сюда медсестер и санитарок в толстых чулках, сумрачный Василий с ходу сообщил:

– Труп у нас – браконьер какой-то. Утром Хват кепку его приволок. Дед говорит, что это он его и задавил. Пока тебя не было, менты приезжали – искали кого-то целый день с собаками по всему лесу. Косого мы у твоего друга от них спрятали, который через два дома живет. Это не картошка там у нас сидит, это бананы какие-то – прет как из навоза. Ты бы приехал, посмотрел. Мы его без тебя не стали закапывать. Мы его пока лапником завалили. А собаки эти чертовы – сами куда-то попрятались, мы уж думали: совсем убежали.

## IV. ЛЮДИ РАДУГИ

### 1

Под лапником генерал-майор Лаврентий Павлович Тихонравов лежал, как живой, только мертвенно бледный, да он и был мертв, как мертвое не бывает. Могилку ему кое-как выкопали на краю белой березовой опушки, в черной земле меж узловатых корней. Сухое тело совершенно окоченело, не протухнув в снегу за целую неделю, и в узкую неглубокую яму седой генерал улегся, как и жил – строго выпрямившись во весь рост.

Евстихий загодя выстругал тонкий острый колышек. Приставив его ко лбу генерала, кержак коротко ударил по колышку кулаком. Мертвая голова качнулась, кость хрустнула, проламываясь, и из маленькой дырочки вытянулась прозрачная фигурка, трепеща чешуйчатыми слюдяными крылышками.

Евстихий помахал рукой, словно разгоняя струю дыма.

– Лети, голуба, куда сама знаешь, – нежно произнес он, провожая растаявшую фигурку взглядом. – Истомилась, поди, бедная.

Потом генерала закопали. Землю над ним заровняли ногами и закидали прошлогодней листвой.

– Хорошее место, лежи с миром, – прогудел над невидимой могилой Евстихий.

Генеральский карабин ему очень понравился.

– Знатный охотник был, – уважительно прогудел он, проведя толстым пальцем по зарубкам на прикладе. – Ишь ты, и труба тут подзорная! Так-то! Сыну его отдам, как заведено.

– Дай-ка, дед, сначала я посмотрю, – властно сказал Петр.

С жизнью генерал расставался нелегко. Передернуть затвор Петру не удалось, затворный механизм был в двух местах насквозь прокушен алмазными клыками.

– Как хочешь, – сказал Петр, возвращая карабин.

Василий потопал по мягкой земле ногой:

– Камнями бы завалить. Собаки разроют...

– Не разроют, – сказал Евстихий.

Василий достал из-за ремня бутылку; на его худом жилистом животе бутылка располагалась так ловко, и сам он так складно со-



образовывал свои движения с ее твердостью, что даже и не вытаскивал ее, копая.

Они уселись на толстых шершавых корнях и распили нагревшуюся от живого тепла водку.

Погибший охотник, как предполагал Евстихий, зашел в верховья Уточкиной пади из соседней Сотниковской, ночь просидел на солонцах и рано утром стал спускаться по редколесью южного склона. Если бы он шел ниже, сам бы он ничего не видел в густом лесу, зато был бы хорошо слышен любой козе, а так он и сам был почти невидим и мог просматривать каменистые откосы и проплешины.

– Козу лучше бить ночью из сидки, – рассудительно гудел про себя Евстихий, – но и с подхода тоже подходяще.

Слушая его гудение, Василий все больше и больше мрачнел.

Умиротворенные и уставшие, шурша пожухлой прошлогодней листвой на прогретых прогалинах, похрустывая зернистым залежавшимся с зимы снегом в затемненных местах, они пошли обратно и скоро спустились к крайним участкам, неся лопаты, как крестьяне несут с покоса косы, вилы и грабли – на плече, лишь генеральский карабин прилип к спине Евстихия, уставившись в сырое весеннее небо вороненым зрачком дула.

От крайних участков падь просматривалась едва ли не до самого верха. В самой узкой ее части, по нижнему краю березняка, пестрели красивые иностранные палатки и поднимались дымы костров.

– Туристы какие-то, – пояснил Василий. – Две недели почти, как приехали.

– Наши?

– Может, и наши есть. Утром приходили двое волосатиков – только «здравствуйте» и «спасибо». Купить чего-то хотели, листья руками изображали. Мы им мяса предложили – отказались. Не едим, показывают. Вот уроды. Почему они мяса не едят?

---

## 2

---

Ощупывая жесткие лаковые листочки, вытянутые или лопаточками, с ровными краями или зазубренные по краям, покачивая упругие суставчатые или мягкие и волокнистые стебельки, действительно прущие как из навоза, Петр определил только, что вместо картошки из земли лезет все разное: на лечфаке учат ботанике со-

всем не в том объеме, как фармацевтов. С одного края засаженного участка на кончиках стебельков покачивались какие-то совсем уж непонятные шерстистые шарики; лишь Евстихий присматривался к ним, как будто что припоминая.

– Но ананасы точно будут, – заключил Петр, подергивая острый зазубренный пучок.

– Я люблю ананасы! – воскликнула Люся, с интересом наблюдавшая за ботаническими упражнениями Петра. – Осторожнее, не вырвите!

Как-то повелось, что подруги упорно обращались к Петру на «вы» и по имени-отчеству.

Картошка, впрочем, тоже перла в своем углу, как бешеная, и уже собиралась цвести. Василий недоверчиво потрепал ногой один кустику, сплюнул и, взяв лопату, пошел помогать Евстихию с Косым. Дед с внуком копали яму под погреб для мяса и рыбы. Утром Хват приволок двух зайцев, а Косой, пока закапывали генерала, сходил на Уточкину речку и выудил трех толстых сазанов и двух узких линков. Света их как раз жарила на печке в сарае.

### 3

По палаткам туристов могло быть человек двести. Кто-то по-турецки сидел у палаток на земле, задрал голову в небо, кто-то дудел у костров в длинные деревянные трубы, у одного костра переступивались на бубнах, тамтамах и тамбуринах, с дальнего края лагеря доносились слаженные аккорды классического гитарного рок-н-ролла – шум над лагерем плавал хаотичный и чарующий, как музыка небесных сфер, грезившаяся Кеплеру. Под навесом из жердей и брезента дымилось над костром варево в огромных чугунах, и подошедшему Петру тоже сунули горячую лепешку. Лепешка была обильно сдобрена жгучим перцем, и Петр сильно втянул в себя воздух, остужая пылающий язык.

– Шару, шару, – ласково улыбнулась ему маленькая всклокоченная девушка в бесформенной юбке до земли с красными кляксами; тщедушное тельце малышки скрывала такая же бесформенная синяя кофта с желтыми разводами по рукавам.

– Oh, yes, I know, – сквозь слезы улыбнулся Петр. Лепешками-чапи его каждый день кормили индейцы, пока он не стал сам готовить себе пищу.

– Where're your Masters? – спросил Петр. Девушка махнула рукой на трейлер с нарисованной через весь борт радугой. Приметный сам по себе, фургончик терялся среди разноцветных балаганов и палаток.

– I love you, brother, – призналась девушка ему в спину.

– И ты будь здорова, сестра, – отвечал Петр, оборачиваясь.

Путаясь ногами в юбке, девушка подплыла к нему с поварешкой в руке, которой мешала в чугуне, приникла головой к его плечу, обвила его талию свободной рукой и, помахивая в такт поварешкой и роняя с нее белые мутные капли, тихо запела то ли по-испански, то ли по-итальянски, на слух Петр не разобрал.

– Счастливая же ты, дурочка! – ласково усмехнулся ей Петр, осторожно высвобождаясь из слабого объятия.

– What does it mean – «djurochka»? – нежно засмеялась девушка.

– Потом как-нибудь или спроси у местных, – присоветовал Петр и направился к радужному трейлеру, уже жалея, что теряет время с этими блаженными. Подкараулить и убить проклятую Лумбу где-нибудь по дороге из аэропорта на стадион, нечего было и думать, значит, в городе ему нужно было быть сегодня же ночью.

В трейлере дежурил высокий молодой человек с удлиненным лицом хипаря-интеллигента, любителя нескончаемых хэппенингов; облачен он был в двухцветный буро-красный кафтан с треугольными фалдами спереди и сзади, украшенный множеством блестящих значков и бубенчиками на фалдах, подпоясан витым шнурком в два оборота и три дня как небрит; волосы он носил до плеч, как и почти все тут.

– Хао, – важно произнес Петр приветствие индейцев сиу, в знак добрых намерений показывая хипарю открытую ладонь.

Волосатый интеллигент уловил в приветствии легкую насмешку, а по отвисшему заду брюк признал в Петре русского.

– Здравствуйте, – поздоровался он, с тихим звоном вставая на встречу.

– Слушай, земляк, – сказал Петр. – Без церемоний. Выручай. Срочное дело. Предлагаю натуральный обмен: ты мне быстренько рассказываешь, кто вы такие, я – учу тебя плести индейский амулет, он улавливает плохие сны. Ты всю жизнь будешь спать спокойно.

– Я спокойно сплю, – отвечал молодой человек, присматриваясь к ироничному незнакомцу.

– Счастливый. А я – не спокойно.

– Вы надеетесь, мы сможем вам помочь?

– Нет, но могу попробовать.

– Хорошо, пойдемте, я вам все покажу, – пригласил молодой человек, оказавшийся мысквичом по имени Игорь, а по жизни – членом семьи Радуги.

---

## КРАСАВИЦА-РАДУГА

### *Сбывшееся пророчество индейского вождя*

– В самом конце девятнадцатого века вождю индейского племени хопи было видение, – начал свой рассказ Игорь. – В нем вождь увидел, что в будущем наступят темные времена. Животные и растения начнут исчезать с лица земли, люди будут без конца воевать друг с другом и позабудут любовь, и красавица-радуга исчезнет с неба. И тогда появится новое племя людей среди живущих во зле. Эти новые люди придут с любовью, и число их будет множиться с каждым годом. Животные вернутся на Землю, следом вернутся деревья, и, когда любовь утвердится на планете, прекратятся войны. И тогда в небе вновь засияет Радуга. Так и возникло наше движение, движение Радуги, и распространилось по всему миру. Каждый год члены семьи Радуги проводят съезды. В прошлом году наш съезд проходил в Венгрии, неподалеку от деревушки Бакони-бел. Мы приветствовали солнечное затмение. В следующем году в австралийской пустыне Симпсона пройдет съезд воинов Радуги, мы будем праздновать полную Луну. Наши семьи есть уже по всему миру, и в семьдесят втором году старейшины индейцев хопи признали, что пророчество начинает сбываться.<sup>1</sup>

---

– А к нам сюда с какой целью? – спросил Петр. – Что это за стереометрия?

---

1 О «Людах Радуги» подробнее смотри в журнале «Вокруг света»:

– Это группа исследователей глубинного космоса, – охотно пояснил Игорь. – Таким образом они совершают путешествия вне тела. Можете попробовать.

Исследователи связали у вершин жерди конусом, а к вершине конуса подвесили несколько вложенных друг в друга додекаэдров из дюралиевых трубок. Кроме трубок в центре конуса свободно вращалось на веревке сеточное креслице. В креслице покручивался смуглый до черноты человек, похожий на индуса или пакистанца, или еще кого из первых индоариев, обладатель абсолютно правильных черт лица, длинных ресниц, густых бровей, жгучих черных глаз, ровных белоснежных зубов, красивого торса, худых ног и сизого бугристого члена, в своих сексуальных привычках непосредственный, как животное, как обезьяна. Петр долго рассматривал его отрешенное лицо, пытаясь угадать, какие глубины открылись человеку в додекаэдре.

– В следующий раз, спасибо. Так вы сюда?..

Что ж, Петр, этот гармоничный мужчина, тоже не всегда умел сохранить душевное равновесие и быть ласковым и приветливым со всеми, кто ласков и приветлив к нему.

– Видите ли, мы чтим природу и не отдаем предпочтения ни одной религии...

– Ну.

– Ну так вот. Мы уверены, что где-то здесь Будда нашей калпы Гаутама Шакьямуни оставил свой Золотой След, когда в последний раз обходил Землю.

---

## СЛЕДЫ ГАУТАМЫ

### *Легенда*

Когда ему пришлось время выйти из сансары на другой берег – разорвать цепь перерождений и погрузиться в нирвану, Сиддхартха Гаутама, Просветленный, покинул сангху и направился к высоким горам на севере. Их снежные вершины сияли под солнцем как алмазные, и где-нибудь посреди этого прекрасного сияния, подумалось Сиддхартхе, было бы хорошо оставить ему свою бrenную плоть.

Никто из учеников не видел его ухода. Проснувшись ранним

утром и не увидев Учителя, сидящего в позе лотоса под старым баньяновым деревом, архаты переглянулись и, подумав про себя, что Учитель постарел, как его любимое дерево, и не сможет уже каждое утро первым совершать положенные омовения и молитвы, ибо, как учил и сам Сиддхартха: «Мудрый угасает, как лампада», встревоженные архаты приблизились к шатру Учителя, чтобы справиться о его здоровье. Тут они и увидели, что полог шатра откинут, шатер пуст и нет старого выбеленного дождями посоха, обычно стоявшего справа от входа, и грубой глиняной чашки для подаяний, обычно лежавшей слева.

А Сиддхартха в этот самый миг времени брел по дороге уже в десяти поприщах от ашрама и тихонько посмеивался про себя: внутренним взором он видел, как сокрушены его ученики постигшей их утратой. В другое время он, преисполненный истинного сострадания к живым существам, не стал бы посмеиваться, но теперь, когда он был готов перейти по ту сторону кармы и необходимости, добра и зла, его бодхи, то есть духовная сущность, и его телесная оболочка то мерцали, как пламя двух свечей на ветру, в неизмеримо ничтожные мгновения неисчислимое количество раз заново принимая формы всех своих предыдущих воплощений, то на какое-то время застывали, как две капли расплавленного воска, брошенные в холодную воду, в каком-нибудь одном из всего множества возможных своих состояний.

Он был грозным царем могущественного царства и восседал на золотом троне, наслаждаясь сладостными телодвижениями обнаженных танцовщиц, но ноги его подергивались, как лапы спящего животного, и грудь вздымалась в частом дыхании: в этот же миг он чуть-чуть был еще свирепым тигром, преследующим трепетную лань.

Его язык брахмана молился Вишне – его глаза городского бедняка, изнемогающего от жажды, в тщетной надежде пилились на мокрую бочку водовоза.

Его потрескавшиеся соски многодетной матери полнились жирным молозивом – его руки воина сжимали рукоять тяжелого кривого меча.

Его гибкая рука мальчишки примеривалась метко бросить ка-

мень – его полные, влажные девичьи губы боролись с безудержным смехом.

Его правый глаз бодисатвы лучился мудростью – в его левом глазу деревенского дурачка плескалось потешное безумие.

Когда на глаза ему попался заплаканный мальчик, бегущий по пыльной дороге с прутом в руке, в сандалию Сиддхартхи как раз попал острый камешек. От легкого укола в пятку его бодхи и телесная оболочка неудачно совпали на миг в облике одряхлевшего телом, но проказливого, как бабуин, старца в выцветшем монашеском одеянии.

Своим внутренним взором, от которого не смог бы укрыться даже жук-древоточец, даже если бы он миллионы лет вгрызался в корни Вселенной в самом дальнем из неисчислимого множества миров, свет звезд которого не дошел еще до наших телескопов, Сиддхартха Гаутама, Просветленный, Избавитель, мог бы увидеть, чем так мальчик расстроен и куда он так спешит, но одряхлевший старец мог лишь догадываться по опыту жизни, что вчера мальчик не запер коз в загоне, к утру козы разбежались, родители дали ему за это взбучку, и вот он бежит и разыскивает беглянок. Сиддхартха Гаутама показал бы, конечно, мальчику, где пасутся его козы, но шkodливый старец вместо того вздумал так поразить чем-нибудь мальчика, чтобы тот забыл о козах и побежал рассказывать разгневанным родителям о чудесном старике.

«Мальчик, – остановил он мальчика. – Хочешь, я подпрыгну выше этого дерева?»

«Ты разве факир?» – удивился мальчик, ибо остановивший его старик был в желтом одеянии странствующего монаха, опирался на посох, и эта, конечно же, чашка для подаваний болталась у него за пазухой на впалом животе самана, то есть аскета.

«А выше той горы – хочешь?» – спросил тогда старец, показывая на белоснежную вершину священной горы Кайлас, как нарочно показавшуюся в голубых просветах белых облаков.

«Да ну... Не сможешь!» – не поверил, конечно же, мальчик, от удивления забыв даже обругать как-нибудь недостойного шутника-монаха. От родителей мальчик знал, что на священной горе Кайлас восседает владыка Гималаев Химавана и никто не может дерз-

нуть и потревожить его в его размышлениях.

«Ну, смотри!» – сказал тогда старец и, сильно оттолкнувшись от земли, действительно, взлетел на вершину Кайласа, мелькнув в воздухе полами желтого халата. Толчок был так быстр и силен, что земля в том месте стала проседать в огромный провал в форме человеческой ступни, а когда испуганный мальчик осмелился и подошел к краю провала, от сильного жара снизу ему пришлось закрыть лицо руками: из земли на дне выступало жидкое расплавленное золото.

От сотрясения бодхи Сиддхартхи мгновенно изменилось, а холод на вершине священной горы Кайлас был так силен, что новое бодхи сразу же застыло, как расплавленный воск, брошенный в холодную воду, и вместе с ним изменился, конечно же, и его телесный облик. От прогретой жарким весенним солнцем земли дрожащей подагрической ногой отталкивался старик – на лед на вершине Кайласа мускулистой ногой встал полный жизни и сил юноша с быстрыми, плавными и точными движениями. Эта свободная игра телесных сил так ему понравилась, что с вершины юноша тут же взял, да и перескочил на вершину Джомолунгмы, так что погруженный в размышления владыка Гималаев даже не успел по-настоящему разгневаться. С вершины Джомолунгмы юноша разглядел далеко-далеко на севере нагромождения огромных кусков сахара, как ему показалось – в этот миг он ведь не был Просветленным, а был неопытным молодым человеком, полным сил и жажды жизни и новых впечатлений, будоражащих горячую кровь, и он стал прыгать с вершины на вершину, держа направление на север: ему захотелось полакомиться сладким, как случается со всяким молодым человеком.

Но телесные силы этого прекрасного юноши не были беспредельны: Сиддхартха вновь был всего-навсего сыном брахмана, достигшим лишь седьмой ступени агва-йоги, и он не мог, конечно же, в один прыжок перемахнуть с северных отрогов Гималаев на южные отроги Алтайских гор.

Он оттолкнулся левой ногой от горячего песка между пустыней Такла-Макан и Турфанской впадиной – и возникло соленое озеро Лобнор с топкими берегами.

Перемахнув одним прыжком через восточные отроги Тянь-Шаня, он оттолкнулся правой ногой от камней Каракорума, и возникло



пресное озеро Баграшкёль.

Зацепившись полой халата за невысокие вершины Монгольского Алтая, левой ногой он пробороздил холмы Казахского Мелкосопочника, и возникло синее озеро Зайсан, к несказанной гордости будущих казахов.

На дне каждого из этих озер остался его золотой след в форме его ступни, размерами пятнадцать локтей в длину и пять в ширину и весом – семидесяти пяти быкам не сдвинуть с места.

Примериваясь с вершины безымянной горы, которую позже назовут Белухой, как бы ему не увязнуть в бесконечных болотах, которые позже назовут Великой Тюменью, юноша увидел далеко внизу у подножия горы витой рог архара. Не в силах сдержать любопытства, юноша спустился к рогу, чтобы получше его рассмотреть, и каково же было его удивление, когда он увидел, что в пустом роге, как в пещере, сидит человек. При этом сам человек не уменьшился в размерах и рог не увеличился.

Это был не кто иной, как прославленный мудрец, лучший йогин и великий отшельник Тенцинг Маларайпа, человек богатой биографии, достигший божественной святости за одну жизнь, возвысивший множество нечеловеческих существ. В роге он укрывался от снежной пурги – в этих суровых северных горах вовсю еще хозяйничала зима.

«Что ты скачешь тут, как горный баран, и мешаешь мне размышлять?» – сердито сказал юноше великий отшельник.

«Кто ты, о кудесник, и как ты это делаешь?» – с почтением спросил в ответ юноша.

«Зачем задаешь пустые вопросы, разве сам не знаешь?» – отшельник не на шутку рассердился и желал поскорее отвязаться от докучливого юноши.

«Не знаю, хотя и достиг седьмой степени агва-йоги, – признался юноша. – Прими меня, недостойного, в ученики, почтенный учитель».

«А что у тебя в правом сандале?» – хитро прищурился отшельник.

Юноша в удивлении пошевелил ступней, опять укололся об острый камешек, мигом все вспомнил и понял, что его вновь искал могучий демон Мара, как тогда под баньяновым деревом, и на

сей раз он едва не поддался искушению и не свернул с истинного пути. Юноша в сердцах плюнул в сторону далекой пещеры в темных лесах загадочной страны Баргуджин-Тукум, в которой Мара предавался мрачным размышлениям. От его плевок образовалось великое озеро Байкуль с жирной рыбой голомянкой, через которую можно читать газетные заголовки.

Тогда, отойдя от удивительного йогина на три неизмеримых шага, Сиддхартха Гаутама, Светоч, Тот Кто Пришел, не теряя ни секунды, улегся на землю и навсегда покинул свою брнную телесную оболочку, ничего при этом не сказав.

Тело его тут же превратилось в червонное золото и ушло под землю на три сажени, чтобы вновь явиться миру лишь к концу нашей кальпы, незадолго перед тем, как Майтрейя, будда грядущего мирового порядка, спустится из тушита, четвертой из низших девалок, той части сансары, где обитают боги, которым Майтрейя, дожидаясь времени, когда сможет спуститься в мир людей, проповедует пока дхарму.

---

– Нашли хоть один? – через огромную силу вежливо поинтересовался Петр. – След.

– Пока нет, и не все в Движении верят, что найдем, но мы тоже хотим попробовать. Приметы сходятся здесь.

Петр невольно улыбнулся:

– Какие тут могут быть приметы? Речка, лес – как везде.

Игорь повел рукой по сторонам:

– На космических снимках эта долина имеет форму человека, лежащего на спине. Руки у него вытянуты вдоль туловища, а голова чуть склонена на бок. В хатха-йоге эта поза называется праджня-шикьята-асаной, позой отдыхающей змеи. Йоги принимают ее для глубокого отдыха.

От балагана, где дымились чугуны с мутным варевом, поплыл сильный и высокий звон рельса, и чуть потише – размеренные выкрики:

– Food searcl! Food searcl!

– Пойдемте, сейчас Большой Круг Еды, – сказал Игорь. – У тебя нет чашки, брат. Я дам тебе свою.

– Спасибо. В следующий раз. Ты уж иди к своим, брат. Желаю

тебе найти Золотой След, брат.

– Приходи еще, – на прощанье пригласил Игорь. – Помог я тебе?

– Отчасти, – раздельно выговорил Петр. – Но как быть остальным?

– Мы никого от себя не отталкиваем и никого к себе не зовем. Чужими глазами увидишь чужие горы, чужими ушами услышишь чужих птиц, чужими ногами пройдешь чужой путь. Некрепким телом и духом годится лишь мягкая пища, но, чтобы принять крепкую пищу, нужно прежде самому окрепнуть.

– Понятно, – кивнул Петр. – Остальные пускай подождут.

Обитатели лагеря отложили экзотические музыкальные инструменты, повибирались из палаток и потянулись к главному кострищу с мисками в руках. Выйдя на дорогу, Петр оглянулся. Разноцветные Люди Радуги стояли большим кругом, взявшись за руки, и пели. Сверяясь с листовкой – ее вручил ему Игорь, Петр наполовину перевел на слух, наполовину прочел слова гимна:

Мы – дети Солнца,  
Мы – сущности великого Света,  
Мы бредем земными тропами,  
Как ветер по лесу,  
Ткущий нити времен.  
Мы в этом круге Света,  
В спектре Радуги мы видим Любовь,  
Любовь – в живых существах,  
Так говорит пророчество.  
Пусть укрепит наши сердца  
Великий Дух,  
Мы счастливы,  
И мы свободны.

Смеркалось, нужно было поспешать. Он быстро пошел вниз по дороге, чтобы потом свернуть к себе вверх по склону.

## V. ЧУ-УДА! ЧУДА! ЧУДА!

### 1

Начало городу дает заимка у излучины реки, постоянный двор на торном тракте, острожек у слияния рек. На удобное место острожно приходят и поселяются люди, и оно понемногу обрастает домишками, огородами, баньками, лавками, церквушками и погостами. Так начинает расти из ничего, из невидимой точки кристаллизации, редкостный изумруд в каменной толще, так песчинка одевается тонкими слоями перламутра в раковине-жемчужнице, год от года становясь дороже (пока ее кривым ножом не выковырнет старый малаец, искалеченный акулой).

Начало нашему городу положил казачий острожек. Казаки собирали пушной ясак с диких лесных инородцев и отсиживались за его стенами в осаде, если инородцы подступали под его стены, потрясая копьями. Тогда казаки палили по ним картечью из пушчонки, давали залп из осадных пищалей (огромная пуля из осадной пищали бьет, как кувалда), и инородцы мирно расходились по стойбищам, уважительно покачивая головами. Помимо того, острожек служил временным пристанищем для казачьих ватаг, идущих дальше на восток. Рано или поздно он был бы заброшен и забыт, разделив судьбу множества других таких же острожков, затерянных в сибирской тайге, если бы не его удобное географическое положение – у слияния рек на границе таежной и лесостепной зон. По этой узкой ландшафтной полосе и прошел с запада на восток, от Мысквы до Нерчинска, Великий Мысковский тракт. Севернее простиралась непролазная заболоченная тайга, а в степях южнее кочевала немирная Киргиз-Кайсацкая орда, платившая дань бухарскому эмиру. Дань ордынцы предпочитали платить русскими пленниками, первые русские в Сибири опасались Дикой Степи, как и всегда русские ее опасались.

По тракту пришли крестьяне, мечтавшие о вольном труде на ничейной божьей земле, пришли стрельцы – оборонять их от набегов степняков, приехали чиновники – судить и собирать подушную подать, понаехали евреи – торговать и шить модное платье, и вокруг острожка закипела жизнь, скоро приобретшая все видимые признаки городской. Выросли каменные дома, улицы обросли деревян-

ными тротуарами и торговыми лавками, вознеслась белокаменная Божья Матерь Одигитрия, прокатилась первая пароконная бричка, громыхая железными ободьями по торцам мостовой. А потом пришел железный ТрансСиб, и пошло-поехало по нему с запада на восток и с востока на запад!

Вообще город наш делится на Город – исторический центр города на правом берегу; Заречье – все заселенное левобережье (за исключением Нового Города – жилых районов, относительно недавно возведенных на левом берегу повдоль Мысковского тракта); спальные микрорайоны с псевдопоэтическими названиями, вроде «Солнечный», «Лесной», «Дальний» и проч., и рабочие поселки крупных промышленных предприятий, или, как говорили раньше, соцгородки: ПВЗ – рабочий поселок паровозовагонного завода, теперь переименованного в ЛВРЗ, труднопроизносимый локомотивовогоноремонтный завод; Машзавод – рабочий поселок авиазавода, ради секретности долго называвшийся машиностроительным (хотя МИГи и «Сушки» всю барражировали над ним, ревом турбин разрывая воздух в небесах); Комбинат – рабочий поселок металлургического комбината; ЗММК – рабочий поселок завода мостовых и металлических конструкций; Мясокомбинат, Мелькомбинат, Радиозавод, Аэропорт – не нуждаются в расшифровке. Я еще не все перечислил. В Сибири нет города, большинство жителей которого не составлял бы промышленный пролетариат. Любой большой сибирский город – это «Детройт», это «Чикаго».

---

## 2

---

Если с высоты, левобережное Заречье – это огромное плоское скопище одноэтажных домишек, косо рассеченное какой-то длинной кишкой. Кишка эта – узкая, кривая, неровная улица Трактовая. Относительно нее Заречье делится, как амеба, на Верхнее, или Старое, и Нижнее, или Новое.

Город наш стоит на довольно ровном, но не низменном месте. Даже при самых сильных и долгих паводках, когда река, вспомнив, что она тоже стихия, подступает под гранитный парапет набережной, сковавшей правый берег бетонными латами, а ивы Комсомольского острова торчат над мутными водами лишь верхушками, то и тогда затопляется лишь левобережная пойма шириной в полтора, много в

два километра. На относительно возвышенной, незатопляемой части левого берега и возникла в свое время мещанская слободка в десяток-другой поначалу домов, названная Заречьем. Изначально ее обитатели промышляли рыбной ловлей, перевозом через реку (пока не было моста), охотой на боровую и луговую дичь, сбором ягод, плодов и орехов, огородничеством, скорняжным ремеслом, а главное, скототорговлей. Зареченские скупали у киргиз-кайсаков скот, загоняли мыкающую скотину на плоты мелкими партиями и сплавляли ее по реке в русские поселения в таежной зоне; сплавлялись аж до Толбазина и Мангазеи. Едва ли не всей исконной топонимикой Заречье обязано киргиз-кайсакам и скоту: Кайсацкий тракт (ныне – улица Трактовая); Кайсацкий шлях – узкая дорога от тракта к Кайсацкому острову, на котором устраивались скотьи ярмарки (ныне – улица Серго Орджоникидзе и Комсомольский остров); Кайсацкая протока, отделяющая остров от материка. Правда, спустя время все «кайсацкое» как-то само собой легко заменилось более понятным «китайский» (Китайский тракт, шлях и подобн.), а еще потом все китайское насильно заменилось советским. Переулки Конский, Говяжий, Овечий и проч. тоже во что-то переименовались, и свое исконное именование донесла в неизменности до наших дней, кажется, одна гиблая Коровья Буча – заболоченный участок поймы ниже скотомогильника. Из исконной топонимики Заречья к киргиз-кайсакам и скоту не имеют отношения лишь Куриная протока, разделяющая нынешний Комсомольский остров на две неравные части, да названия трех улиц, многочисленных переулков и неисчислимых тупиков – Нагорная, Подгорная, Большая, Кривой, Ватутинский, Слепневский и проч.; собственно, из переулков и тупиков Старое Заречье и состоит главным образом: зареченские как промышляли наособицу, так и селились, так и жили.

Жили же мучительно. Мучились, главное, тяжелой завистью. Завидовали удачливым соседям и городским. Соседу, случалось, и красного петуха подпускали, даже рискуя тоже погореть, а к городским, за их недосыгаемостью, питали сложную смесь чувств. Их жизнь представлялась зареченским через реку легкой, красивой, беззаботной, и этой чужой воображаемой жизнью они любовались издали, как недосыгаемой мечтой. Стоило же однако городскому

мещанину неосторожно загулять в Заречье, зареченские, убедившись, что вблизи чужак ничем от них не отличается, легко его били, больше от разочарования, чем по злобе. С началом двадцатого века часть зареченских подалась в рабочие мастерских депо и кирпичного завода за старым кладбищем, но таких было немного, и общего пакостного, замкнутого, тяжелого выражения своего лица зареченское народонаселение не изменило; да и с чего, спрашивается, было менять? Зареченские слыли (и доныне слынут) горькими пьяницами, сильными кулачными бойцами, выдумщиками, склонными к диким измышлениям, а в целом – ненадежным, заносчивым и беспутным народом. В Заречье же еврейка Фелицата открыла второй в нашем городе публичный дом, что нравственного облика лихого населения отнюдь не улучшило, равно как и пересыльная тюрьма, построенная чуть позже (и ныне превращенная в следственный изолятор).

Таким нравственный облик зареченских остается и до сегодня. Десятилетия советской власти не внесли в их жизнь благотворных изменений, даже ухудшили ее. Как закончился НЭП, так сразу закончились зареченские кулацкие огороды на плодородных пойменных землях (прямо-таки по-египетски плодородных, разве что только нильские крокодилы в нашей реке не были замечены). Однажды погожим весенним утром свежевскопанные грядки были истоптаны уполномоченными наркомзема в кожаных куртках. Возмущенным бабам уполномоченные радостно объявили, что тут будет парк имени двадцати семи бакинских комиссаров, расстрелянных английскими колонизаторами. Бабы побежали за вилами, да мужики их остановили, выказав дальновидность, присущую мужскому полу. «Ишь вы какие! – говорили мужики. – Власти перечить надумали?! Укорота себе захотели?» Бабы вняли, отчего никто и не пострадал. До парка у безумной власти руки не дошли, но огороды были заброшены. На их месте сами собой возникали самостройные Нахаловки и Шанхай с улицами без названий и халупами без номеров. Народ их населял разный, но на поверхность всплыла и оказалась на виду, разумеется, самая сволочь, то есть которых жизнь сволокла в Заречье, да там и бросила: старые уркаганы, отмотавшие долгие срока, цыгане, отбившиеся от табора, беспробудные пьяницы, пропившие городские квартиры, и проч. В конце пятидесятых

– начале шестидесятых Шанхай и Нахаловки слились в Новое, или Нижнее, Заречье, а та исстари заселенная часть левобережья, которая прежде, собственно, только и называлась Заречьем, оказалась Старым, или Верхним, Заречьем. Верхнезареченские стали зваться жилами и куркулями, нижние – пьянью и ворьем. Раньше зареченская молодежь ходила через мост бить городских, теперь стала драться между собой. Драки происходили обычно в Чермашне, то есть на дугу перед Коровьей Бучей, а граничным рубежом стала улица Трастовая, то есть прилежащий к городу кусок старого Кайсацкого тракта, ныне называемого Гусиноозерским.

Скажу и о тракте немного. Именование «Гусиноозерский» для него слишком коротко. Если смотреть от нашего города, идет он в общем направлении на юг и много, много дальше Гусино Озера и Гусиноозерска, шахтерского городка. Обогнув озеро и городок с востока, тракт режет ковыли Бугульминских степей, огибает с запада предгорья Большого Саяна (откуда ручейком стекает великая сибирская река, давшая жизнь нашему городу), в виду снежных шапок Горного Алтая круто сворачивает на запад к Караганде, берет вновь на юг и углубляется в солончаки вокруг пресно-соленого озера Балхаш, огибает его как-то и взбирается до Иссык-Куля. Он бы и до пустыни Такла-Макан дотянулся, если бы не пики и пропасти Тянь-Шаня. Нечего и говорить, что в этом направлении, то есть с севера на юг, продвигались по тракту главным образом русские: сначала казаки, а затем крестьяне – и началось это продвижение не раньше семнадцатого века, в историческом масштабе вчера. Поэтому исторически вернее будет смотреть на тракт в противоположном направлении – с юга на север. Тогда история его потеряется совсем уж в доисторических временах эпохи последнего оледенения. Тракта как такового тогда и быть, разумеется, не могло, а были петляющие перепутанные тропы, протоптанные в мягкой, только что оттаявшей ледниковой тундре свиными копытами ископаемых шерстистых носорогов и кожистыми подушками вымерших мамонтов. Стада носорогов и мамонтов прошли за отступающим на север ледником, а по пятам за ними прошли племена неандертальцев, трупоедов и падальщиков. Через сколько-то тысяч лет тем же путем на север по долинам сибирских рек прошли первые го-



мосапиенсы, предки самых коренных обитателей Крайнего Севера: ительменов, коряков и чукчей. Сапиенсы поубивали каменными топорами волосатых большоголовых неандертальцев и попутно одомашнили северного оленя. Еще позже проходили туда-сюда, с юга на север и обратно торговые караваны каких-то неведомых истории предприимчивых народов, менявших сокровища тогдашнего мира: страусиные яйца на мамонтовые бивни, и лишь в конце двенадцатого века прошли хорошо известные истории непобедимые тумэны хана Джучи, сына Чингисхана от его первой и любимой жены Борте Чино, и началась кровавая история улуса Джучиева. В 1227 году Джучи сломали позвоночник, чтобы не проливать кровь чингизида, и его улус разделился на три части, в том числе на Белую Орду от Иртыша до Тарбагатайского хребта и Семипалатинска. А там уже совсем скоро шестнадцатый век, шейбанид Кучум (то есть потомок Шейбани, третьего сына Джучи), убивший Едигера, купцы Строгановы, донской казак Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири, утонувший под тяжестью легендарного панциря, и стрелецкие полки Ивана Васильевича IV Грозного, с 1555 года «всеа Сибирския земли повелителя», укротившие дикую казачью вольницу.

А потом началась Смута и династия Романовых. Романовы завершили дело Великих князей Мысковских из княжеского дома Ивана Калиты, но в лице последнего несчастного императора привели империю к краху. На ее руинах героические большевики построили Советский Союз, но новая империя просуществовала еще меньше. Империю растащили по национальным квартирам потомки местной родовой знати. Сначала родовая знать присягала белым царям на верность, позже ушла в басмачи, потом вступила в партию и советскую номенклатуру и лишь совсем недавно вспомнила идею национально-государственной независимости, родившуюся в Европе девятнадцатого имперского века. И Кайсацкий тракт захирел. Когда-то по тракту с гиканьем и свистом гнали табуны и отары киргиз-кайсаки, скакали бешеные фельдъегеря с сургучными пакетами, проходили степенные купеческие обозы, прошли колонны первых отечественных полуторок – возводить по национальным окраинам промышленные гиганты первых сталинских пятилеток, теперь же по нему, хлопая тентами, изредка напропалую проносят

ся грузовики, еще реже, сильно кренясь, виляют меж колдобинами шальные междугородные «микрики» и уж совсем редко пускают в космос огромных солнечных зайчиков большие стекла «Икарусов». Но одно время, то есть в семидесятые годы прошлого века, по тракту проходили очень большие транспортные потоки, когда колхозы и совхозы сдавали в город шерсть, молоко и мясо. Кишка нынешней Трактовой улицы для них оказалась узкой. В объезд Заречья, западнее, проложили новое дорожное полотно, широкое и прямое, и зареченская часть старинного тракта обратилась окончательно в улицу. По ней изредка проносятся битком набитые городские маршрутки, да натужно ползут грузовики с поддонами свеженького горячего кирпича: кирзавод снова заработал на полную; пахнущие свежей кожей тюки с обувной фабрики перевозятся грузовыми «Газелями». И заметного оживления в жизнь улицы «Газели» не вносят.

### 3

На должности настоятеля Зареченской церкви Николая Мирликийского молодой и очень грамотный батюшка отец Михаил сменил почившего в бозе отца Иеронима, священника старой, то есть советской еще, выучки и закалки.

Не бывает истинной веры без эпифании, когда Бог являет Себя потрясенной человеческой душе, дабы человек мог в явь ощутить и увидеть Его присутствие во всем сущем не как не явимое, но лишь не явленное до времени. Но является Он всем разным и по-разному. Гордым душам позволяет на один пронзительный миг прозреть все разом горные высоты и мрачные бездны и Себя на Небесном Престоле во всей Своей Силе и Славе, судящего нескончаемые вереницы народов, робких же исподволь приводит к Себе по тихим солнечным промежуткам между высотами и безднами под трели милых птиц небесных, у которых нам всем тоже стоит попросить прощения за что-нибудь. Будущему отцу Михаилу Он явил Себя на втором курсе Византийского факультета МГУ. Студента, имевшего склонность к изучению мертвых языков и философствованию, умственно увлекло превращение первоначально материалистического логоса, понимавшегося Гераклитом, к примеру, в качестве тонкой материальной души космоса и совокупности формообразующих потенций, в логос неоплатоников, понимавшийся ими в качестве

эманации умопостигаемого мира, регулирующей и формирующей мир чувственный. После чего студент прочел у евангелиста в звучном греческом оригинале: «Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он был вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» – и впервые по-настоящему глубоко заглянул в себя. Его внутреннему взору предстал Творец, восседающий на бесплотных херувимах и бесстрастно наблюдающий, как Его субстанциональные эманации переотражаются одна в другой, дробясь и заполняя пустой эфир геометрической игрой радужных красок. Столь же отвлеченно Творец прозирал наши бездны, наше стенающее в муках жизненное кладбище. Конечно, конечно, имела место, возможно, и жизненная драма на почве неразделенных молодых чувств, но не будем преувеличивать ее значения. Жизненные драмы постигают всякого в молодости, но не всякий нуждается после в каком-то особом, обставленном всяческими ритуалами, утешении, не всякий отворачивается после от мира, но, напротив, закаляется и смело подставляет молодую мускулистую грудь жизненным бурям. Осенний ветер обрывает и несет сухие листья с деревьев, оборвать зеленый лист по силам лишь урагану (да и то ураган скорее вырвет дерево с корнем, чем сорвет живой лист с крепкого черенка). К середине четвертого курса в молодом человеке созрело и было твердо и последовательно (слишком, может быть, даже последовательно) исполнено трудное решение. Он сдал на «отлично» зимнюю сессию, забрал документы (не поддавшись на уговоры декана взять академический отпуск) и весной ушел в армию. Я с ним знаком, он женат на моей однокласснице. Много я с ним не общался, но главную черту в его характере, кажется, уловил. Он последователен, как удав, во всем. Уходя в армию, он хотел укрепиться в выборе и окончательно проверить его, испытать себя тяготами и соблазнами суетного мира, исполнить гражданский долг. Это он так распрощался с обществом и государством, как бы сказав им: «Все, что я был должен, мной исполнено. Теперь предоставьте меня моим путям и забудьте обо мне». Так монастырский послушник прощается с родными накануне пострига: «Забудьте обо мне, милые мои, родные. У меня отныне

другие братья и сестры – во Христе, отец и мать мои – Спаситель и Богородица, обетоваю Царствия Небесного и за вас буду о том же молить и за всех, все люди отныне мои родные». Он бы и сам в монастырь мог уйти, если б не его духовный наставник старец Епифаний. «Деточка, – сказал ему старец, весело лучась морщинками в уголках глаз, – не по силам будет тебе такой подвиг и героическое служение. Плоть у тебя молодая, сильная и горячая, не совладать тебе будет с ее зовом, и не того, вижу, Господь от тебя ждет. Быть тебе пастырем духовным по твоему уму и способностям и Слово Божье нести. В брак тебе должно вступить и детей нарожать, чтобы лучше понимать заботы и радости ее, твоей паствы, чем она живет, и верные слова для нее находить. А жену будешь выбирать – выбирай из некрасивых. Христиане должны жениться на некрасивых женах, дабы утешились и они. Не имея телесной красоты, они, некрасивые, имеют великую красоту внутреннюю. Они, бедняжки, видят, что не пристраиваются, плачут и отчаиваются и склоняются к худшему. Если их не возьмете в жены вы, крепкие христиане, кто их возьмет?».

---

#### 4

Молодой человек так и поступил, то есть в Саратовскую духовную семинарию, и окончил ее из первых. После же семинарии он был направлен в наш благочинный округ и стал служить диаконом в Троицкой церкви. К тому времени церковь как раз была заново практически возведена из руин. Через два года он был рукоположен в священники. В православной церкви это не принято для людей до тридцати лет, но для молодого диакона было сделано гибкое исключение, учитывая особенно нехватку хорошо образованного священства.

Венчался он еще диаконом, и наша Машка, значит, становилась не «попадшей», а «диаконицей». Очень это нас всех забавляло.

---

#### 5

Это была наша первая встреча за шесть лет после школы. В будущем нас ждало пока больше, чем мы уже оставили в прошлом, но можно было уже нам и оглянуться назад, свериться, кто и как оправдал школьные пятерки и грамоты, и посмотреть, не преподнес

ли кто какого сюрприза своей жизнью. Да и просто хотелось посмотреть друг на друга, и приглашение на свадьбу пришлось очень кстати.

Приглашали всех, но собралось человек пятнадцать. На это и был расчет. Особо дружным наш класс не был, чтобы пришли все до единого. Может, слишком много нас было для всеобщей дружбы – тридцать четыре человека. Сподручнее было дружить по трое-пятеро по склонностям характера и месту жительства. В других классах было по столько же. Нас нарожали во второй половине шестидесятых. Белый хлеб и колбаса стали тогда понемногу вновь исчезать с прилавков, но страшный послевоенный голод был уже прочно забыт, и наши матери могли быть уверены, что прокормят нас. Мы, кажется, последнее поколение советских людей, для которого та война может что-то еще значить.

Бабье лето стояло на дворе, и день, помню, выдался погожий – солнечный и ветреный. Под безоблачным, синим, безумно высоким небом, какое бывает только осенью и только посередине континентов, на большом удалении от прибрежной сырости, дышалось легко и быстро. Дворники жгли в кучах опавшие пожухшие листья, отчего воздух, который мы полной грудью вдыхали, слегка горчил, и мы словно вновь стояли на высоком школьном крыльце после долгих летних каникул, нарядные, взволнованные, счастливые, предвкушающие, главное, встречу с томными похорошевшими одноклассницами. Мы сияли, как пригоршня начищенных медных пятак, и громко смеялись, не замечая, что наша веселость несколько неуместна у врат церковной ограды. Троицкая церковь, где должно было состояться венчание, расположена в городском ЦПКиО. Это здесь на месте старого кладбища устроили танцплощадку, чтобы дети плясали на костях отцов. От кощунственной танцплощадки не осталось и доски, но мы-то в юности еще ходили сюда на танцы. Сейчас мы словно вновь пришли потанцевать и повеселиться. Потом прибыли новобрачные, и настала пора нам тоже заходить в церковь. (Наши родители, кстати, в детстве и юности натирали медные пятак ртутью, ее выносили с заводов, где она использовалась в каких-то технологических процессах. Медный пятак начинал походить на серебряный полтинник, и на него можно было купить

два мороженных или один билет в кино. Натирали голыми руками, пальцами, но ртутного отравления ни у кого не случилось. Не знаю почему.)

Я уже говорил, что вырос в рабочем поселке. Основное его население составляет атеистический пролетариат. Пролетарию не нужен какой-то другой Творец. Он сам умеет делать из металла разные сложные вещи, по чертежам или из головы, и в бога у нас в поселке как бы дозволяется верить только старым и больным. Молодым и здоровым у нас в поселке верить в бога как-то странно, означает идти слишком уж против общего направления, и такого почти не бывает. Многие из нас и попа-то живого увидели вблизи впервые, и наши девчонки, входя в церковь, повязывались платочками со смешками и выражением некоторой неловкости на лицах. Не все конечно. Кое-кто из моих одноклассниц обладал врожденным, похоже, даром держаться естественно и непринужденно, и к двадцати-то трем годам вполне сознательно им овладел. Эти наши молодые дамы повязывались платочками так же легко и просто, как от плохой погоды.

Им легко было и истуканами стоять, когда вокруг все дружно начинают креститься. Это оказалось самым мучительным, почти невозможным. Не креститься и простоять битых два часа, ни слов не разбирая, ни смысла не понимая, ни красоты, не смея руку засунуть в карман или выйти покурить. Об этом нас отдельно предупредили. У паперти нашу веселую толпу подкараулил совсем молодой поп, моложе нас года на два; думаю, дьячок. Мы окружили его, как пчелы матку, мы были готовы внимать ему, как овцы пастырю. Пацан терпеливо дождался, когда с наших лиц испарятся остатки смеха, после чего тихим паучьим голосом обстоятельно поставил нас в известность, что сейчас произойдет очень радостное и важное событие, что мы должны стоять за невестой и что ходить по церкви и покидать ее до окончания венчания крайне неприлично. Нам лучше сразу не заходить, если мы не уверены в себе. Как-то ловко у них выходит упорно не смотреть тебе в глаза при разговоре, специально, что ли, учат? Я даже стал опасаться, как бы, натерпевшись в церкви, мои атеистические одноклассники не переборщили за свадебным столом, перескочив одним махом из неуверенности,

скованности и скуки в развязность и хамство. Хотя за девчонок-то я был спокоен. Я боялся, что наши парни, подпив, начнут вставать с попом на равную ногу, похлопывать его по плечу, называть «Михой» и подкидывать, на самом ли деле на облаке над нами сидит добродушный старичок и всем сверху потихоньку заправляет, дергает нас за ниточки.

Опасения мои оказались напрасны. Даже и не было их вовсе, а я их только что вообразил, задним числом преувеличив нашу неспособность подпасть под общее настроение благопристойности и меры, царившее за свадебным столом. Во главе его восседали старые важные попы, к которым все по очереди подходили благословляться, и наша Машка тоже кланялась и целовала им руку, и тосты говорили о духовном, и пили помалу. Да мы и слов-то таких прежде не слыхали: «человек» (в смысле мужчина), «жена» (в смысле женщина), «товарищ» (единомышленник, заединщик, а не «товарищ майор», допустим). «Прилеплялся» особенно нам запомнилось и «дабы», то есть человек, оставив отца и мать, должен прилепиться к жене, дабы вместе с ней вкушать радости жизни, то же и жена должна. Наши девчонки слушали такие слова, немного как зачарованные, и не забывали следить, чтобы мы слишком уж не «отстегнулись». А были основания: не сговариваясь, мы уселись подальше от попов, и скоро все пять или шесть бутылок водки, выставленных на столы, как-то сами собой потихоньку переместились поближе к нам. Наши парни их понемногу приканчивали, отчего покраснелись, оживились и стали даже перемигиваться на попов. Но в чем, собственно, и состояла вся тягота, даже чокаясь водкой, они все равно не забывали, где находятся. Их лица покраснелись равно от выпитого и от напряжения. Они боялись забыться, сорваться и оскорбить присутствующих взрывом хохота.

Так бы оно и случилось, если бы застолье не завершилось. Зато когда гости тихо разошлись (не забыв благословиться), мы, все пятнадцать, поехали к кому-то домой и стряхнули с себя оцепенение. Как только расселись за наскоро накрытым столом, враз заорали и захохотали; девчонки тоже, им тоже было не совсем по себе на свадьбе без танцев.

Но это после. А тогда, по крайней мере у меня, никогда еще не

было так легко и спокойно на сердце, гуляя на чужой свадьбе. За чужие неловкости мне тогда самому становилось мучительно неловко. Люди же, которые нас окружали на Машкиной свадьбе, не способны были на неловкость. Слишком уж беззаветно, по-братски и по-сестрински они любили друг друга, нас, могучего старичка на облаке где-то над нами и его распятого сына. Такая любовь не знает неловкости, как не знает она, по апостолу, и страха с завистью.

Хотел ведь о Маше рассказать, да вот куда вынесло. Ладно, может, будет еще случай.

Вот какое ощущение в себе сейчас вызываю, вспоминая ее свадьбу: есть, кажется, какое-то изощренное сладострастие – заниматься этим при трепещущей лампадке, тускло освещающей темные лики на образах и твои голые работающие ягодицы.

## 6

Назначение на должность настоятеля явилось полной неожиданностью для отца Михаила.

Благочинный, среднего роста, сухой, молчаливый, мрачный человек в черном, не очень еще старый, по первым впечатлениям представлялся отцу Михаилу человеком косным и невежественным. В выполнении правил и установлений церковной жизни благочинный выказывал строгость до жесткости, даже неписаных. Они для того и не записываются, чтобы допускать известную гибкость в следовании им, сообразуясь с изменившимися обстоятельствами, но именно тут благочинный выказывал более всего непримиримости, словно шел по какой-то видимой лишь одному ему кратчайшей прямой дороге, когда другие неверными шагами пробираются по обочь, спотыкаясь и падая. Требовал, к примеру, чтобы перед сугубой ектенией протоиереи и дьяконы клали не малые кресты, когда персты часто-часто касаются мечевидного отростка (солнечного сплетения) и середины груди, а непременно большие, когда персты размашисто прикладываются к пупку и самым плечам. Нигде это правило не записано, а только так принято было в Русской Православной Церкви с десятого века по Студитскому уставу. Да только кем это правило теперь-то исполняется, кроме разве что схизматиков-старообрядцев и то не всех толков? Большой резонанс в церковной среде вызвало также его требование соблюдать некоторые



устаревшие, как многим мнилось, правила монастырского общежития. Посетив однажды нашу Нилову пустынь, благочинный строго попенял игумену, что монахи, испрашивая разрешения войти в келью к брату, просто-напросто стучатся в дверь, как это заведено в миру, тогда как в монастыре при такой надобности полагается сотворить вслух молитву: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас» (в женском монастыре: «Молитвами святых матерей наших...») – и не входить, не дождавшись из-за двери: «Аминь». Такая строгость в этом и других подобных случаях вызывала уважение к благочинному, но не допускала симпатии и любви.

И вот этот строгий, жесткий человек допускает одно за другим сразу два отступления от неписаных правил церковной жизни, словно делает два неверных шага в сторону, нащупывая ушедшую из-под ног тропу. Ходатайствует перед епархиальным начальством о рукоположении в сан священника человека моложе тридцати лет, а через короткое время ходатайствует о его назначении настоятелем одного из городских храмов. И даже считает нужным с особой обстоятельностью разъяснить ему причины своего ходатайства, чего прежде в подобных случаях не делал. Прежде его устами как бы изъяснялась сама Церковь. В этом разговоре наедине благочинный открылся отцу Михаилу с новой стороны, и отец Михаил навсегда запомнил и сложил в сердце своем свежее чувство открытия в чуждом, косном и неприятном человеке человека неожиданного, сильно мыслящего, глубоко чувствующего, страдающего и симпатичного. Разговор с благочинным отец Михаил, придя домой, записал для памяти. Привожу его, опуская все неважное. Замечу, предваряя, что наедине благочинный имел дар говорить искренне, живо и проникновенно, а на проповеди или в иных публичных случаях дар живого слова его покидал. Когда он видел перед собой скопище не похожих одно на другое лиц, казалось, что он начинает мучительно искать какие-то необыкновенные несуществующие слова, которые были бы равно понятны этим разным людям, не находит их и самым естественным образом опускается до понятных всем суконных штампов, сам это чувствует, отчего мучается еще больше, отчего ненавидистые штампы совсем одолевают его, как русские шведов. Наедине же, повторяюсь, говорил живо и хорошо.

---

## УЖАСЫ И РАДОСТЬ СЕРДЦА

*Рассуждение архимандрита Кирилла (Сокольского)  
о новых временах и пастырях.*

«Бремя, которое на тебя возлагаю, тяжело и неудобно. Вижу: страшит тебя тоже место, где определяю тебе пастырское служение. И то верно: живут там люди косные, неприветливые, зависть и злоба их одолевает, трудно будет тебе достучаться до их заскорузлых сердец. Но ведь помнишь, как хорошо <сказано> у Златоуста: «О, Богородица, источник света, просвещай тьму нашу! О, источник жизни, оживляй нашу душевную мертвенность!» Вот и порассуди: как же Она сможет их просветить и оживить, если они о Ней не слышали и слышать не желают? А без этого и сама жизнь, данная нам всем, всякой твари, по милости божьей, покажется им тяжелой обузой. Да что «покажется»! То есть, когда-то еще в будущем, не завтра, о чем сегодня можно пока позволить совести не печалиться. Уже! Взял я не так давно в руки ихние газеты. Многажды ужаснулось мое сердце! И главное, тому ужаснулось, что жить не хотят. Вешают себя за шею, стреляют из ружей себе в рот, вливают в себя уксус и умирают в тяжких муках, каких китайцу не измыслить. Вот позавчера прочел: один молодой еще мужчина облил себя водкой и поджег. Именно водкой, хотя в гараже стояла канистра с бензином, об этой канистре особо написано было. Жена его, что ли, за пьянство неустанно укоряла, посему и решил принять смерть через водку на зло ей? Не знаю. Но вот мне что сдается: не достало у него сил идти еще в гараж, открывать замки, да и вдруг еще бензина в канистре не будет, значит, придется из бака цедить, да еще нужно прежде шланг для этого найти, да вдруг передумаешь, пока ищешь и цедишь? Вот и облил себя, чтобы поскорее расстаться с жизнью, первым, что горит и нашлось. А нашлось, видать, много: одной-то бутылки, я чай, не хватит облиться с ног до головы, чтобы наверняка уж сгореть. И даже водки не пожалел! Но оказалась та водка плохой и не загорела. И что ты думаешь? Опомнился, о детях вспомнил, жить захотел? Прыгнул в окно (а жил на шестом этаже). Вот как опостылела ему

жизнь. Молодой, здоровый, жена любящая, дети малые! И не один он такой. А что такие-то, кому собственная жизнь не мила, с друзьями, ближними, способны сотворить и сотворяют – говорить много нечего. Сдается мне иногда даже – признаюсь тебе как на духу: это сам наш русский народ надумал себя извести до последнего человека. Молчал-молчал, думал-думал и надумал! Вот и безумствует. Теплится у меня еще надежда, что народ наш просто спит и видит долгий кошмар, но сколько же ему спать? И если даже спит и видит, что будет, когда проснется после такого-то кошмара? Что он еще наворожает, очнувшись? Видел ты, как спят маленькие детки? Посмотришь и умилишься: так, должно быть, ангелы спать только могут, такая у них на личиках невинность и благодать разлита, так дышат легко и беззвучно. А проснется такой ангелочек и что увидит? Пьяную мать? Как у него в слабенькой душонке все перевернется! – и представить страшно. И так ведь каждое божье утро переворачивается! А вырастет этот извращенный ангелочек, и потянется его ручонка к ножу или бритве – миру мстить, не разбирая правых и виноватых. И страшна будет его месть, ох, страшна, особенно если задумает мстить виноватым. А виноватых он легко найдет, а сам не найдет – найдутся, кто укажет, а указать такому можно на любого. Не такие ли церкви динамитом рушили и над святынями, за которые их отцы жизни клали, радостно глумились?

А теперь вот о чем порассуди: что станет с нашей греческой православной верой, если народ, ее так долго хранивший в сердце своем – и сохранивший, сохранивший! – сам себя порешит до последнего человека? Да, знаю, что возразишь. Самим Спасителем нашим изречено: «Нет ни эллина, ни иудея, ни римлянина, ни богатого, ни бедного, перед богом все равны». И, значит, если мы себя и порешим, как надумали, или все скопом в какой-нибудь другой народ запишемся, говорить станем по-английски и по-немецки, гамбургеры есть вместо природной нам тюрки с квасом, то вроде бы Богу-то это все за ничто будет. Так-то оно так, и не нашему скудоумию сомневаться, немыслимая дерзость и гордыня сомневаться, и многие так думают, особенно из невоцерковленных людей, но вот что мыслю.

Перед Богом все равны: римляне, иудеи, богатые, бедные. Но ведь

это только вообще равны, в принципе, в идеале. И ведь слова-то эти великие вовсе не о народах сказаны, думал ты об этом когда? Если сказаны они о народах, при чем тут богатый и бедный? Слова эти, выходит, о каждом по отдельности, будь ты иудей или римлянин, богатый или бедный, но не обо всех скопом. И разве не сам Господь на горе Синай обещал коленам израилевым избранность перед всеми другими, заметь: одним коленам израилевым! и перед всеми другими! – если те, то есть колена, признают его Богом единым и единственным? И разве не сам Господь рассеял иудеев, именно как народ рассеял, но не каждого по отдельности гонял, как муху полотенцем – на это, мню, никакого даже Его всеведения не достанет, и цыган, да мало ли еще кого! Если пред Ним все народы равны, именно как народы, а не как-нибудь по отдельности, почему одни живут в снегах и болотах, а другие под кипарисами? Не все народы равны пред Ним, выходит, и у каждого свое предназначение. Один народ – великий механик, машины призван создавать, другой – философ, мыслить призван, теоремы доказывать, третий – торговец, товары с риском для жизни доставляет, а четвертый – тундру унавоживает. Помнишь ведь, как еще у резноризца Храбра: «И когда разделены были языки, вместе с языками разделены были между народами нравы и обычаи, уставы, законы и знания. Египтянам – земледелие, персам же, халдеям и ассирийцам – звездочетство, волхвование, врачевание, колдовство и все искусства человеческие, а евреям – святые книги, в которых написано, как Бог сотворил небо и землю и все, что на ней, и человека, и по порядку, как сказано в Писании, грекам же – грамматику, риторику, философию».

Но не о них прочих речь, а о нашем русском народе. Об этом тоже много говорить нечего. Вот как думаю: раз истинная православная вера им одним сохранена, то в этом одном и состоит весь его смысл. Великая русская литература, напомним? Но читал ты, что они, русские писатели, сейчас пишут? Бесовство и распутство, от какого в Содоме и Гоморре плевались бы. Да и так ли она велика, какой ее тщимся представить, если даже всю ее взять? Ну, какие есть у нас великие писатели? Пальцев на руке хватит перечесать: Гоголь, Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Некрасов? Ну, еще мизинец. Музыка, скажешь, Чайковский? Чайковский сочинял позже Баха и

даже Бетховена, а можно его хотя бы рядом поставить? Красивые мелодии сочинял, не спорю, душевные, и очень полезно для души его слушать. Но и только-то что «полезно». А красота-то где, та красота, которая способна напугать и лишь этим восхитить?

Прокофьев? Но что в его музыке такого русского, то есть понятного только русскому и никому еще, если он половину жизни по заграницам концерты давал и этим жил, безбедно причем? Нравилось, значит, там и понятно все было в его музыке, если дорогие билеты на него покупали. О науке лучше помолчим: не у нас она появилась, а лучше меня знаешь, где, а к нам ее немцы принесли и нас ей обучили, а продолжили дело немцев тоже сам знаешь кто, чтобы мы спасли их от Холокоста нашими танками и самолетами. За что им спасибо великое нужно сказать и не кидаться им в спину камнями, что на историческую родину подались, а, напротив, удерживать их всеми силами, так сделать, чтобы наша скудная земля стала им землей обетованной. Потому что не наше это русское вообще дело – науками заниматься. Дело русского народа – веру отчю сберечь и внукам передать в неизменности и чистоте.

Но как и чем, главное, он будет ее сберегать? Чтобы взять, нужны усилия, и немалые, чтобы сберечь – неизмеримо большие, когда отнять хотят и порушить. Где ему сил взять на сбережение? Про государство опять говорить не будем: пускай люди государственные думают, как им государство по-новому обустроить, и верно, мыслю я, что Православная Церковь в его дела не мешается, и верно, мыслю, что и государство в ее дела не должно мешаться, и бежать нам самим должно его вмешательства, даже когда и помочь якобы хочет. От этой его помощи и Церкви – прямая смерть, а после и государству – гибель. Вспомни: не оттого ли безбожники к власти у нас пришли, что тайна исповеди была похерена и вера народная в православное священство, которое одно и могло его удержать на краю кровавого безумства, порушена? А кем похерена и порушена, тебе знамо: кому из наших императоров и самодержцев последний безродный немец с Кокуя, лютеранин то бишь, был ближе к сердцу, чем исконный Рюрикович? Вот откуда все изначально пошло – с учреждения Священного Синода, а не с Гришки Распутина. Какая могла быть в простом народе вера священству, которое идет доносить, когда ты

ему грехи без утайки открыл? И не Петр ли в своем указе тысяча семьсот двадцать третьего года постановил: «Во всех монастырях учинить ведомость, колико в них монахов и монахов обретаются, и впредь отнюдь никого не постригать, а на убылые места определять отставных солдат»<sup>1</sup>? Подумай: в монастыри – отставных солдат! Отчего и монастыри запустили, а Анна Иоанновна и Екатерина II подобные же указы издавали! А теперь, что писал, сравни, игумену Косме с братиею наш природный рюрикович, Иван Грозный, хоть и был любострастен паче меры и на пролитие крови христианской дерзостен и неумолим: «Монахам подобает в келии сидеть и нас, государей, заблудших в сени смертной, учить и просвещать»; и не он ли, Грозный же, приводил в пример подкеларника Исаю, который ему – царю! – отвечал так: «Царя, – говорит, – боюсь, а бога надобно бояться и того больше!»

И даже не с Синода все началось, а с другого Гришки, первого – Отрепьева, который уселся на Российский престол на польских саблях. А кто такие поляки? Те же католики и Римские Папы. Поляками у них тогда не вышло веру нашу порушить – спасибо верным стрелецким пикам, немцами зато удалось. Ведь кто такие Романовы? Немцы и есть, по-русски даже не все говорили и русский язык учили, воссев на престол. Да и те же Рюриковичи – кто? Тоже ведь не русские – варяги, а первый из них, сам, то бишь Рюрик, вообще, оказывается, был родичем римского императора Августа, то бишь Кая Юлия Цезаря Октавиана. Не Папы ли Римские подучили новгородцев послать к варягам? Чтобы в немецкую Ганзу вступить, новгородцы готовы были хоть черта позвать! Вот Рюрик и пришел, а его приспешники – Аскольд и Дир – убили в Киеве прямых потомков первого природного русского князя – Кия, который к Царю-граду ходил и великую честь принимал от Византийского императора, как о том Нестор пишет. Но с Рюриковичами у Пап тоже не вышло: Владимир Святославич Первый, креститель, равноапостольный, принял святое крещение в Византии, равно как и его бабка княгиня Хельга, а по-нашему – Ольга. Но заслуга в том, мыслю, не ему принадлежит, а самому нашему народу русскому, который уже и тогда предчувствовал в глубинах своего сердца, какую веру

1 «Указы Петра I» (П.С. З. т. VII, 4.4.5.5.).

ему принимать надлежит, и князей пришлых, варягов, заставил ее принять. Не самим ли апостолом Андреем Первозванным был первый крест на Днепровских горах воздвигнут, когда еще и Киева-то не было? И не сами ли киевляне сказали потом Владимиру: «Ходили мы в греческую землю и церковное пение слушали – греческой веры ум человеческий не в силах вместить красоты и доброты! Стояли и не знали: на земле мы еще или на небесах уже!» Но они, Папы, от своего не отступились и лютеран на помощь позвали. Хотя они и собачатся между собой: католики и лютеране, – но против нас все свары мигом откладывают и на время забывают. Потому и теснят нас. И, главное, тем теснят, что все новое, заманчивое, соблазнительное от них исходит, и наш простодушный народ смущает и с пути истинного сбивает. Вот я и стараюсь по мере сил моих малых отстоять, как могу, заветы и правила святых отцов наших, и хоть не очень жалуют меня за мою твердость, знаю, от своего не отступлюсь. Думаю я: народ наш нужно обратно по деревням расселить, а города пускай лядиною<sup>1</sup> порастают. Не русское это дело – города строить. Не в городе русский народ образовался, не в городе ему и жить. Ему землю пахать, а не у вонючего станка стоять и душой томиться, у станков пускай немцы и англичане стоят, они их выдумали и у них это лучше нашего выходит. Как бы мы ни тужились – русского «мерседеса» не сделать!

Но раз так оно все идет, и давно идет, то ведь и нашей Церкви, скажу тебе как на духу, не убежать нового.

Вот посмотри: «Езеро закона, сиречь иудейства, пресыше, евангельский же источник наводнився и всю землю покрыв, и до нашего языка русского пролиався, и мы вместе со всеми христианами славим Святую Троицу, а иудея молчит». Сердце радуется от этих слов нашего первого русского митрополита<sup>2</sup>, но ведь опять же сказано: «со всеми христианами», сиречь вместе с римлянами, и сказаны они, эти слова, уже десять веков назад. А мы как ходили в рясах, так в них и ходим, как покрывали оклады сусальным золотом, так и покрываем, а тем ли паству завоюем и удержим? Это тогда золото было дорогой редкостью, а теперь его на каждой шмакодавке

1 Лядина (древнерусск.) – молодой лес.

2 «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, XI век.



увидишь – в пятом классе золотые сережки носят! – а серебро и за драгоценность не почитают. Это тогда дикаря и язычника нужно было прежде золотом и всей внешней красотой восхитить, дабы тем вернее восхитить его душу, но сейчас-то вокруг нас не дикари, и золотом их не удивишь. Их ничем не удивишь: им мнится, что они вся видели, вся знают, вся прошли, вся стяжали, вся совокупили и вся рассмотрели. Не нарочитой ли простотой этих-то следует удивлять и восхищать? И не вернуться ли нам к простоте первых лет христианства, когда не то что золота и серебра, бронзы в храмах не имелось? Да и храмов-то не было. Не гордыня ли в нас говорит, когда мы норовим купола золотом покрыть, чтобы чаще нас Господь замечал, будто Он нас без того и не увидит? В клобуках и рясах тогда тоже все ходили, тогда это обычной для всех одеждой было, а одно, что христианина от невегласого язычника отличало – крест животворящий на груди. Так почему же мы до сих пор в той, старой, одежде ходим? Не гордыня ли и это в нас? Дескать, мы одни старую веру сохраняем. Не прячемся ли от мира за рясами и клобуками? И не хотим ли обмануть его нашим золотом? Думал ли ты когда, что если Господь наш Иисус Христос снова явится, не судить последним судом, а так, как в первый раз, – в чем Он сейчас-то будет? Не в джинсах ли? Тоже ведь молодой человек был, тридцать три года всего. В джинсах будет и кроссовках еще поди, не в рясе! Может, Он даже и нас, своих слуг, за ряженных примет!

А теперь посмотри, что у них, у латынян хотя бы, делается: на гитарах в храмах играют, дабы молодежь завлечь, женщин в епископский сан посвящают, наркоманам наркотики даром раздают, высшим иерархам табакокурение не возбраняют! А ведь многие и там верят из глубины сердец и не ради одной карьеры и мирских соблазнов, хотя и заблуждаются, и соблазнам поддаются. Хоть и предаются они там бесовским пляскам на самбадромах, но ведь веруют, веруют и крестом себя поминутно осеняют! Пускай даже и дьявол в них играет, но сам посуди: какой же он тогда и дьявол, если крестом себя осеняет? Ох, горе мне, слаб мой ум! И не крестом ли пятьсот человек с Кортесом целый континент завоевали и покорили? Я так думаю, захоти инки и прочие – они камнями бы их побили, и лошади, коих они якобы испугались, тут тоже ни при чем. Крест истинной



веры привел их к покорности, покаянию и вере.

Но мыслимо ли сие? Для меня – нет, немислимо, и многие со мной согласны, но много ли нам осталось? И какое стадо мы оставим вам, следующим пастырям, если и дальше будем укрываться от мира и глаза от него отвращать, дабы не увидеть, что он изменился, и нам, значит, то же предстоит, если не хотим веру в катакомбах вновь укрывать? Так и стадо растеряем, и веры не убережем. Кто пойдет опять в катакомбы, многие ли, даже и из клириков? А этого допускать нельзя, чтобы времена вспять повернулись и всеобщее всем встание и Спасение, и жизнь вечная, нетленная, отложились надолго. Не верю я в грядущее тысячелетнее царство Антихристово, а думаю, что мы-то его уже пережили! Оттого и радуется мое сердце и надеждой на скорый будущий век полнится.

Ну, ладно, я человек прежний и в монастыре чаю век закончить и грехи замолить. Но должен ли я подумать по мере сил моих малых и скудным разумом моим, от Бога мне данным, предусмотреть, что после себя оставлю? Твердо скажу: должен. Потому и говорю с тобой, как на духу, и думы тебе сокровенные все открываю, что новый ты для нашей Церкви человек. Ты и святых отцов читаешь по-гречески и по-латынски, и с неверующими, но думающими, любишь и умеешь говорить, и молодых людей понять можешь. Нам-то, прежним, не до того ведь было! Нам было главным хоть что осталось и позволялось безбожными властями сохранить, а выйти со Словом Божиим за церковную ограду – и помыслить не могли! Потому и настоятелем тебе определяю быть, что за тобой и тебе подобными новое будущее нашей Истинной и Нерушимой Православной Веры и Церкви. И если вы не согнетесь под этой ношей (а верю я: не согнетесь!), то евангельский источник вновь наводнится, по всей земле пролиется и всю землю покроет. Сие да буди! Буди! Радуется мое сердце, как так помыслю, и ты не забывай этого.

Вот еще хочу сказать тебе напоследок. Люди там, где твое пастырское служение мной определено, как и сам увидишь, тяжелые на подъем, жесткие и шершавые, как напильники. Вот ты и пооботрись о них, сотри с себя излишнее умствование. Помнишь ведь, у апостола: «Если, говорит, языками человеческими и ангельскими глаголю, любви же не имам – ничто же есмь». Вот ты и полюби их,

убогих, пьяных и озлобленных, открой им прежде свое сердце, не бойся: они тебе тем же ответят. Кто же их таких от всего сердца не-притворно полюбит, если не мы, их пастыри? А уж потом и наставля-ть их можешь начать потихоньку, когда они тебе ответно дове-рятся и пред тобой откроются.

А место там намоленное, и сам почувствуешь, когда оно в тебе возродится – живое чувство Бога Живаго. Ты ведь тоже еще пока как тот извращенный ангелочек, хоть и носишь имя архистратига небесного воинства. Читал много и знаешь многое, языками разными глаголешь, а любишь ли? Человека, да и самого Бога, пожалуй.

Прости мне мои слова, не по гордыне молвил, а от чистого серд-ца и заботы душевной».

*Конец рассуждения архимандрита*

---

Надо тут же сказать, образ Николы Чудотворца исстари занимал в жизни зареченских особое место. Разбогатеv, зареченские скототор-говцы построили у себя его церковь, дабы он оберегал их плоты на шиверах и перекатах, а с диким зверем и лихим человеком они сами справлялись. Словно в контрапункт их тяжелому духу безымянные зодчие возвели церковку легкой, стройной, летящей, без этой пре-тензии на византийскую крепостную тяжеловесность, присущей русской церковной архитектуре девятнадцатого имперского века. Вернувшись домой, зареченские первым делом заказывали молебен Чудотворцу, а уж потом отправлялись в Фелицатин райшко. (Вскоре после чего зареченские бабы шли ставить свечки иконе Божьей Ма-тери Неупиваемая чаша, помогающей от запоев. Эту икону они очень почитали, даже больше икон великомученика Георгия Победоносца и святого мученика Власия Севастийского, помогающих при болезни скота, и Божьей Матери Неопалимая купина, защищающей от пожа-ра. Почитали они и икону равноапостольного византийского царя Константина и царицы Елены, которых надлежало молить об уро-жае огурцов (что неудивительно, огородничество у нас началось по примеру греков), а вот к иконе преподобного Сергия Радонежского, помогающего при слабом учении детей (святой был совершенно не способен к учебе), выказывали полное равнодушие.) Церковью своей

зареченские гордились и щедро жертвовали на колокольное серебро, отчего малиновый звон с колокольни Зареченского Николы в былые годы слыл лучшим по губернии. Городские специально выходили на свой берег его послушать, а знатоки и ценители приезжали даже из других мест. «Эк Никола-то наш заливается!» – гордо говорили тогда зареченские и расходились по тупикам разговляться, умиротворенные и утешенные. Шатры и маковки Николы Угодника, равно как и его по-отечески мягкий, теплый лик, принятый в православном иконописании, в отличие от католического, наделившего образ Николая Мирликийского холодноватым достоинством епископского сана, постоянно маячили в их сознании, да и до сих пор маячат. Отправляясь в поездку и уже с хрустом воткнув первую передачу «КамАЗов», зареченские шофера-дальнобойщики не преминут бормотнуть про себя: «Никола Угодник, спаси и помоги!» – и лишь затем отпускают тугое сцепление. А в самом начале паводка, когда помутневшая река только начинает лизать пойму длинными тусклыми языками, зареченские говорят: «Николу на воду потянуло» или: «Никола пить захотел». А когда вода совсем подступает к каменной ограде церкви – «Никола в воду смотрится». В случае катастрофического паводка в коллективном подсознании зареченских само собой сложилось бы: «Никола ноги замочил – ну, паря, беда!..» – но на памяти стариков до этого не доходило. Безымянные зодчие точно определили уровень максимального подъема воды, сумели как-то. Ну да ведь сумели же догоны пересчитать спутники Юпитера без телескопов и пришельцев!

---

## 7

---

Первое время, как было и при отце Иерониме, в церковь приходили главным образом пожилые женщины. Отец Михаил смотрел на них с грустью. В церковь их приводил страх одинокой старости и смерти, в Боге и Христе они искали себе новых родных взамен мужей и детей: мужья умирали, дети разъезжались или тоже умирали от водки. Совсем старух приходило много меньше – нечего им было тут искать: к одинокой старости они давно привыкли и хотели как-нибудь притерпеться теперь к близкой смерти. Но женщины приводили внушек – нарядных девочек-подростков в белых бантах и гольфиках. Глядя с амвона на их чистенькие сосредоточенные ли-

чки, вливая им в ротики, еще не оскверненные бранью, ложечку кагора, осеняя их склоненные головки крестным знаменем, отец Михаил с каждым днем все явственнее ощущал, как в груди его растет и ширится теплое чувство радости и надежды. Этих-то Господь успевал оградить от многоликих соблазнов с афиш и обложек. Отец Михаил знал почти наверное, что девочки, подростки, не потянутся к сигарете, к рюмке портвейна, не дадут тискать и валять себя до венчания, чтобы злобно кричать потом на нежеланных младенцев, вымещая на них обиду за слишком рано начавшуюся взрослую жизнь. Придя домой, девочки, тихо светясь, молча сносили насмешки отцов и старших братьев, но их робкого света было слишком мало, чтобы осветить отцам и братьям путь к Храму.

И тогда отец Михаил сам пошел к атеистам. За тем его и назначили сюда настоятелем, несколько обидев и уязвив кое-кого из более заслуженных священников. Он взял себе за правило возвращаться домой кружным путем, вступать в разговоры, кто бы с ним ни заговаривал, и на удачу заходить в дома. По средам и пятницам он окормлял духовные надобности заключенных СИЗО и, выходя из его высоких ворот, направлялся не сразу к себе – жил он напротив церкви, совсем недалеко от зареченской средней школы № 67, – а сначала заходил на старое кладбище между тыльным забором обувной фабрики и отстойником кирзавода. Крестился на выбеленные дождем и солнцем деревянные руины кладбищенской часовенки, выходил на Чермашинский угор и по Убиенной тропе, скользя, путаясь в длинных полах рясы и едва не падая, спускался к Немецкой улице.

Ее населяли литовцы, сосланные к нам в два потока. Сначала в сороковом – за нежелание принимать советскую власть, и сразу после войны – за укрывательство на хуторах лесных братьев. Отстояв смену у печей кирзавода, куда их определяли на работу, литовцы шли корчевать ту часть Чермашинского клина, где им отвели место под землянки. Валили неохватные вековые ели, вырывали из земли, надрывая пупы и спины, их узловатые перепутанные корни, обтесывали их и на будущий год возводили высокие просторные дома в двадцать пять венцов. На обширных раскорчеванных участках литовские женщины сразу разбивали огороды, заводили коров, свиней и коз, словом, когда литовцам вышло хрущевское послабление,

оказалось, что молчаливые, сухопарые, белобрысы литовцы обустроились в холодной Сибири почти как у себя в теплой и влажной Ингерманландии. Какая-то часть их позже вернулась в Литву, а семей девяносто-сто не смогли бросить нажитое таким непомерным трудом. Вот уж кого в Заречье уважали, так это литовцев, а зареченские девки все как одна мечтали выйти за них замуж. Но с местными литовцы упорно не желали смешиваться и безжалостно пресекали в зародыше браки детей с ленивым, пьяным русским быдлом. К ним даже не лазали воровать через высокие заборы. Тем более за заборами металась лютые медеянские цепняки размером с теленка, а на любой ночной шум из домов выскакивало разом человек двадцать молодых литовских мужиков; семьи у литовцев были большие, и держались они в иноэтническом окружении дружно, жили на своей улице, как в осажденной крепости, и верили только в себя. Верить во что-либо другое они никакой нужды не имели, даже в Лютера. На Немецкой улице отец Михаил поэтому не задерживался и сразу сворачивал влево, углубляясь в тупики и переулки Нижнего Заречья. Там обитала его паства.

Его высокая, черная, мерно шагающая фигура в длинной рясе издали бросалась в глаза, а приветливое выражение его умного молодого лица располагало к нему вернее любых слов. Поначалу, конечно, его неожиданное появление у ларьков и киосков, торгующих дешевой «Примой» и паленой водкой, вызывало косые усмешечки и желание подкинуть ему каверзный вопросик, но время усмешечек и вопросиков быстро миновало. Тут надо сказать вот еще о чем, объяснить, почему слова его падали на готовую почву и давали добрые всходы.

В последние полтора-два десятилетия в общественной, так сказать, жизни зареченских возникла и не осознаваемо, но явственно и сильно ощущалась самими зареченскими огромная зияющая лакуна, и лакуна эта настоятельно требовала заполнения. Прежде, при советской то есть власти, главные события в жизни зареченских, как то: рождение, выпускной школьный бал, призыв в армию, брак, рождение детей и похороны, – механически и однообразно окормлялись самой этой властью в лице служащих ЗАГСа и школьного директора. Особенно браки и похороны у зареченских проходили по единым образцам. Расписавшись в городском ЗАГСе и выслушав

там напутственное слово о молодой советской семье, молодожены объезжали городские достопримечательности (машины украшались обручальными кольцами с бубенцами и огромной глупой куклой на решетке радиатора) и возвращались в Заречье гулять до утра. Гулянки проходили в какой-нибудь из двух работавших тогда общественных столовых и начинались непременно вальсом молодоженов, а завершались битьем чужих физиономий. Похороны так же непременно сопровождались надрывно рыдающим духовым оркестром, траурным митингом на кладбище, в ходе которого отмечались трудовые заслуги и доблести усопшего, и поминками в тех же столовых; иногда поминки принимали столь же буйный характер, что и свадьбы, и заканчивались далеко за полночь, зачастую приобретая характер языческой тризны, то есть попросту разудалого пира с песнями и плясками. И вот рухнула в одночасье не то чтобы прежняя жизнь, а целая общественно-экономическая формация. По-прежнему объезжать монументы, посвященные всяческим борцам и революционерам, вспоминать о трудовых достижениях покойного было уже как-то и неуместно, особенно в условиях хронической безработицы, сильно деформировавшей наш образ, и особенно в Заречье. Похороны так вообще переродились в повод для мрачного веселья и черного юмора. Смерть для зареченских стала ближе, понятней и веселей жизни. Приходить на похороны стали главным образом мужчины. С тяжелого многодневного похмелья они держались на ногах очень нетвердо, так что зареченских покойников, прежде чем предать их прах земле, случалось, и роняли, вываливая их из штормующих гробов, а то и вместе с гробами, и частенько можно было услышать шуточки вроде: «Место забронировано!» (в смысле – место у гроба, когда все сидят и прощаются), или: «Ну, Валентина, отмучилась. Теперь можешь снова на танцы!» (это вдове), или даже: «Повтори вариант!» (другу самоубийцы). Самоубийства же, действительно, приобрели характер эпидемии: вешались, травились, стрелялись (очень редко, впрочем, ружей сохранилось мало), резались ножами и отвертками, лишь бы поскорее пресечь бессмысленное существование. Короче, весь этот люмпенский сброд стосковался по словам, возвышающим душу и открывающим смысл существования, по наставлениям и поучени-

ям, проверенным временем и не вызывающим сомнений, весь этот сброд взалкал душой, чтобы кто-нибудь заговорил с ним с отеческой любовью и строгостью, взял на себя душевный труд не просто напомнить, что такое хорошо и что такое плохо, но сказать это прямо и без обиняков, и своей жизнью ежедневно и ежечасно явить пример требовательной, сознательной, деятельной любви к ближнему и окончательной надежды на что-нибудь всевышнее.

Поначалу к нему относились с недоверием и насмешкой, подкидывали ему каверзные вопросы, но это время быстро миновало. Отец Михаил, может, и не способен был привести грешника в чувство самым эффективным способом – тяжелым поповским кулаком, зато сам способен был подкидывать такие каверзы и парадоксы, что молодые люди – особенно молодые! – скоро привыкли слушать его негромкий голос с тем вниманием, с каким (глухая) кобра слушает дудочку факира.

– Ты сомневаешься, как мог Господь за шесть дней создать целый мир? – тихонько посмеиваясь, уточнял отец Михаил. – Но вот смотри теперь: Земля – круглая? Ты в школе учился, астрономию проходил...

– Конечно, – уверенно отвечал молодой человек с не очень, впрочем, уверенным смехом, чувствуя подвох и памятуя, что учился-то он не очень прилежно и астрономию именно «проходил».

– И сможешь это доказать? Или хотя бы повторить доказательства древних греков? А ведь вокруг Земли греки не плавали, и телескопов у них не было. Кто же ты тогда есть, чтобы сомневаться? А папуас ты и есть, который точно знает, что земля плоская, как лепешка.

Если же молодой человек, не сдаваясь, нес околесицу о космонавтах, никого там не увидевших, отец Михаил срезал его хорошо поставленным глубоким баритоном:

– Суесловие это все, чадо неразумное.

Молодым людям очень нравились слова «суесловие», «чадо» и сам этот простенький риторический прием, о чем и свидетельствовал их гомерический хохот. Их подкупало, что поп разговаривает с ними на равных, но отнюдь не как равный им, что под рясой у него потертые джинсы, но поверх рясы сияет золотом большой осьмиконечный крест.



Конечно же, отец Михаил не питал надежды, что легко сподвигнет их сойти с преступного пути. Однажды его прямо спросили: как же так, воровать – грех, но они приносят в церковь ворованные деньги, и эти деньги у них берут, не спрашивая? Впервые его вопрошали не об устройстве мира, всемогуществе бога и прочих отвлеченностях, а о своем, заветном. И он ответил:

– Сегодня ты принес Церкви украденный рубль, а завтра вновь пошел воровать. Сколько можно на этот рубль купить дров – одно полено? Вот это полено Господь и уберет из-под котла со смолой, в котором ты будешь кипеть.

Вопрошавший умолк. По его посмурневшему, ставшему серьезным лицу пронеслась тень умственного усилия. Молодой бандит попытался постигнуть диалектику вечных мук и облегчения от одного-единственного убранного из-под котла полена, абсолютную справедливость так тонко соразмеренных греха и наказания, как ни в каком УК не может быть. После таких именно бесед отец Михаил стал понимать не разумом, но теплым, живым, внутренним чувством, что означали напутственные слова благочинного о языках ангельских, любви и жителях Заречья:

– Они ведь и в неверии неустойчивы, колеблются подобно былинке в поле, оттого и жмутся друг к другу, как малые дети в лесу, хотя давно уже не дети, – говорил, помимо прочего, благочинный.

Он сам, отец Михаил, явился сюда неким подобием ангела, посланного в ад с благой вестью, что следом сходит исполненная любви Богородица – молить о прощении всем грешникам, и что он сам, отец Михаил, всем этим заблудшим малым детям не кто иной, как строгий отец, любящий, исполненный чувства долга и ответственности. Очень скоро он стал видеть с амвона напряженно вежливые лица коротко стриженных парней и молодых мужчин; такие лица ему уже примелькались в камерах следственного изолятора. Отстояв божественную литургию и причастившись Святых даров, молодые люди терпеливо поджидали отца Михаила на паперти, чтобы договориться о дне своего крещения или венчания и спросить, как писать поминальную записку о здравии или за упокой.

Блатной мир тоже имеет склонность ритуализировать и до мелочей регламентировать поведение и слова человека. Наставления



отца Михаила, что некрещеный не может быть допущен к причастию, что это таинство только для членов церкви, но по неведению этот промах может быть прощен, и что в записке допускаются слова «воин», «болящий», «путешествующий», «заключенный» и, напротив, не надо писать в ней «заблудший», «страждущий», «озлобленный», «учащийся», «скорбящий» – эти наставления были для них, может, и не совсем понятны, но понятна была самая эта строгость. Церковная жизнь представляла перед ними во всей своей упорядоченной сложности, целесообразности, продуманности и осмысленности. Каждый день, который они проживали без всякого смысла и настоящей цели, оказался посвящен памяти какого-либо праведника, омывавшего прокаженным гнойные язвы, или мученика, бестрепетно вступавшего в клетку с лютыми львами, а на каждый нехитрый поворот их жизни находилось готовое наставление, как себя вести и что думать, и четко было расписано, какому святому ставить свечку при болезни глаз, а какому – при наводнении и пожаре. Самая эта размеренность и глубина течения церковной жизни вызывали уважение к отцу Михаилу, Церкви и ее Главе, Он же есть Живой Бог наш Иисус Христос, подавала надежду, что и твоя жизнь не пройдет зазря, не утечет впустую, как вода в песок. Вся обычная жизнь этих преступных молодых людей наполнилась новым возвышенным смыслом. Другьям, томящимся на киче, они прежде собирали передачи с бацилой, чаем и куревом и писали малявы с ободряющими словами. Теперь же они еще могли прийти в церковь и затеплить свечку перед иконой Николы Угодника, заступника за вдов и сирот в бедности, оберегателя плавающих по водам и всех плененных. Их друзья оказывались отныне не преступниками, которых повязали менты, а пленниками, которых схватили враги, теперь они гордо вставали рядом с Остапом Бульбой, четвертованным ляхами за верность православной вере, и генералом Карбышевым, превращенным фашистами в ледяную глыбу за отказ выдать военную тайну.

---

## 8

Так минуло шесть лет. Упорная пастырская деятельность отца Михаила приносила обильные душеполезные плоды и неустанные mreжи (сети) его полнились ловитвой. Церковные требы заказыва-

лись все чаще, паства росла, классы воскресной христианской школы наполнились ребятишками, и он сам стал почетным и желанным на всех семейных торжествах. Но чего-то главного ему все-таки не хватало. Он полюбил этих людей и добился ответной любви. Их любовь согревала его сердце и придавала силы, но он не мог не видеть, что его пастве нравится покупать и ставить недорогие свечки, им приятен запах ладана, успокаивает тишина в церкви, где никто не скажет им грубого недоброго слова, а тихо назовет братом или сестрой, что они радуются за детей, которых он учит любви и послушанию, что его певучие старославянизмы завораживают их, как магические заклинания на непонятном языке завораживают дикаря именно непонятностью (коей одной дикарь склонен приписывать магическую силу), а его нравоучительные толкования Евангельских историй очаровывают, как детей сказки. Любят, может быть, образ кроткого Христа еще, любят именно как художественный образ, то есть как нечто вымышленное и нарисованное, но не как действительного Сына и Бога в одном лице, а Бог Отец, пославший Сына на заклание и крестную муку во искупление наших грехов, им непонятен и чужд, как вавилонский Мардук.

И вот однажды в конце февраля, когда утром морозно по-зимнему, но днем в воздухе чувствуется теплая весенняя сырость, спустившись по Убиенной тропе и пройдя по Немецкой улице до конца, отец Михаил дошел до самой окраины Нижнего Заречья, где от главного русла ответвляется Китайская протока. Обыкновения возвращаться домой кружным путем и заходить на удачу в незнакомые дома он не оставил и хорошо изучил Заречье, но здесь оказался впервые. Дома здесь были совсем уж неказисты и бедны и стояли так криво один относительно другого, словно их намеренно так ставили, желая еще больше исказить неэвклидово пространство, в котором мы все, оказывается, живем. И вот что еще обращало здесь на себя внимание – почерневший под солнцем, утопанный, но снег под ногами. Дело в том, что частный сектор в Заречье (да и на Лысой Горе и в любом другом районе нашего города) давно отапливается углем, и зареченские имеют естественное обыкновение выносить и разбрасывать угольную золу прямо напротив дома. Делают они так по двум причинам: чтобы не было скользко людям и машинам – это

раз, и чтобы не ходить с ведрами далеко – это два. Здесь же везде был снег. Причин этому могло быть опять же две. Либо печи здесь топили не углем, а чем попало древесным, собирая разбитые деревянные ящики возле овощных магазинов, воруя доски со строек Нового города или разбирая заборы, либо все-таки углем, но вываливая золу прямо во дворах. И то, и другое могло свидетельствовать лишь об одном – что обитают тут совсем отбросы общества, напрочь утратившие навык социализации.

День был будний. Навстречу отцу Михаилу попался лишь хилый парнишка лет семнадцати, в растоптанных домашних тапочках, засаленной телогрейке и без головного убора. Парнишка нес ведро воды. Ноги его заплетались, и он гнулся на бок от тяжести ведра, как тростинка. В другой руке он нес пустое ведро. Похоже было, нести два ведра воды оказалось ему не под силу, и одно он по дороге вылил. Сойдясь с отцом Михаилом, парнишка поднял на него безумное расслабленное лицо наркомана, остановился, всмотрелся и отчетливо проартикулировал:

– Поп!

Потом медленно опустил взгляд, и лицо его распустилось в гримасе необыкновенного блаженства.

– Батя! – закричал он плачущим от счастья голосом. – Батя, подари крест! Ну, подари, батя! Продай! На штуку баксов приподнимешь!

Отец Михаил (чуть теплело на улице) ходил в одной рясе, лишь пододевывая под нее свитер. Он считал нужным, чтобы его священнический сан виден был издалека. Тяжелый золотой крест ухнул в маленькое сознание парнишки и без остатка выдавил из него все его убогое содержимое. Крест зачаровал его подобно тому, как сложная, чудесная, недостижимая игрушка за витринным стеклом сосредоточивает на себе все чувства, мысли, желания и фантазии ребенка. Парнишке так сильно захотелось этот крест зачем-то, что ему вообразилось, что крест ему уже подарен, что где-то дома у него лежит целая пачка денег и он сейчас вынет ее из кармана и щедро расплатится; да уже расплатился! Желаемое и воображенное обрело на этот краткий миг осуществленность и действительность, целиком заменило реальность, и парнишка самой полной мерой испы-

тал состояние подлинного счастья. Для его полноты и завершенности парнишке не хватало только услышать: «Бери даром, у меня еще есть».

Но вместо таких простых и очевидных слов он услышал:

– Не богохульствуй...

Парнишка опамятовался и, вновь отчетливо артикулируя, выговорил:

– Пошел тогда на ...!

После чего поднял ведро и двинулся дальше, дрожа телом и заплетаясь ногами.

Отец Михаил безотчетно последовал за ним. Он был возмущен, он должен был ответить на такое наглое поругание своего сана и, значит, веры. После он много укорял себя за то, что поддался соблазну, принял внешние и преходящие результаты своей проповеди за глубокие и постоянные, едва не возомнил себя равноапостольным просветителем язычников наподобие пермского епископа Стефания, который умел эффективно увещевать кроткими словесами разъяренных коми-зырян с дрекольем в руках, за нежелание видеть, что все, чего ему удалось добиться за годы трудов, относится лишь к бытовой религиозности, как она называется в социологии, когда человек совершает религиозные обряды, повинуюсь диктату обычая и, по наивному расчету, на всякий случай, но не по живому, требовательному чувству любви к Богу.

Через калитку, косо висевшую на куске толстой резины, парнишка вошел в небольшой дворик. Дворик, действительно, был огорожен щербатым забором с вырванными через одну досками и, действительно, был равномерно усеян кучками золы. У самого крыльца маленькие кучки давно слились в одну большую кучу, и на поверхности от крыльца осталась одна наполовину стертая ступенька. Парнишка, не оглядываясь на стук калитки, кое-как взобрался на ступеньку и занес ведро в сени, плеснув на пороге.

Упорный поп последовал за ним.

В доме было жарко натоплено. Холодные линзы мигом плотно запотели, а без очков отец Михаил был слеп, как крот. Он смог разглядеть только, что посреди большой комнаты, в которую он из сени сразу попал, стоит стол и за ним сидят люди.

– Ангела за трапезой! – пожелал он сидевшим, решив сослепу, что те трапезничают.

Линзы, наскоро протертые полой рясы, возвратили его слабым глазам способность видеть предметы и вещи мира. Без очков они терялись для отца Михаила в мутном белесом тумане – через очки мир вновь обретал очертания, вещественность и наполненность. На поверхности стола проступили из небытия початая бутылка водки, граненые стаканчики, тарелка с какой-то закуской и вонючая консервная банка с окурками, а в пространстве вокруг стола четко обрисовались фигуры и физиономии сидевших. Их было четверо; с парнишкой их стало пятеро, он как раз устраивался за столом – ерзал по жесткому стулу жидкими костлявыми ягодицами в поисках единственной удобной позы. Один из сидевших – худой мужчина с тусклым, невыразительным, мелким лицом под серыми густыми волосами – медленно, больше механически, чем по необходимости продолжить игру, тасовал колоду. Прочие терпеливо чего-то ждали.

И еще чьи-то лишние ноги выступили из-под стола. Своей невозможностью ноги приковали к себе все внимание отца Михаила. Судя по небольшим босым подошвам и голым лýtкам, ноги принадлежали женщине.

– Поп пришел! – удивился парнишка. Уже совсем устроившись, он в последний раз окинул помещение взглядом, чтобы не смотреть больше по сторонам, и тут увидел священника у порога.

Сидевшие повернули головы, кроме двоих. Не изменил положения головы необычайно худой и бледный, как смерть, старик с руками, как спички, и непомерно большим кадыком на тощей жилистой шее, и краснолицый и красношей мужина бычьего мясистого сложения. Старик вывесил над столом костлявый подбородок, подобрав ноги под стул, а мясистый, напротив, вытянул ноги под столом и откинул назад голову, словно изучал изощренный узор грязных разводьев на потолке; судя по их густоте, крыша протекала в каждую оттепель. Поза мясистого мужчины вкупе с направлением женских ног и угадываемым положением женского тела вновь отвлекла отца Михаила от изучения обстановки.

Разнообразие его супружеской ночной жизни, по понятным причинам, не было свойственно, залистанную «Кама-Сутру» он

под подушкой не держал: он был полностью воцерковленным человеком. В идеале заниматься вольной супружеской борьбой (не моя, увы, метафора) он должен был исключительно в целях продолжения рода. Но и ущербным аскетом, раз и навсегда напуганным первыми судорожными, влажными, постыдными проявлениями созревающей мужественности, он не был. Благодаря сильному сложению и упорной натуре иго девственности он страхнул с себя вовремя. Освобождению не смогла сильно помешать даже некоторая замкнутость и необщительность его характера. Когда пришло время, он таки внял явственному зову попа и уверенно откликнулся на бессловесный призыв одной разбитной девахи на три курса постарше: позволил ей завести себя в комнату и не стал дожидаться, когда она первой приступит к решительным действиям. В постели она оказалась груба, как кухарка, зато горяча телом и опытна руками, что от нее и требовалось. Пугливый спешащий девственник был-таки инициирован в мужчины и, в принципе, мог больше не беспокоиться на этот счет, снимая известное напряжение старым способом, названным по имени одного ветхозаветного пастуха. После этой инициации у него очень долго не было женщин. С той кухаркой он чувствовал себя скотом и связь с нею прекратил, легкие интрижки заводить у него не получалось, и не вышло вступить в продолжительные отношения с девушкой порядочной и глубокой. Легкие по характеру, на многое готовые, но недалекие сверстницы пугались его насупленного серьезного взгляда, верно угадывая за ним страстную до иступленности натуру, что сильно осложнило бы их птичье существование, умные мысли, которыми он пытался перед ними щеголять, ставили их в тупик, а девушка порядочная и глубокая ему, может, просто не попалась такая, чтобы он смог ее полюбить. Собственно, моя одноклассница Машка стала его первой настоящей женщиной, то есть со всеми слабостями, прелестями, запахами и тактильными ощущениями, а не живыми ножнами (метафора снова не моя, а все оттуда же).

С пятого класса наша Машка занималась, оказывается, в изостудии. Мы об этом, конечно, знали всегда, но от нас она держалась в сторонке, и ее увлечения были для нас чем-то несущественным и потому не существующим. Букой она не была, но и вспомнить о ней

нам оказалось нечего, когда мы принялись доискиваться, неужели она уверовала и с чего пригласила на свадьбу нас. Мы долго перебирали, с кем она дружила, и выходило, что из наших – ни с кем, а с какой-то девчонкой из параллельного, с которой ей было по пути из школы. Ничего, словом, мы не вспомнили интересного об однокласснице. Ну, на том каком-то вечере была, в лес тогда-то тоже ездила, на речку тогда-то ходила, на днях рождения того-то и того-то гуляла, потом с кем-то на улице встретилась и сообщила о себе, что учится в нашем Суриковском художественном училище на отделении прикладной графики, – вот и все. Не так уж и много о человеке. Окончив училище, она стала работать в реставрационной мастерской при Центре охраны памятников культуры и по реставрационным делам пришла как-то раз в Троицкую церковь. Тогда, будучи еще иподьяконом, отец Михаил ее впервые и увидел.

Разглядел он ее, конечно, не сразу. Сразу в глаза она не бросалась. Писаной красавицей она не была, не наделена была каким-то совсем дивным сложением фигуры и не была, напротив, странно притягательной дурнушкой. У нее было правильное, но чуть суховатое лицо (чуть бы еще посуше, и его можно было бы назвать костлявым); живые и блестящие, но не очень большие глаза; взгляд умный, но не настолько уж и выразительный, чтобы сразу очаровать; хорошие темно-русые волосы, но не прекрасные, коих одних бывает достаточно; белая чистая кожа, но тоже без особой тонкости, вызывающей желание пристально всмотреться, какая кровь с молоком там под кожей так нежно переливается и играет. Разговор ее тоже был прост и ясен, улыбка – быстра и легка, словом, когда спустя время все эти милые черты сложились для отца Михаила в целостный образ, только тогда он и увидел, каким сокровищем вознаграждает его Господь за верность своей натуре. Трудно представить, как ухаживает священник, какие он делает комплименты и как добывается первой счастливой улыбки на женском лице – точно так же, как и все прочие, думаю. Так или иначе, но подготовка к формальному предложению была проведена, предложение было сделано и после некоторого размышления принято. Кто-то из наших девчонок, не важно, кто именно, высказал тихим голосом очень верную мысль на этот счет: «Маша просто вышла за нормального мужика, кото-

рый пить не будет и будет любить ее и детей, а нас пригласила, чтобы с нормальной жизнью попрощаться. Ей теперь придется в церковь ходить в платочке, в кино больше не ходить, по театрам. А за вас, мальчишки, замуж выходить – все равно что в рулетку играть».

Женские ноги под столом глубоко и сильно резанули отца Михаила по сердцу, резко определили, в какую клоаку решил завести его Господь.

– Кончай, Толян, – досадливо распорядился старик и пошурудил под столом ногой. – Дайте попу стул.

Парнишка молча встал и сел у стены на корточки, обняв колени руками. Шевеление под столом усилилось, краснолицый закричал, изображая сладострастие. Его крик перешел в ненатурально громкие и продолжительные стоны, шевеление под столом прекратилось, и из-под него, пятясь, на коленках выползла растрепанная блондинка в байковом домашнем халатике. Это было ужасно: выражение ее лица оказалось знакомо отцу Михаилу. По похабному личику молоденькой пробляди была разлита полнейшая абсолютная безмятежность, как у любой другой женщины, готовой замурычить от полноты и глубины только что произошедших содроганий и судорог.

---

## 9

---

– Ну что, поп, выпьешь со мной? – равнодушно спросил ужасный старик, по-прежнему не глядя на гостя. Отец Михаил начинал понимать, что тут-то зарезать его могут не задумываясь, как барана, что, впрочем, не особо его встревожило.

– Отчего же не выпить? – рассудительно проговорил он, садясь за стол и привычно придерживая крест рукой. – Сам Господь Наш претворял воду в вино на радость бедным людям.

– Самообслуживание! – объявил старик и плеснул себе в стаканчик. Синяя нечистая майка висела на его костях, как на вешалке. Дряблая, бледная кожа на его руках и груди была сплошь иссечена тонкими белыми ниточками шрамов, словно много лет назад его долго и тщательно полосовали бритвой.



---

## ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ МНЕ, ПОП?

### *Обетование старого бандита*

«Дыши ровно, поп: никто тебя не тронет, пока я здесь. Без меня эти шакалы порвут тебя на куски: здесь не Кана Галилейская, твой бог заглядывает сюда только посмеяться. Но я тебя уважаю. Ты молодняк к себе подтягиваешь – я ничего против не имею. Ты им свое впариваешь – впаривай, может, кто и поверит.

Но что ты можешь сказать мне, поп? Я съел зубы на Колыме, я умирал от жажды под Узень-Юртом. Мы кричали: «Воры, где ваша слава?!» – и резали сук в бараках на Бирюсе. Мы выли: «Смерть! Сме-ерть!», и раскачивали вагоны, когда нас везли под Лабытнагу. Знаешь, как я там выжил?

Нас завезли в тундру, построили и сказали: «Будете тянуть ветку дальше. Компас не нужен – ройте вдоль океана, не советесь. В Дудинке кто выживет – полная амнистия, но таких не будет: все подохнете. Жратву и инструмент будем сбрасывать с самолета. Дневная норма – километр насыпи. Не будет километра – не будет жратвы. Бутров и прорабов выберете себе сами. Конвой, по вагонам!».

Мы побежали к поезду, а по нам из пулеметов: та-та-та-та-та-та-та-та-та!.. Утром прилетел самолет и сбросил тюки. Дураки побежали искать хавку, умные – лопаты. Понял, зачем? Это мы стали говорить: «Умри ты сегодня, а я – завтра!» Чем ты меня к себе подтянешь?

Я по глазам вижу: ты в бога своего веришь. Я таких, как ты, блаженных, много видел, помогал им твой бог, ничего не скажешь. Но с чего он мне-то станет помогать? Он даже своему сыну не помог, когда тот на кресте мучился.

Ну, помучился-помучился и тоже как все издох. Зачем? Кому стало лучше? Скажи... Ничего ты мне не скажешь – я все ваши поповские штучки знаю. Как был человек падалью, так и остался, а про надежду ты лучше молчи со мной.

Я не буду спрашивать у тебя: если бог все может, может ли он создать такой камень, который сам не сможет поднять? Тебя учили, ты вывернешься. Но вот что ты мне скажи: почему я-то должен в него верить? Пускай он даст мне сначала на себя поглядеть! Я хочу сначала

его вот этими вот руками пощупать. Тогда я твою церковь золотом покрою. Золота у меня хватит. Если эти шакалы узнают, где оно лежит, они меня удавят, да я не скажу, они знают. Кроме меня о нем знал еще один политический – я его сразу прикончил, как он мне рассказал, и один доходяга. Я ему в больничке все приметы дал, чтобы с собой тайну не унести – в гробу карманов нет. Я опять выжил, а он – не знаю. Даст мне твой бог на себя посмотреть – отдам тебе золото. Там его много, четыре тонны. Целая первобытная статуя из золота.

Иди. Встретимся еще – не за горой живем. Сюда больше не приходи, нечего тебе тут».

*Конец бандитскому обетованию*

---

Действительно, что он, отец Михаил, мог сказать этим нелюдям? Ничего не ценящим, ничем не дорожащим, а меньше всего – собственной жизнью, и, значит, не способным поверить никаким, самым проникновенным, его словам. Чем он, отец Михаил, мог излечить страшный душевный недуг этой выползшей из-под стола Магдалины? И не такая же ли тварь вздыхала и постанывала устами его, отца Михаила, возлюбленной супруги? Его Мария сняла с себя яркие экзотические платки и накидки, которыми так любят и очень умеют украшать себя и жизнь молодые художницы, перестала ходить в театр и на концерты, убрала любимые кассеты, но кому она принесла эту жертву и как долго еще эта жертва будет ей по силам?

---

## 10

---

Крестный ход в субботу, двадцать второго мая, день преподобного святителя Николая, епископа города Мир Ликийских, был назначен в честь чудесного обретения его образа.

С началом прямо-таки диоклетиановых гонений на христианство, прокатившихся по стране в тридцатые годы прошлого века, в эпоху безудержного разгула самого варварского язычества и оголтелого атеизма, богатое внутреннее убранство зареченской церкви Николая Чудотворца было вынесено и сожжено во дворе, колокола низвергнуты наземь и переплавлены в мартенах нашего металлургического комбината, а само здание обращено в продуктовый склад

райпотребкооперации; почему, собственно, и не подверглось разрушению динамитом. Фрески, некогда украшавшие алтарные своды, неоднократно густо забеливались из соображений санитарии, так что не оставалось уже и надежды, что их когда-нибудь удастся реставрировать. Да и денег на реставрацию не находилось – в первую очередь следовало восстанавливать порушенные храмы, в том числе и Троицкую церковь в ЦПКиО.

И вот где-то в начале или середине марта над правым алтарным сводом зареченского Николы из густого слоя извести стало проступать поясное изображение – полуфигура святого Николая с благословляющей десницей и Евангелием в другой. Руки святого распахнулись над молящимися; словно окончательно утратило вес, приблизившись к существам горнего мира, его тело, облаченное в белоснежную фелонь с голубыми крестами. Черты его светлого лика как бы еще смягчились, и исполненный мудрости взгляд святого проникновенно обратился к молящимся. Образ на чудесно возродившейся фреске являл собой яркий пример древней двуединой песнопенной формулы «правило веры и образ кротости», вершину в иконографии Мирликийского Чудотворца, коей русское искусство достигло в XV – XVI веках. Выяснилось, что возродившаяся фреска повторяет фреску великого Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря под Кинешмой. Сибирский богомаз середины восемнадцатого века не мог в нем бывать, или не смог бы в такой точности повторить по человеческой памяти шедевр Дионисия. Взмолвленная Мария чуть не ежечасно прибегала в храм наблюдать проявление фрески мазок за мазком, забывая иногда даже перекреститься на паперти. Отец Михаил хотел было попенять ей на это, а потом решил, что ее порывистая радость будет Богу много дороже, и не попенял. Физическая же природа происходящего, говоря научным языком, – это было дело совсем второстепенное, разумеется. Известь ли над фреской как-нибудь разлагалась, иссыхала и обшелушивалась микроскопическими, невидимыми глазу частичками, темпера ли вбирала в себя из воздуха влагу, набухала и проступала сквозь слои извести, или и то и другое вместе, или же вообще возникала какая-нибудь псевдонаучная голограмма – значения иметь не могло: Господь тасует причинные ряды, как карточ-

ную колоду, складывает из них, как из мозаичных кубиков, разные веселые картинки, а нам остается только радоваться, когда нам дозволяется заглянуть в Его божественный калейдоскоп. Прихожан, разумеется, вопросы божественного вмешательства в физический детерменизм волновали еще менее. Будучи истинно русскими людьми, абстрактными логическими категориями они оперировали с большой натугой, зато, как дети, волновались и радовались любой неожиданной яркой картинке. Собственно, внутренний смысл их существования и состоял всегда в предвкушении внезапного чуда, которое разом и навсегда повернет их жизнь в какую-нибудь лучшую сторону. Конечно, кое-кому из скептиков отец Михаил должен был втолковывать и чертить прутиком на песке, что если, допустим, два дальнбойщика едут из разных городов и ничего не знают друг о друге, но им случается сойтись и разговориться, встав на обочине, угостить друг друга сигареткой, дать запаску, помочь сменить колесо, прокачать тормоза, – то это ведь не сами по себе они специально сошлись, и никаким законом причинности не объяснить этой их встречи. Остается, значит, одно объяснение – кто-то свел их для помощи друг другу, ни одного физического закона при этом не нарушив. Если же кто из слушателей, упорствуя, заговаривал о бессмысленной случайности, которая одна и свела шоферов, отец Михаил тихим голосом напоминал Фоме о возродившейся фреске, явление которой уж точно не могло быть бессмысленным.

Вскоре Мария призналась ему счастливым шепотом, пряча лицо у него подмышкой:

– Знаешь, Миша, а лампадка мне больше не мешает. Раньше мне казалось, что на меня кто-то смотрит оттуда, а теперь мне от нее еще слаще... Он такой у тебя бывает...

Отец Михаил закрыл ей рот рукой и благодарно перекрестился в мерцающей темноте. Это интимное признание разрушило последнюю стену, отделявшую его от истинного, окончательного, полного познания Бога в себе и себя пред Богом. Самая непостижимая сущность Бога прекрасно и по-новому открылась ему в этом признании, и так же по-новому открылся смысл Его Творения. Как никогда прежде, сильно и отчетливо отец Михаил почувствовал, что Бог, именно Бог-Отец, но не Сын, пресуществует в каждом из нас, в

каждом нашем дыхании, движении, в каждой клеточке нашего тела, в каждом нашем так хитро и целесообразно устроенном органе. Прежде отец Михаил все-таки не мог до конца понять не разумом, но чувством, как низменные физиологические отправления его тела согласуются с его же душой, стремящейся к Свету и Истине, но не к тьме и животному мраку. Телу своему он прежде не совсем все же доверял и недолюбливал его: тело уставало, могло бояться, что хулиганы ударят его кулаком по хрупким зубам или пырнут ножом в мягкий живот, а врач причинит ему боль блестящими инструментами, иногда оно болело и кровоточило (отец Михаил страдал самой смешной из болезней – геморроем, от которой, впрочем, иногда умирают) и удовлетворялось, только отправляя естественные нужды: просыпаясь и сладко потягиваясь, поглощая и переваривая пищу и проч. Теперь же он непреложно почувствовал, ощутил всем своим существом, что ничего нет низменного в его теле, что это сам Господь сладко содрогался недавно вместе с ним и неотделимо от него, что испытанное им микроскопическое наслаждение всякий раз малой толикой наполняет самое существо Бога и неизмеримо в Нем возрастает и ширится до пределов Вселенной, и тогда мигают звезды, а он сам, отец Михаил, в этот недавний миг тоже был немного Богом. Возможно ведь было, что он только что сотворил еще одного маленького человека, подобно тому, как Господь вдохнул душу в корыто бездыханной глины.

В то же время он, отец Михаил, был еще и этой только что одухотворенной и еще влажной глиной тоже, только-только осознающей свое претворение. Он был в этот миг новеньким, только что сотворенным Адамом, почувствовавшим, как легко ходит вверх-вниз грудная клетка, как струи свежего прохладного воздуха расправляют слипшиеся трубочки бронхов и микроскопические пузырьки альвеол в трепещущих легких, как сохнут и холодят кожу капельки влаги, как неощутимо скользят глазные яблоки в глазницах, осматривая новенький мир, как по пустым кишочкам прокатывается первая волна перистальтики, как губы его раскрываются и выдыхают первое человеческое слово – «авва», что по-древнееврейски означает «отче».

И как же мудро Господь устроил, подумалось еще, засыпая, отцу

Михаилу, что плотское наслаждение женщины зависит от мужчины, его мужской силы и стойкости. Будь иначе, никакая жена не прилеплялась бы к мужу, и Мария не прилеплялась бы так к нему.

## 11

Весть о чудесном явлении фрески разнеслась по городским приходам, и ходатайство отца Михаила было поддержано сначала в благочинии, а затем и в епархии. Отец Михаил просил разрешения пройти крестным ходом только по Заречью: по Трактовой улице до следственного изолятора, чтобы заключенные в нем смогли хотя бы издали, из-за толстых стен, приобщиться к радостному празднику; затем пройти к часовенке на старом кладбище и отслужить малую литию по всем усопшим; после чего по улицам Нижнего Заречья вернуться к храму. Но епархиальное начальство положило пройти общегородским, так сказать, крестным ходом, провести, так сказать, встречу трех храмов: Николы Угодника в Заречье, Троицкого в городском ЦПКиО и Одигитриевского у моста на набережной.

С раннего утра колокола Зареченского Николы заливались радостным перезвоном.

Бом-бом, тили-бом, бом-бом-бом, тили-бом,

– заводил самый большой и степенный – Сысой, а в терцию ему вторил другой, поменьше. По давней русской традиции нужно было именовать большие колокола, этот другой колокол тоже имел имя у зареченских – Тихон.

Дили-дили-дили-дон-дон-дон,

Дили-дили-дили-дили-дили-дили-дон-дон-дон, –

Дили-дон-дон, дили-дили-дили-дон-дон-дон,

– в квинту подхватывали мелкие безымянные подголоски.

Дон-дили, бом-дили, дили-тили-дили-тили-дон, дон,

Дили-бом, тили-дон, бом, дон, тили-дили-тили-дон,

– вызвали далее колокола все разом, и, наконец, звонарь Алексей Степанович, внук, как он сам утверждал без особых на то оснований (как и все, впрочем, баснословные родословия) легендарного зареченского звонаря Хромого Луверьяна, начинал предвкушать завершающую, все подытоживающую и все скрепляющую септиму

самого малого колокола на колокольне; за пронзительность септимы его тоже отметили именем собственным – Трифон.

Бом-дили, бом-дили, дон-дон-дон-бом,  
Тили-бом, тили-дон, бом-дон-тили-дон, тили-бом,  
Бом-дон-дили-тили-дон, тили-бом!

– готовили завершение большие Сысой и Тихон с подголосками, и вот раздавалась затухающая Трифонова септима:

Бряк! Бря-як! Бря-я-я-як!..

И вновь:

Бом-бом, тили-бом, бом-бом-бом, тили-бом,  
Дили-дили-дили-дон-дон-дон,  
Дили-дили-дили-дили-дили-дили-дон-дон-дон, дон...

Пронизанная солнцем кипящая волна радости, какая бывает от предвкушения встречи с любимым существом, взбухла и подкатила к сердцу отца Михаила. Сомнения, омрачавшие ожидание праздника, его оставили.

Как все помнят, к этому как раз времени во всем нашем обществе, в его светском и церковном кругах, стала отчетливо осознаваться опасность активного проникновения к нам католиков, адвентистов, свидетелей Иеговы и прочих схизматиков. Общегородской крестный ход, по мысли епархиального начальства, и призван был явить единодушие и сплоченность приверженцев истинного православия перед лицом этого вторжения. Отец Михаил и рад был, что его предложение нашло понимание и поддержку, и несколько огорчен и даже смущен. Он опасался, что его новообращенные прихожане просто поленятся идти через мост и затем по городу, чтобы потом снова возвращаться в трущобы. Да и сама новая главная идея крестного хода не казалась ему столь уж важной и первостепенной. Он был уверен, что давно настала пора христианам забыть разногласия. Он считал, что с его-то паствой можно говорить только о вере, нести ей евангельскую благую весть, а наставлять несведущих, детьми какой церкви им надлежит стать, означает подвергать их неокрепшую веру сатанинскому соблазну относительности: напомнить им, что славят Бога везде по-разному, так, сяк и эдак,

то есть, выходит, если логически до конца продолжить, и нет никакой разницы, если даже и в церковь не ходить, а молиться на какую-нибудь изуверскую «восходящу Солнцу» через кержацкую дыру в потолке.

Должность настоятеля требовала от него и решения вопросов организационных. Он должен был проследить, в порядке ли иконы, кресты, фонари и хоругви для крестного хода, все ли пономари на месте, напомнить неопытному регенту, что сначала поется икос, а затем уж кондак, и проч. и проч. В эти заботы он и погрузился, войдя в храм, и прежнее радостно-сосредоточенное состояние совсем вернулось к нему лишь при троекратном возглашении дьякона:

– Вонми нам, Господи!..

– Вонми нам, Господи!..

– Вонми нам, Господи!..

Тут и ему настал черед возгласить, подавая знак к выходу из храма:

– Изыдем к тебе, Господи!

Выйдя на паперть и обходя посолонь церковь, боковым зрением отец Михаил с удовлетворением и гордостью отметил, как много людей ожидают его выхода на паперти и в церковной ограде и что на лицах у них то же радостное и сосредоточенное выражение, что и у него в душе.

Не введи нас во искуше-ение,

Но избави нас от лука-аваго!

– нежными девичьими голосами повел хор, и крестный ход начался.

Видимые издалека, хоругви и кресты, покачиваясь, проплыли по Трактовой улице до Мысковского тракта, то есть нынешней улицы Мостовой, где уже ждали в полной готовности бело-синие машины ГАИ, и, предваряемый их мигалками, крестный ход взошел на мост. Редакторы всех наших городских теленовостей непременно вставляли в репортажи выигрышные и эффектные кадры – как из-за вершины пустого дорожного полотна на верхнем изгибе моста показываются сначала частые наверхия хоругвей и крестов, будто идет какое воинство, затем выступают голова и плечи невинного мальчика-пономаря с фонарем, символом божественного Света, за ним степенно выступает священство в шитом золотом и серебром торжественном облачении, а за священством плотно идет паства. Тут все было именно в полной пустоте на мосту и вокруг него, слов-



но это был не самый обычный мост через самую обычную, пусть даже и великую, реку, а некий сверхфизический мост между миром земным и небесным, по которому, мосту, шествует мирное христово воинство с проповедью той единственной настоящей любви, которая одна и делает человека подлинно свободным. Оператор, снявший эти кадры, сделал затем широкую панораму вниз по речной долине и поймал в объектив шатры и маковки Божьей Матери Одигитрии. Маковки сияли и горели золотом, отражаясь в бегущей внизу воде, словно это сам Небесный Иерусалим отражался.

И все время какой-то металлический стрекот рывками прорывался сквозь песнопения хора, отвлекая отца Михаила. Ему все никак не удавалось высмотреть или сообразить, что это так стрекочет по асфальту. Он был слишком молод, чтобы лично помнить инвалидов на подшипниках.

---

## 12

---

Огромного калеку, упорно катившего на стрекочущей подшипниками тележке из Заречья через мост до Троицкой церкви в горсаду, оттуда до Одигитрия у моста и вновь в Заречье, отец Михаил рассматривал, лишь когда крестный ход закончился, зареченские все вместе вернулись к себе в Заречье и столпились у паперти. Все до последнего человека, кто ходил. В зареченских произошло какое-то единое душевное движение, возвратившее их к месту, откуда они три часа назад отправлялись. По правилам после проповеди благочинного (увы, и на сей раз скучной, из суконных штампов, без чувства и страсти) крестный ход считался завершенным, и, значит, от Одигитрии его участникам надлежало возвращаться в свои приходы порознь. Зареченские это обстоятельство как-то упустили из виду.

Перекрестившись и войдя уже почти в храм, отец Михаил почувствовал, что не вправе он просто взять и оставить паству так и стоять у паперти в ожидании. И что не вправе просто объявить ей, что крестный ход закончился и всем надлежит идти домой, храня память о радости, которую они сейчас испытывают. И что это вообще-то языческая гордыня, вот так стоять и ждать, что раз было явлено одно божественное чудо, то тут же будет непременно явлено и еще какое-нибудь в том же роде. Но что-то сказать нужно было, и отец Михаил, вспоминая житие Николая, Мирликийского Чудо-

творца, повернулся лицом к людям у паперти.

– Братья и сестры, – начал он, не зная еще, что скажет дальше. Ему вспомнилось почему-то, как будущий святой, будучи еще грудным младенцем, по средам и пятницам, постным дням, отказывался от титьки, чтобы не оскоромиться. И тут он понял, что должен говорить уже без всяких риторических приемов, а начистоту, что им всем надлежит сейчас сообща перебороть страшный соблазн.

– Братья и сестры, – повторил он, больше не стараясь как-нибудь возвысить свой глуховатый голос.

– Тише! Тише! – разнеслось по толпе перед ним, и чей-то низкий, густой мужской голос, отдающий в хрип, громко и отчетливо проговорил из самой толпы:

– А ну-ка, тетка, расступись пошире – дай проеду! Зря я, что ли, целый день туда-сюда прокатался! А то не вижу ничего через твою жопу, ишь, разъела!..

Вокруг голоса сразу возникло сильное движение, и над головами показалась еще одна – огромная, всклокоченная, в каком-то картузе на черных, как смоль, волосах, с лихорадочно горящими угольями вместо глаз и сама еще толком не понимающая, почему она оказалась на такой высоте.

От головы в ужасе откачнулись. Отец Михаил увидел настоящего великана, неуверенно стоящего в полный рост над ненужной больше ему тележкой кверху подшиппниками. Свои обшитые толстой кожей толкачки исцеленный калека держал в лапах, только-только начиная соображать, что они ему тоже отныне не нужны.

Уяснив до конца, что произошло, отец Михаил направился к этому дикому Илье Муромцу, совсем озверевшему за тридцать три года на печи, снимая с шеи золотой осьмиконечный крест.

## VI. ГИРОСТАТ

### 1

А ведь когда-то стадион располагался на окраине города, в старом сосновом бору с сухопарыми рыжиками, слизистыми груздями и жирными маслятками. Строить его начали в конце тридцатых. Сначала было футбольное поле с черной гаревой дорожкой и дере-

вянными трибунами на пять тысяч мест. В пятидесятые годы старые трибуны надстроили, и они стали вмещать пятнадцать тысяч. Тогда же дощатый забор вокруг стадиона заменили высокой решеткой из железных прутьев с навершиями в виде наконечников знамен; ордена на пролетах несли на себе чугунный советский герб. Затем, в семидесятые, гаревую дорожку покрыли квадратами упругого тартана, а деревянные трибуны одну за другой заменили кирпичными, заодно расширив помещения под трибунами. Высокие трибуны стали вмещать сорок тысяч, а под ними устроили спортзалы и помещение Дирекции стадиона.

Извне чаша стадиона выглядела, как средневековый замок в лесу, но было у замка уязвимое место – восточная трибуна, сектор Б. Изначально именно она была главной, с маленькой ложей для почетных гостей и будкой для комментатора. Но низкое закатное солнце слепило их, они не видели решающего гола, забитого на последних минутах, и при перестройке стадиона главной сделали западную трибуну. Ее отгрохали по последнему слову, в три этажа с застекленными стенами, с рестораном внутри и летящим козырьком сверху, простирающим бетонную длань над редкими головами в шляпах. И угрохали на перестройку все лимиты кирпича (на сектор Б восточной трибуны его не хватило). Сектор Б так и остался деревянным, лишь перекрытия из лиственницы заменили бетонными плитами. В детские годы Петра под восточной трибуной выдавали напрокат коньки, сейчас под ней располагался узкий и длинный беговой манеж. В Сибири суровые долгие зимы, и бегунам на средние дистанции, на которых важно глубокое сильное дыхание, зимой нужно тренироваться в закрытом помещении, чтобы не застудить легкие.

Устроившись в глухом закутке у деревянной стены в час ночи, Петр с Василием коловоротами насверлили в двойной доске-пятерке дырок, сунули в них ножовки по дереву и выпилили в стене аккуратное отверстие, только чтобы пролезть человеку с канистрой бензина.

На стреме среди мусорных баков стоял Косой и замерз к утру, как собака, но толку от него все равно не было бы.

Огромные холодные рыбины, беззвучно раскрывая зубастые пасти, плавали у него в голове – он не мог отвести глаз от острой вер-

шины чудовищной пирамиды, торчащей в черном пустом небе над трибунами, словно это был шип на гибкой хребтине какого-то спящего лунного дракона, словно все это вообще происходило где-нибудь не на Земле. Обклеенная серебряной фольгой, страшная пирамида, как ядом, сочилась холодным чужим светом, уловленным и отраженным на нее Луной.

## 2

Сосредоточенно работая, они хранили молчание. Наконец, лаз был готов.

– Вот как все, значит, получилось, – задумчиво сказал Петр. – Возьми на память.

Он протянул Василию свои новые наручные часы «Слава» с календарем.

Раз в неделю в маленьком окошечке внизу циферблата вместо четких черных буковок «пнд», «втр», «срд», «чтв», «птн», «сбт» с легким металлическим щелчком выскакивали радостные красненькие «вск», обозначающие воскресенье.

Василий взял часы и, отвернувшись, ударил кулаком в стену. Стена задрожала.

– Да, – вспомнил Петр, уже проникнув внутрь манежа и выглядывая обратно наружу. – Извинись за меня перед соседом за машину, хоть литр ему, что ли, выставь.

Пухлую «Тойоту», на которой они приехали из Уточкиной, потихоньку выкатил из гаража через четыре участка Косой: запалил забор участка с дальнего конца и, пока испуганные соседи, обо всем позабыв, бросались с ведрами на огонь, просочился в гараж.

– Перебьется, кулак бичурский, – зло сказал Василий. – На новую накопит. Тут за них люди...

Он не договорил.

– Не за них, – сказал Петр. – За себя.

– А ... его знает, за кого, – сказал Василий и стал заделывать дыру как было. Цемент, песок, гашеную известь, воду в большом молочном бидоне они привезли с собой, для того и машину пришлось угонять.

Проникнув в темный манеж воровским способом, Петр поставил канистру подальше в угол, чтобы не воняла, сел спиной к теплой

деревянной стене, вытянул ноги, закурил и стал ждать рассвета.

### 3

В зарешеченных окошечках посветлело, и первые косые солнечные лучи бросили решетчатые тени на противоположную стену. Петр раскрошил в ладонь несколько сигарет и, подобно заправскому шпиону, посыпая за собой табаком, направился в душевую. Там он принесенной доской заколотил снаружи одну кабинку, не опасаясь разбудить ночного сторожа далеко по длинному коридору за несколькими дверями под другой трибуной, забрался внутрь и с предусмотрительностью маниака свернул с гнутой трубы ржавый конус распылителя, чтобы совсем уж ничего не вызывало подозрений, и затаился, сидя на холодном кафеле и вдыхая сырой запах заплесневевшего мыла из склизкой дыры сливного отверстия. В детстве Петр с болезненным интересом пытался представить себе, что чувствует таракан, которого прицельной струйкой смывает в жерло ванны, каким отчаянием и надеждой обуреваемо бывает живое существо, цепляющееся лапками за скользкую эмаль, какой темный ужас одолевает его, когда его начинает засасывать в бесконечные узкие трубы, идущие все ниже и ниже во мрак и затхлость, и какой душевный покой снисходит на него в последний момент его короткой жизни, когда холодные потоки подхватывают и уносят его под землю?

О чем думал этот прекрасный юноша сейчас, представляя себе нескончаемые вереницы смеющихся молодых людей, полных сил и жизни, радостно идущих по улицам родного города на свой убогий праздник, где кое-кого из них ждала лютая смерть в дыму и пламени, кое-кого растоптали бы в панике на крутых бетонных лестницах, а кое-кого поджидала и вовсе незавидная участь инвалида-спинальника, прикованного к постели? Думал ли он о своей жизнерадостной фигуристкой подруге, любившей принарядиться, посмеяться и невинно повертеть попкой перед мужчинами? Думал ли о мученическом венце? О стареньких родителях, которых непонятное и тем более ужасное преступление единственного сына совершенно убило бы? О долгих годах в тюремной камере, ибо малодушно симулировать сумасшествие он не собирался и не намерен был безумно погибать в огне? О своей одинокой больной старости в доме для престарелых? О пожизненных муках совести и бесплодного раская-

ния? А может, он испытывал приступы сатанинской гордости?

Это правдивому повествователю совершенно неизвестно, но доподлинно известно, что наш герой еще и еще раз тщательно взвешивал: не поджечь ли прямо сейчас?

По всему выходило, что нет. Даже если бы дотла выгорели внутренние помещения стадиона, а через щели в бетонных плитах занялись деревянные скамейки, бетонный каркас стадиона все равно уцелел бы и концерт начался бы на мокром пепелище хоть под утро, хоть вечером следующего дня. Чтобы его предотвратить, следовало принести кровавую жертву, пожертвовать десятком-другим сгоревших, задохнувшихся и растоптанных ради спасения оставшихся тридцати девяти тысяч девятистот молодых жизней.

Да и не хватило бы у меня бензина и удачливости поджечь стадион с нескольких сторон сразу.

#### 4

Бетон – хороший проводник звуковых волн. Петр слышал первые несвязные аккорды гитаристов, с опаской пробовавших электрические инструменты, и обрывистые музыкальные фразы, для распевки выпеваемые в мощный микрофон слабеньким девичьим голоском. Какая-то одна из пяти Лумб намеревалась петь вживую, без фонограммы, и голосок у нее, похоже было, был приятным, но это ничего не меняло.

После нескончаемых минут вслушивания бетонная плита у него над головой мелко завибрировала, послышалось, или только так ему показалось, шарканье неисчислимых подошв, раздалось постукивание батарей пивных бутылок, опускаемых под лавки, и даже – это уж точно показалось! – послышалось журчание дружеских восклицаний и заливистого смеха. Петр выбил хлипкую фанерную дверцу и, на ходу открывая канистру, вышел из темной, тесной и сырой душевой в светлое, просторное, сухое помещение манежа. Свет из окошечек под потолком падал на длинную беговую дорожку узкими косыми полотнищами, рассекая пространство на множество непроницаемых для взгляда воздушных отсеков.

– Ба! А вот и наш Гиростат! – раздался с другого конца манежа громкий, как всегда радостный и непередаваемо противный сейчас глумливый голос Ильи Владимировича.

Стуча когтями, из полутьмы и полусвета на Петра выбежал ши-

рокогрудый Хват.

– Сторожи! – крикнул невидимый Илья Владимирович.

Могучий пес уселся перед Петром, склонил чуть набок тяжелую голову с лохматыми медвежьими ушками и уставил на него желтые глаза бойцовского пса, убийцы быков.

– Ну что ж, Петр Андреевич, пойдете на свежий воздух, послушаем мою эту, как ее, Лумбу, что ли? – любезно предложил Илья Владимирович, неспешно вырисовываясь перед Петром. – Вот тоже нашла себе сценический псевдоним, дура! Только одна маленькая просьба, Петр Андреевич... Ну, да вы меня и без слов понимаете... Собачка откусит вам ручку. Или ножку.

– Почему вы все-таки так пошлы, Илья Владимирович? – сказал Петр, ставя на упругую дорожку бесполезную канистру.

– Но нужно же мне каким-то быть! – живо откликнулся тот. – А не желаете посмотреть, какой я на самом деле? Нет? Ну и ладно. В самом деле, зачем вам меня видеть настоящего? Да это как-то и не ко времени. Сами посудите: ну сколько можно пророчествовать, обличать? А то потом вы ведь еще знамений потребуете – сколько можно? Не хватит ли знамений?

– Опять шутите? – сказал Петр.

– Какие уж тут шутки! Что вы, помилуй бог, такой скептик! Да я и сам, признаться, подзабыл, какой я настоящий. Знаете, когда вся жизнь в разъездах, странствиях, так сказать... Не буду, не буду! А то и впрямь придется откусить вам какую-нибудь конечность. Собака не мучается вашим извечным вопросом, какое она имеет право и кто будет отвечать – хозяин пусть за все отвечает. За отдаленные последствия, главное. Тут я, впрочем, могу вас понять... А признайтесь: вы ведь ничуть не удивлены моим появлением? Чего-то подобного вы ожидали, не так ли?

– Мало ли чего мы ожидаем... – пожал Петр широкими плечами.  
– Не все сбывается.

– Совершенно верно извоили заметить, совершенно верно! – возликовал Илья Владимирович. – Но вас, могу заверить, ожидает совершенно прекрасная будущность! Совершенно прекрасная!

– Меня не спрашивали, нужна ли она мне такой ценой, – холодно заметил Петр.

– А вот тут вы совершенно уже неправы, любезный Петр Андреевич! Совершенно! – вскричал Илья Владимирович, впадая в раж. – Если каждого заранее спрашивать, согласен ли он в старости цепляться за ускользающую жизнь, скользить, снова цепляться из последних сил, но все равно чувствовать, как силы уходят и жизнь ускользает, и вот ты уже ничего не можешь, что делал в молодости не замечая (по лестнице не можешь подняться, шнурки на ботинках завязать, в магазин сходить за хлебушком), и не понимаешь ничего, что вокруг тебя происходит и почему по-твоему ничего не получается, и все тебя раздражает, и беспомощен ты совершенно, и боишься совсем «залежаться», и мысли тебя одолевают, что жизнь всё – прошла, кончается, и не так ты ее прожил и дальше еще хуже будет, – пустой станет Земля, совершенно пустой! Никто не захочет вообще рождаться.

– Захочет.

– Ну, это уж не нам решать, – миролюбиво возразил Илья Владимирович. – И потом: о какой, собственно, цене мы говорим? Вы-то какую такую особую цену платите? Вам-то ведь все достается задаром, а?

– Как вы меня нашли?

Вопросом Илья Владимирович был несколько удивлен.

– Как нашел? Хм... Ну, вот хоть – помните смышленного Рыжика? Вы еще хотели переименовать его в Каштанку.

– Это вы хотели его переименовать.

– Разве?!

## 5

Из манежа они вышли как раз в тот момент, словно специально подгадывали, когда могучие концертные колонки разнесли над глубокой чашей ликующего стадиона разухабистое приветствие: «Добрый вечер, дорогие друзья-я-я!!! Я рада приветствовать вас-с-с-с!!!»

Дурацкое окошечко, наверное, тут же захлопнулось, Лумба побежала по лестницам внутри пирамиды к другому какому-то, а пока загремело забойное вступление всем известной песенки о девочке, мечтающей уехать от строгой мамы в какой-то далекий чудесный город, где мулаты ходят в белых штанах, а кроме веселых мулатов никто вроде бы и не живет.

Малолетняя, по большей части, молодежь, не сумевшая найти денег на билет и не впущенная поэтому внутрь, завизжала в восторге и



задвигалась под стенами трибун и под высокими сучьистыми тополями, где тусовалась и где ее застали первые звучные аккорды; дюжие бритые омовцы в перекрытых проходах снисходительно усмехнулись, и вдруг разом, слишком даже скоро, безо всякой подготовки или хотя бы там паузы, безо всякой заминки, разом, как корова языком слизнула, обрушилась тяжелая мертвая тишина, будто в чашу стадиона бросили сверху огромный ком сырой ваты, мигом задушившей все звуки и всех, кто там находился, радовался и дышал.

Молодежь под тополями недоуменно и недовольно застыла. Омовцы насторожились и посуровели.

– А моя мама говорила мне-е!.. – провизжала какая-то тормозная девчушка в шортиках повыше нежных складочек. Своими голенькими мосластыми спичками девчушка стояла на чудовищно толстых платформах, словно намеревалась качать нефть с морского шельфа.

Илья Владимирович показал на нелепую юницу пальцем:

– Городской подросток в большинстве своем безобразен, вы так не находите, Петр Андреевич?

От этих ли слов или от чего другого Петра вновь посетило видение.

---

## КРЕТИНИЧЕСКАЯ БАРБИ

### *Второе видение Петра*

Он увидел, как девчушка, улыбаясь блаженной олигофренической улыбкой, щелкая белыми пузырями бабл-гама, лопающимися у нее на губах, покачивая головкой лакированного китайского болванчика в такт бряканью и позваниванию у нее в наушниках, переставляет свои чудовищные платформы, переступая через моря и океаны, затапливая острова, продавливая континенты и не замечая, в который уже раз подряд она обходит кругом земной шар, уподобившись гигантской кукле Барби, впавшей в безумие, идиотизм и бесстыдство.

*Конец всем видениям, пророчествам, обетованиям,  
рассуждениям.*

---

## VII. МАНКОДИС-ПТИЦА (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

---

### 1

---

Не в человеческих силах вместить, упихать себе в сознание хаос атомных или молекулярных столкновений, слияний, превращений и разъединений в колбе с реактивами, какими-нибудь три-нитро-бензоатами или бензо-кальцитами, пока реакция не закончится и можно будет, побалтывая, поднять колбу на свет, чтобы увидеть выпавший осадок, конечный результат сложной химической реакции. Проследить мыслью полет отдельно взятого электрона или там атома гораздо, гораздо легче.

Покинув стадион, Петр пешком дошел до проходного двора к «Бороде», проспекту Карла Маркса, а бывшей Большой улицы, где по уговору Василий бросил угнанную «Тойоту» с неправильным японским рулем и поздно вечером, опять в темноте, вернулся в Уточкину.

Не заезжая к себе, он первым делом поехал возвращать машину.

С хозяином Петр намеревался договориться просто, по-мужски сказать ему: «Пошел ты на ..., Семеныч, со своей машиной!» Но Семеныч, сорокапятилетний инженер, кажется, «Горводоканала», не нуждался в извинениях. Он даже не вышел на звук машины, чтобы показать, как она ему теперь безразлична. Вместо него, покачиваясь, вышел Василий: они с Семенычем пили. Жена Семеныча, молодая приятная женщина с чуть выкаченными глазками, хлопотала у стола.

– Да хер с ней! – предупредил Семеныч объяснения Петра, только его завидев. – Я все понимаю... Я тебе генеральную доверенность напишу, делай с ней что хочешь! Надька, давай ручку.

Глаза его, даже у захмелевшего, горели лихорадочным огнем.

– Ты! – гневно осадил его жена. – У людей такое горе! Ая-яй, столько людей... Садитесь, Петр.

Петр не сразу понял, о чем это она.

– Да не такое уж и горе, – усмехнулся он. – Горе – когда исчезает один человек. Так что, Семеныч, нет проблем?

– Какие проблемы, сосед! – восторженным шепотом вскричал ополоумевший инженер. – Ты сам посмотри...

Семеныч нагнулся под стол, едва туда не свалившись, и брякнул о столешницу куском отполированного золота килограммов на десять.

– От ногтя заусенец отпилили, – сказал Василий. – Тебя не было, когда мы до нее докопались. Копали, копали, думали – погреб копаем, а там целая статуя из золота. Мы ее не стали до конца раскапывать, зачем нам столько?

– Лежит или стоит? – уточнил Петр.

Соображая, о чем его спрашивают, Василий сморщился, как печеное яблоко.

– М-м-м, лежит, кажется.

Глядя на заусенец с ногтя последнего земного будды, Петр расхохотался. Смех его скоро перешел в рыдания.

– Ну-ну, Петр, что ж делать, раз так вышло? – бросилась утешать его Надя и понесла какую-то околесицу:

– Завтра утром проснетесь, чаю попьете...

Как она, эта простая русская женщина, поняла его очистительные, освобождающие судороги и содрогания?

---

## 2

---

Илья Владимирович и Николай Мирликиевич сдержали обещание: к обеду следующего дня, то есть в воскресенье, приехали в Уточкину прощаться; как-то слишком скоро и неожиданно, когда ничего еще не улеглось и не устоялось, неизвестно даже было в точности, сколько человек пришло на злосчастный концерт. (Их, кстати, насчиталось не сорок тысяч, а всего-то восемнадцать с половиной; но тоже, конечно, много).

Песочный «Линкольн», как выяснилось и подтвердилось теперь, оказался личной собственностью бывшего майора спецназа Анатолия Карасева. Редкостную машину он несколько лет продержал на колодках в гараже у товарища, хотя и облизывались на нее двое-трое знатоков и ценителей рок-н-ролла и автомобильной Америки семидесятых. Анатолий Карасев берег ее, как память о былой успешности и верный залог будущего, когда он снова вступит в золотое стремя. Вот оно и наступало для него, будущее: белый аргмак под ним всхрапывал, грыз стальные удила и пытался укусить его за ногу, завернув шею; шпор просил, в общем.

В Уточкиной у Петра Анатолий был впервые. За руль он сам не садился. Его машину водил знакомый нам уже Женька, молодой высокий парень внешности не то чтобы бандитской, но такой... с легким уголовным налетом, такой налет часто покрывает нежные лица молодых людей из рабочих поселков. Двойственное имя ему хорошо подходило. Женька играл в хrap с большими ставками, пьяным дрался с гаишниками и ментами, но, пока его не задевали, смущался и краснел, как девушка. (Позже я узнал, что Женька подавал заявление во французский иностранный легион, ездил в Мыскву, прошел медкомиссию, но поддался на уговоры матери и остался дома. Одним бравым, готовым на все, вооруженным до зубов наемником чуть не стало больше.) Женька хотел остаться в машине, и Анатолию пришлось вытаскивать его за руку. Мимо Угадай, перекрывавшего собой калитку, смущенного Женьку провели во двор Люся со Светой и куда-то там пристроили. Петр не смотрел.

Не считая Женьки, приехавших было четверо: бывший майор спецназа Анатолий Карасев, Николай Мирликиевич, Илья Владимирович и страшный, грязный, огромный мужик с лицом питекантропа, составленным из крепких тяжелых лицевых костей. Одет мужик был в полосатую матрасовку с дырами для круглой, как столб, шеи и голых, черных от грязи толстых рук. Чтобы длинная матрасовка не заставляла семенить ногами, она была разорвана по шву. Через шаг в длинной дыре показывалась чистенькая, белая, новенькая нога в черном разношенном донельзя валенке; валенки были изъедены молью до дыр и найдены на помойке, но ничто другое не нашлось бы. Вывалившись из машины, гигант сделал три валких шага куда шагнулось – под уклон, но остатками сознания почувствовал как-то, что пошел не туда, и, взмахнув руками, развернулся. Поверх матрасовки на его широкой груди сиял сусальным золотом большой поповский крест на цепи. С крестом он походил на отшельника, надравшегося мутной самогонки, да он и был дымно пьян, как пьянее не бывает.

Развернувшись и проведя по Петру диким горячим глазом, мужик углядел открытую калитку и прицельно двинулся в нее. Ему не сказали, зачем его везут за город.

Угадай склонил тяжелую голову, приподняв мохнатые уши. Му-

жик почуял на пути к женщинам живую преграду, присел, игриво расставил руки и медведем полез на собаку.

– Ставлю десять против одного на Угадаю, – потирая руки, предложил Илья Владимирович, но таким уж бодрым и уверенным он как-то не выглядел на этот раз, как-то спал с лица и казался уставшим и даже не совсем здоровым. Одет он был вновь по походному: в тесноватые ему джинсы, кроссовки и старенькую рубашку-ковбойку в застиранную сине-красную клетку.

Верхняя губа Угадаю грозно приподнялась, глубоко в животе у него глухо рокотнуло. Мужик недоуменно замедлился.

– Ну и как вы, Петр Андреевич, намерены со своей креатурой теперь поступить? – поинтересовался Николай Мирликиевич.

Этот, кажется, напротив – выздоровел и даже посвежел, и его прямой хрящеватый нос солдатского императора ходил туда-сюда с прежним великолепным небрежением ко всему и вся.

– Дам ему в кадык, – сказал Петр, глядя в полосатую спину.

– Экий вы стали неприступный, Петр Андреевич, и не подойди к вам! – укоризненно покачав головой, посетовал Илья Владимирович. – Вот они какие, бесполезные-то чудеса, маета с ними одна потом!

Он подхватил мужика под руку, с другой руки за мужика вынужден был взяться Анатолий.

Угадай таки сдвинул что-то с места в его неподвижном сознании. Упираясь для порядка, мужик позволил оттащить себя к Уточкиной речке, и там его спиной вперед бросили в воду, где поглубже. Присматривать за ним оставили флегматика Догоняю, чтобы раньше, чем протрезвеет, не вылез.

### 3

Открытое пространство, не обрезанное кирпичными стенами, позволяет самой большой компании тихо разойтись в поисках местечка и занятия каждому на его вкус, не утруждаясь поисками общих тем для разговора.

Люся и Света потчевали Женьку тортом из сгущенки и хлебных крошек. Сладкий колобок они слепили ладошками вчера вечером. Не веруя и не умея молиться, они надеялись хоть этим помочь возвращению Петра. Зачем он так внезапно уезжал в город, им не гово-

рили, но они и сами могли прочесть все на мрачном лице Василия. Женька смущался, благодарил и краем глаза наблюдал, как Евстий тут же на столе разбирает генеральский карабин, чтобы починить затвор; сына у погибшего генерала не оказалось, и карабин, значит, можно было оставить себе, не нарушив закона сибирских охотников.

Васька Косой с неохотой махал лопатой в новой яме для погреба, косясь на удочки.

Василий с соседом Семенычем рассматривали трубу ручного насоса, торчащую из земли. Благодарный Семеныч, удостоверившись, что на самом деле сменял свою немолодую «тойоту» на золотой заусенец, на который, если быть осторожным и ловким, можно было купить пару новых «мерседесов», отгрохать коттедж и навсегда забыть о работе, принес в придачу электронасос «Кама-8». Теперь они стояли и рассматривали трубу, на которую им нужно было приладить его как-нибудь без сварки. Труба уходила глубоко под землю, куда не заглядывал глаз ни одного живого человека, и что-то там под землей постоянно происходило и двигалось, отчего образовывалась чистая холодная вода и случались землетрясения. «Под землей моря и озера друг в друга перетекают, – доказывал Василий, – там целые реки текут, по ним рыба может проплыть!.. А с чего она задохнется?! Под водой же не задыхается... Ну, и там тоже кислород растворен... А в реках он зимой просто замерзает. Почему лед легче воды – потому что в нем кислород замерзший, воздух!.. Ну, потому вода и расширяется, когда замерзает, что это кислород в нее впитывается. Холодную бутылку пива открыть или теплую – есть разница? Так и кислород: чем холоднее, тем лучше растворяется. А под землей холодно, и кислорода там в воде больше, чем в реках, и рыба там должна быть... А где ты такой глубокий колодец видел? Чтобы в колодец рыба заплывла, нужно, наверное, глубоко копать!» Снедаемый любопытством, Семеныч терпел и не спорил. Он все пырвался заговорить о Золотом Будде, да пока не решался.

Николай Мирликиевич сидел у костра на чурбачке и смотрел в огонь, как лев на солнце. Петр полулежал на земле с другой стороны, курил, медленно выпуская дым из ноздрей, как усталый Змей Горыныч, и смотрел на Небесную.

На редкой зеленой травке под осинкой, под которой Маргарита еще недавно кормила их с Василием колбасой и огурцами, Небесная нежилась, как кошка на солнцепеке – жмурилась, потягивалась, по-вертывалась с боку на бок и чуть не мурлыкала; эолова арфа лежала у нее под рукой.

– Куда вы теперь? – сказал Петр.

– Постранствуем еще немного. Постранствуем...

Холодом повеяло на Петра от этих простых слов.

– За эскимосов теперь возьметесь?

– Это у Ильи надо выяснить. Это по его части.

– А по вашей, значит, части...

Николай Мирликиевич как-то очень по-доброму, с лукавинкой, улыбнулся:

– Вашими молитвами, Петр Андреевич, вашими молитвами...

Петр замялся, решаясь.

– Да, вот еще что хотел у вас спросить...

– Спросите.

– Я хотел спросить, – Петр с трудом находил слова. – Он... где постоянно пребывает?

– Как где? – мигом угадал Николай Мирликиевич. – В Париже, где ж еще Ему пребывать! Сыграйте-ка нам что-нибудь!

Небесная одним длинным гибким движением перевернулась на спину, села и осторожно, бережно, подняла арфу.

Тихая музыка поплыла над теплой весенней землей. Ангел, как раз пролетававший над Уточкиной, заслушался и вынужден был потом сделать лишний круг, набирая перед городом высоту. Кержак Евстихий не очень все-таки разбирался в ангелах. С чего бы им мерзнуть в стратосфере, если б не боязнь закоптить над городом белоснежные крылья?

Илья Владимирович с Анатолием Карасевым ангельской музыки не слышали. Они задержались на речке, чтобы еще раз обсудить, должно быть, как накормить Америку олениной. И ведь совершенно бескорыстно об этом говорилось с обеих, причем, сторон!

---

#### 4

В ледяной воде мужик посинел и скрючился, зато очухался; бес-kozyрку со стершейся золотой «...вророй» на околыше закрутило

и унесло течением. Бредя обратно к машине, мокрый и дрожащий, как Каштанка на помойке, мужик хватался лапой за голову и с горькой обидой бормотал:

– Ах, так со мной, так, да?!

Он остановился и в бешенстве изо всех сил затопал мокрыми ва-ленками. Мало-помалу грозное топотание перешло в камаринского.

– Ну, держись теперь, бабы! – вскрикнул он и, суча новыми крепкими ногами, бойко затараторил:

Еле-еле ... в бане,  
Шевелит ... губами.  
Усекай-ка дубину  
Мерить в ... глубину!  
Сакутили, сакутили:  
На ... баню срубили.  
Как на Муромском мосту,  
Догонял мужик ...  
Он на крылья наступил,  
С ... бороду слупил.  
Он нарвался на таку,  
Он согнул свой ... в дугу!  
По мосту, мосту, мосту,  
Провели в Сибирь ...  
Крепко скованную,  
Ошельмованную!

Горячие лошадиные глаза его горели неугасимым огнем. До машины он, впрочем, дошел присмиривший, выпустив пар.

– Ну, не поминайте лихом, Петр Андреевич, – попросил на прощанье Николай Мирликиевич, протягивая Петру жесткую ухватистую клешню циркового борца. – Вряд ли мы с вами скоро свидимся. Но что означает «скоро»? Двести-триста лет, в известном смысле, тоже «скоро», промелькнут – не заметите.

– Я не хочу умирать такой старой! – засмеялась смелая Люся.

Света потихоньку дернула ее за рукав:

– Тише ты, дура!

Илья Владимирович рванулся что-то вставить, но промолчал.



Петр поймал его взгляд, брошенный на Люсю и тут же метнувшийся в сторону.

– Кто же у вас останется? – сказал Петр, глядя Николаю Мирликиевичу в глаза.

Илья Владимирович, словно удивляясь непонятливости Петра, приподнял узкие ключицы.

– А вот вы и останетесь, Петр Андреевич! – радостно воскликнул он. – Вы и останетесь! Да мало ли кто еще! Найдется, кому остаться. Ваши новые соседи блаженные тоже останутся со своей красавицей-радугой.

Попытку Ильи Владимировича пожать ему на прощание руку Петр предупредил заранее:

– Руки я вам не подам.

– Экий вы непреклонный, – добродушно рассмеялся Илья Владимирович. – Теперь-то не все ли вам равно? Нет? Ну, как хотите...

– Вам их, конечно, не жалко.

– Кого?!

---

Не дождавшись ответа, Илья Владимирович пошел целовать в щечку Люсю со Светой, обниматься с кержаком и давать последние наставления Косому; даже соседу Семенычу, не вышедшему провожать чужих гостей, крикнул что-то прощальное через забор. Василия он как-то обошел стороной, то ли специально, то ли просто так вышло.

Петр опять оказался как бы наедине с Николаем Мирликиевичем.

– Никак не могу в вас поверить, – признался он.

Николай Мирликиевич заперхал и закаркал, заходясь в хриплом стариковском смехе:

– Можете меня пощупать.

– Да ладно, – отказался Петр, подумав.

– Кстати, – припомнил Николай Мирликиевич, отсмеявшись. – Вы тогда верно сказали, что человек – это третья разумная раса Земли, но в остальном историю атлантов несколько упростили. Надо бы вам узнать, как оно все происходило на самом деле... Временем, надеюсь, располагаете?

*Н. М. Скворешников*

# **ПУТЬ АТЛАНТОВ**

*Очерки атлантической истории*

## **I. ПРОЛЕГОМНЫ**

### *1*

Атланты – вторая разумная гуманоидная раса Земли.  
Физиология атлантов мало чем отличается от человеческой.  
Атлантида – область земной суши, освоенная атлантами.  
Атлантиды – потомки шестой атлантической расы.

### *2*

Первой разумной гуманоидной расой Земли были лемуры. Обоняние, слух, ночное зрение, способность ориентироваться на незнакомой местности развиты были у лемуров в высшей степени.

### *3*

Могущество атлантов не достигло бы таких высот без тяжкого труда лемуров. Атланты совершенствовались религиозные, философские и этические системы, совершенствовались в воинских искусствах. Лемуры рыли каналы, тесали камни, плавилы железо, варили стекло.

### *4*

Изложить историю атлантов в рамках современной хронологии невозможно: период обращения Земли вокруг Солнца был иным, иным был и суточный цикл. Все было иное: созвездия, береговая линия, горные системы, направления рек, ландшафтные зоны, звери в лесах и птицы в воздушных потоках.

Луны на ночном небосводе не было. Луна еще неслась к Солнечной системе, вращаясь подобно огромному, холодному каменному мячу.

### *5*

Атланты освоили огромный материк, создали процветающие империи, изменили геологическую историю Земли, но все впустую.

## II. ПОКОРЕНИЕ ЛЕМУРОВ

### 1

К тому времени, когда им пришлось столкнуться с лемурами, атланты уже достигли высокого искусства в обработке кожи, дерева, камня, кости, овладели технологией плавки металлов. Кожаный панцирь с нашитыми бронзовыми пластинами надежно защищал от удара каменного топора в лапах лемура, бронзовый меч резал и рвал его толстую кожу и крепкие сухожилия. Технологическое превосходство не стало однако главной причиной того, что атлантам удалось выжить и покорить лемуров.

Лемуры были неуравновешенной, подозрительной, злобной расой, обреченной на разрозненность. Малейшего пустяка, пустейшего подозрения бывало достаточно, чтобы они бросались рвать новых друзей, с которыми только что договорились забыть прежние счеты. От самоуничтожения лемуров спасала особая поведенческая стратегия, и атланты стали ее важнейшим элементом. Они взяли на себя роль посредников между враждующими племенами лемуров. Так они обрели некоторые гарантии неприкосновенности. Скоро лемуры убедились в их честности и постепенно передоверили им право заключать от своего имени все договоры: о границах, пенях за убийство, проведении совместных праздников, загонных охотах. Договоры, заключенные атлантами для лемуров, оказывались гораздо более выгодными и прочными, нежели их заключали бы сами лемуры. Если же лемуры нарушали договор, заключенный для них атлантами, атланты могли уже сами покарать нарушителей. Численность атлантов сильно возросла, и они не ведали розни.

В течение десятков тысячелетий история атлантов была историей изнурительной однообразной борьбы. Противником их был целый мир – беспощадный, равнодушный, чужой. Лемуры оказались их естественными союзниками в этой борьбе.

### 2

Позднейшие тяга атлантов к утонченной роскоши, явственный налет гедонизма в их быту, изощренный эротизм из религиозных культов – все это следствие первых суровых тысячелетий, попытка полу-

чить заслуженное вознаграждение за тяготы и лишения, которые им пришлось вынести и перетерпеть в начале своей истории. Даже невинные радости промискуитета атланты не могли себе позволить. Первых атлантов было очень мало, и им пришлось прибегнуть к жесткой регламентации брачных отношений, чтобы не выродиться. До наступления половой зрелости атлант должен был заучить всю свою родословную. В день летнего солнцеворота старейшины усаживались в кружок и на песке выкладывали из камешков родословные древа женихов и невест. Тщательно сличив их, старцы объявляли пары наименьшей степени родства. Осенью справлялись свадьбы, и к следующему лету рождались дети. Зоркие старики пристрасстно наблюдали, кто из детей быстрее растет, меньше болеет, ловчее в играх, агрессивнее в стычках, и постигали механизм наследственности. Когда счет вышел за семнадцатое колено и седьмую степень родства, у атлантов сформировались одиннадцать брачных фратрий и чрезвычайно сложные правила заключения межфратриальных браков. Правила оказались весьма эффективны. Отказавшись от дара любви, атланты создали свою здоровую, целеустремленную, жестокую, сильную расу.

После этого они стали творить свою историю. Она знала взлеты, падения, тупики, но внутренний ее смысл всегда был один – возвращение на Землю Му. Первые атланты не могли забыть ее богатые рыбой реки, ее леса, богатые дичью, ее цветущие луга и передали память и мечту о ней потомкам. Чужой мир, в котором горстка первых атлантов очутилась, оказался таким отвратительным и невозможным, что мечту о возвращении на Землю Му они передали потомкам с такой силой, что те никогда не смогли ей изменить.

### 3

Очень долго атлантическая история была историей однообразно горьких поражений, однообразно славных побед. Распространяясь по материку, переплывая реки, переходя через саванны, прорубаясь сквозь джунгли, штурмуя горные перевалы, атланты подчиняли разрозненные племена лемуров, строили поселения, обносили их тыном и рожали детей. Дети вырастали, и лучшие из них уходили покорять новые земли. Через несколько тысяч лет огромный материк был освоен атлантами полностью. Атланты, бывшие некогда одним племенем, стали разными народами и заговорили на родственных, но разных

языках. Народы создавали свои государства, и между государствами начиналась борьба за контроль над торговыми путями, плодородные земли, богатые охотничьи угодья, месторождения железной руды, золота и драгоценных камней. Побеждали в ней сильнейшие.

Но всякий раз выяснялось, что победителям ничего не нужно менять в жизни побежденных, а побежденным незачем восставать против победителей. У победителей и побежденных всегда оказывалась общая главная забота – поддерживать существующий порядок вещей, при котором атланты устраивают пиры, принимают и отряжают послов, торгуют, совершенствуют налоговую систему и систему поместного землевладения, избирают и избираются в Сенат, пишут и утверждают законы, лемуры – собирают урожай, совершенствуют технологию выращивания горного хрусталя, изобретают холодную ковку металлов. Такой порядок вещей устраивал всех, и лемуров тоже. Иногда они бунтовали. Сначала атланты снаряжали карательные экспедиции, но потом стали предоставлять мятежников самим себе. Рано или поздно от мятежников прибывало пышное посольство. Если очистить напыщенные речи от похвалы и околичностей, подавленные послы имели сказать: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Придите и владейте нами». Возмутившись и перебив атлантов – военачальников и градоправителей, разграбив лавки атлантов – торговцев хлебом и хрусталем, подчинившись предводителям своего мятежа, согласившись считать их князьями и каганами на манер атлантов, лемуры незамедлительно начинали подозревать друг друга в тайных сношениях с врагом, в заговорах против только что избранной власти и с той же яростью, с какой несколько часов назад резали атлантов, принимались рвать соратников. К приходу карательных экспедиций бунтовщики успевали истребить сами себя, а уцелевшие во взаимной резне желали только ее скорейшего прекращения. Уцелевшие опрометчиво выходили навстречу атлантам с повинной головой. Атланты безжалостно их вырезали, чтобы ни у кого и мысли не возникало, что против них можно безнаказанно бунтовать.

Главная причина того, что эти две столь различные расы смогли строго разделить между собой права и обязанности и сохранить это разделение на протяжении многих тысячелетий жизни бок о бок, коренилась в их полной биологической несовместимости. Не следует поэтому искать

в атлантической истории аналогии к истории человеческой. Биологические различия между лемурами и атлантами были слишком велики, они не могли даже испытывать друг к другу личную ненависть.

Сначала атланты были для лемунов всего-навсего источником протеина. Выследить, догнать и убить атланта пяти-шести лемурам было легче, чем отбить от стада и убить шерстистого носорога. Неудивительно, что лемуры относились к атлантам как к промысловым животным, и лемуру, убившему атланта, мысль надругаться над айсурицей не приходила точно так же, как охотнику-человеку, убившему оленя, не приходит мысль надругаться над оленихой. В последующей истории Атлантиды невозможность метисации атлантов с лемурами оказалась великим благом – избавила отношения между ними от той напряженности, которая могла бы заставить их линчевать друг друга.

### **III. ВЕЛИКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ**

#### **1**

Мало отличаясь от человека физиологически, атланты бывали подвержены тем же тяжелым страстям, что движут и человеком: тщеславию, гордыне, властолюбию. Возможностей потворствовать этим страстям атлантам предоставлялось не меньше.

Материк атланты открывали дважды. Сначала они все дальше и дальше расходились от родных становищ, слово за словом изменяя язык, жест за жестом изменяя ритуалы. Приспосабливаясь к новым климатическим условиям, они осваивали новые способы производства, приобретали новые привычки, изменяли быт и рядили старых богов в новые одеяния. Расовый облик их оставался однако неизменным. Они заключали межфратриальные браки по тем же правилам, что и тысячи лет назад, даже если ради этого приходилось пускаться в долгие и опасные путешествия по чужим землям. Из путешествий возвращалась половина отправившихся, но родившиеся дети по-прежнему того стоили.

Второе открытие материка началось, когда атланты стали создавать государства. Теперь они целенаправленно двинулись в обратном направлении – навстречу друг другу с разных концов света. По внешней видимости, предпринимать безумные походы до самого края Земли атлантов побуждали воинское тщеславие, купеческое корыстолюбие и

исчезающе редко – любознательность. На самом же деле ими двигало одно – верность атлантической мечте.

Система брачных отношений, найденная атлантами, обеспечивала воспроизводство сильного потомства, могущего выстоять в нескончаемой схватке с миром. Созерцательная мечтательность была признаком слабости и в результате изоцированной селекции была сведена на нет. Но эта же самая брачная система, лишившая атлантов способности выдумывать мечту, изначально создавалась так, чтобы выпестовать способность до иступления увлекаться мечтой существующей и немедленно приступать к ее деятельному претворению в жизнь.

Старцы, наблюдая за ребятишками, которым скоро предстояло поименно перечислять пращуров, и выкладывая из брачных камешков свои родословные древа, не могли не вспоминать, о чем сами мечтали в юности. В ребятишках они высматривали прежде всего готовность подчинить этой мечте свою жизнь.

## 2

Эпоха нескончаемых великих географических открытий завершилась величайшим географическим разочарованием.

Сличая топографические карты, описания неведомых земель, дипломатические донесения, путевые записки купцов и мореходов, саги о безумных воинских походах к самому краю ойкумены, атлантические географы скоро пришли к ошеломительному открытию: оказалось, что до любой точки известной им суши можно добраться посуху, что известные им моря и океаны – это всего-навсего проливы между частями одного и того же материка. И, значит, Земля Му лежит так далеко за морским горизонтом, как никто еще из мореходов не отваживался заплывать, а если отваживался или его суденышко уносило бурей, то не находил обратной дороги, навсегда затерявшись в Мировом океане. Собственно, этим открытием и была вызвана к жизни идея шарообразности Земли.

Возможность вернуться, всего-навсего обогнув Землю, придавала мужества отправиться в плавание через необозримые водяные просторы, не имея никаких других ориентиров, кроме вечно движущихся по небосклону звезд.

Когда эта идея достаточно утвердилась в сознании государей прибрежных царств, было снаряжено множество морских экспедиций,

цель которых была одна – плыть всегда прямо, чтобы найти Землю Му или бросить якорь у противоположного берега материка. Чтобы гонцы скорее донесли весть о результатах плавания, атланты протянули через материк Великие трансконтинентальные тракты. Через каждые сорок поприщ на трактах стояли постоянные дворы со свежими сменными лошадьми; оседлать их имели право только гонцы с побережий. За всю атлантическую историю этот неписанный закон не нарушался ни разу. Даже в годы войн и мятежей гонец, несущий весть от одного побережья к другому, не опасался за жизнь и коня. Мечта вернуться на Землю Му по-прежнему жила в атлантах. Какому бы богу атлант ни поклонялся, как бы ни пылал мстостью и ненавистью, стоило ему услышать клич, извещавший о гонце с побережья, он вкладывал меч в ножны и спешил навстречу гонцу в надежде услышать, что тот несет весть от человека, который ступал по Земле Му.

Мировой океан после каждого успешного кругосветного плавания оказывался однако все пустыннее и пустыннее, пока не превратился в абсолютную пустыню. Ни один из мореплавателей не смог доказать, что нога его ступала по какой-нибудь другой, еще не нанесенной на карту земле.

Даже лемуры не убивали гонцов с морской почтой.

### 3

Истинные очертания материка долго еще оставались в точности не известными. Пересекши какой-нибудь мало еще обследованный большой залив или внутреннее море, наскоро разведав непроходимые джунгли или неприступные горы неизвестной земли, мореходы спешили поднять паруса и отправиться в обратный путь, чтобы пожинать лавры первооткрывателя нового материка. Замечательно, что тайны из морских карт с нанесенными на них новооткрытыми землями не делали даже капитаны купеческих республик и торгово-промышленных компаний. Очень скоро с карт снимались копии во всех проекциях, известных на тот момент атлантам: азимутальной экваториальной, азимутальной полярной, цилиндрической, конической, косо́й перспективно-цилиндрической. И теми же галсами от берегов отходили корабли, битком набитые конкистадорами, миссионерами, трапперами, каторжниками, золотоискателями, авантюристами. Но каково же было разочарование, когда рано или поздно, но всегда выяснялось, что новая земля – это все



та же старая, известная, давно открытая Атлантида.

После этого великого географического разочарования атлантическая цивилизация зашла в судорогах и корчах агонии, так обманчиво похожей на пышный расцвет. Неимоверная по силе культурная инерция, направлявшая всю жизнедеятельность атлантов, лишилась точек приложения, но совсем прекратиться не могла. Напротив, лишившись каких бы то ни было действительных ограничений, вроде неприступных гор, непролазных болот, бурных рек, непроходимых лесов, пустынной бесконечности океана, эта инерция обрела новую силу; могло бы показаться даже – неизмеримую возросшую и плодотворную, если забыть, во что в конце концов выродились поиски другой обитаемой суши, так долго придававшие смысл атлантической истории. Так, дикий лесной зверь, пойманный и посаженный в тесную зловонную клетку и вдруг выпущенный ввиду близкого леса, огромными скачками уносится прочь, взметая сугробы, не в силах совладать с бушующим в крови адреналином, чтобы тяжело рухнуть с разорвавшимся сердцем, сверх всякой меры надышавшись свободой. Одержимость, выпестованная атлантами в себе, не имея прежнего приложения к действительному порядку вещей, не имея каких-либо ограничений, вызвала к жизни самые причудливые теогонические, теософские и космологические системы, изощренные духовные практики, иступленные мистические культы и, главное, ввергла атлантическую цивилизацию в такое состояние духовности, которое вернее всего было бы назвать натурфилософским неистовством.

## **IV. АТЛАНТИЧЕСКАЯ ВИНА**

### *1*

Замечательно, что собственно атлантическая культура не знала сколько-нибудь талантливых и оригинальных произведений искусства, обладающих миметическим статусом, то есть подражающих жизни. Это была сильная, жестокая, целеустремленная раса, отвергшая дар творчества. Неудивительно, что на протяжении всей своей истории атланты отдавали предпочтение искусству лемуров.

Впереди дружины атлантов крался молодой лемур-разведчик, всматриваясь, приносясь, прислушиваясь, а в ее обозе полуслепой лемур-старик придерживал долбленный короб со струнами: после

сражения ему предстояло воспеть гекзаметром героев-победителей и оплакать павших; лазурные, охряные, алые росписи под сводами атлантических храмов писались живописцами-лемурами; монументальные статуи для дворцов и площадей атлантических городов высекались высекались скульпторами-лемурами; неудивительно, что первые трактаты по живописи созданы были тоже лемурами, равно как и первые теоретические Поэтики: вызов судьбы бестрепетно принимал герой-атлант, но его трагический монолог, сочиненный драматургом-лемуром, декламировал со сцены актер-лемур же.

Актер был в маске. Маска скрывала широкую, складчатую, подвижную переносицу вдохновенного лемура. Надеть маску атланта – это была честь, о которой мечтал всякий лемур. Воспроизводя на сцене героическую историю атлантов, лемуры как бы заново творили свою такую же. Преобразиться в атланта значило для лемура чуть-чуть преобразиться в могущественное божество без единого изъяна на сияющем грозном лице.

Воспоминания об охоте на атлантов не могли быть достоянием всех лемурийских племен. Охотиться на атлантов могли только лемуры, обитавшие там, где атланты появились впервые. Сами атланты прилагали огромные усилия, чтобы найти это место, которое они могли бы назвать своей прародиной, и так, собственно, и возникла историческая наука атлантов. За давностью прошедших лет главной своей задачи она, разумеется, решить не могла. Несомненно к тому же, что первые атланты, обнаружив себя в незнакомом, совершенно чужом и чуждом мире, предприняли первый свой героический поход в поисках утраченной родины, и трудно даже предположить, сколько они прошли в этой первой трагической попытке возвращения. Практически они могли пройти добрую половину материка, пока не остановились, обесилев. Тогда-то и разыгрывалась первая драма атлантической истории: стариков, раненых и больных на этом пути в никуда атланты оставляли лемурам, через земли которых проходили. (Эти эпизоды и вызвали к жизни широко распространенный в искусстве атлантов трагический сюжет выбора между родными. Героине приходится самой решать, кого оставить в живых: отца, мужа, сына, брата. Выбор ее всегда останавливается на брате: новый муж заменит ей прежнего, свекр заменит отца, нового сына она родит и только брата у нее уже не будет.)

Но как бы то ни было, когда началась эпоха освоения атлантами материка, лемурам они явились в другом облике – в облике организованных, неустрашимых, хладнокровных, безжалостных, как кинжал, существ иной природы, идущих неведомо откуда и неведомо куда. Слава об атлантах, передаваемая лемурами из уст в уста, от одного племени к другому, далеко опережала появление их самих, обрастая вымыслом, превращаясь в миф, так что когда атланты приходили, лемуры уже готовы были видеть в них богов, сошедших с неба, чтобы превратить изначальный Хаос в божественный Космос: истребить чудовищ, научить добывать огонь, обучить врачеванию и гончарному ремеслу, запретить кровосмешение, разбить первый огород, исполнить первый похоронный обряд, учредить праздники летнего и зимнего солнцеворотов, сурово покарать ослушников; хотя всеми этими начальными достижениями культуры лемуры владели задолго до атлантов.

Возводить начала своей культуры к установлениям атлантов лемуры побуждало обаяние победительности, присущей атлантам как расе. В некоторых лемурических мифах атлантам приписывалось даже доделение лемуры. Согласно этим мифам, лемуры сначала были немymi и незрячими, зато вечными. И только атланты прорезали им глаза и рты, научили видеть и говорить и показали путь в царство мертвых.

## 2

В разных частях Атлантиды и в разные исторические эпохи господствующее положение атлантов принимало разные формы: от тирании и рабовладения до очень нежестких симбиотических отношений. Особенно к закату атлантической цивилизации часто трудно было бы понять со стороны, где в том или ином государстве сосредоточена власть во всей своей полноте. У стороннего наблюдателя легко складывалось впечатление, что власть сосредоточена в огромных, причудливых дворцах кичливой лемурийской знати, богатства которой не поддавались учету, ежедневные пиры своим роскошеством превосходили нечастые общественные трапезы, устраиваемые атлантической властелой, обыденные выходы своей пышностью затмевали торжественные выезды короля. Иногда так оно и бывало на самом деле.

Собственная лемурийская история тоже знавала бурные всплески государственности. Довольно часто лемуры даже создавали могучие воинственные империи, изгнав атлантов. Лемурийские цари и импера-

торы, подчинив соплеменников, вооружив и обучив неисчислимую армию, наладив ее регулярное снабжение, незамедлительно выступали в завоевательные походы, чтобы распространить власть своей державы на весь мир. Рано или поздно полчища лемуров, подгоняемые боем барабанов и воем труб, накатывались на укрепленные позиции атлантов. Тогда, возможно, и родилась лемурийская пословица: «Смерть бледна и молчалива». Сколь бы долго ни длилась война, победителями всегда выходили дисциплинированные, прекрасно обученные, намертво спаянные духом товарищества, хладнокровные атлантические фаланги, легионы и полки.

Примириться с поражением своего воинства основной массе лемуров удавалось всегда легко. Победа атлантов знаменовала для них просто-напросто восстановление естественного и неизбежного порядка вещей.

К чести победителей, они не злоупотребляли плодами своих побед. Лемурийский император подвергался долгой и мучительной казни через многократное потопление или посажение на кол; лемурийская армия подвергалась милосердной децимации и распускалась по домам; убежавшие от казни методично вылавливались и обезглавливались поголовно (что и самими лемурами воспринималось тоже как должное); условия заключенного мирного договора соблюдались неукоснительно, даже если он оказывался невыгоден победителям: верность слову была условием выживания атлантов, пока их было слишком мало и они должны были взять на себя функции дипломатов и переговорщиков между племенами лемуров.

Стойкий аскетизм атлантов, коему лемуры не могли не отдавать должного и в коем одном склонны были видеть первейшее подтверждение превосходства атлантов, имел своей причиной комплекс вины, прочно укоренившийся в их сознании. Атланты бесспорно были изначально политеистами и со своими богами находились скорее в договорных отношениях, нежели ставили себя в отношения зависимости от них: жрецы приносили богам кровавые жертвы, каждому в его черед или по мере надобности, за что ожидали от них немедленной благодарности. Если благодарность регулярно запаздывала или вовсе отсутствовала, атланты сочиняли миф о смерти неблагодарного божества, разбивали его кумира, вырубали на дрова и постройки его священную

рощу и сочиняли новый миф. Новый миф рассказывал о рождении нового бога, его генеалогии, первых героических и культурных деяниях и о месте, которое ему предначертано занять в иерархии пантеона старших богов, освященной преданием. Идея единого всемогущего бога, полновластного творца мира, нуждающегося в жертвоприношениях как в символе почитания, но не как в единственном источнике своего существования, родилась у атлантов на Земле: должны же они были объяснить себе причину своего изгнания из рая, каковым стала для них утраченная Земля Му. Объяснением могла быть только идея собственной вины перед Творцом и Вседержителем, настолько тяжелой, что наказанием за нее стало низвержение в ад.

### 3

Совсем изменить свою природу у атлантов, разумеется, не вышло. Периодически рождались поколения, наделенные творческими потенциями. Тогда и у атлантов случались эпохи относительного расцвета собственного миметического искусства: ваяния, словесности, живописи. Поражает, тем не менее, что атлантами так и не был освоен реалистический пейзаж ни в литературе, ни в живописи, особенно при сравнении с лемурийским искусством. Когда лемуры давно уже научились создавать сочные, красочные, полные жизни и движения пейзажи, литературные и живописные, в искусстве атлантов господствовали условные, статичные, трафаретные картины не существующей ни в какой реальности природы. «Красотами разными украшена: озерами глубокими, реками быстрыми, лесами дремучими, – о ты, земля Атлантиды!» – восклицал атлант-книжник и более не думал о ландшафтах, в которых геройствовали князья и воины-атланты, воодушевляемые любовью к Отечеству. Собственно, перевод «земля Атлантиды» здесь совсем не точен: буквально читается «отечество Атлантида». Понятия Родины как определенного места атланты не знали. Соответственно, в их религиозных представлениях, даже самых архаичных, не найти и отголосков культа рождающей матери-земли. Атлант-земледелец не столько священнодействовал, выходя на пахоту, сколько готовился механически ковырять сохой неподатливый суглинок или пластать жирный чернозем, не важно. Пахота была для атлантов тяжким трудом, но не была священнодействием.

В религиозных культах атлантов вообще не замечается сколько-ни-

будь выраженной предметной образности. Даже в атлантической иконографии господствует абстрактное начало, пророки на иконах атлантов никогда не стоят на земле, а словно бы подвешены в воздухе на невидимых нитях. Характерно, что понятия святости нет ни в одном варианте атлантического монотеизма, зато обличительное пророчество очень было у них в чести, словно атланты сами отказывали себе в возможности искупить какую-то свою давнюю вину перед богом.

Думается однако, что упорное нежелание атлантического искусства смотреть на окружающий мир причиной своей имеет не только и не столько комплекс вины и добровольное отречение от радостей этого мира в пользу некоего иного горнего. Да и сама по себе стойкость атлантического комплекса вины должна же была чем-то подпитываться.

#### 4

В эволюционном отношении лемуры безусловно отставали от атлантов: обоняние, слух, ночное зрение лемуров были острее, мышечное чувство – тоньше, скорость вазомоторных реакций – выше, способность оперировать абстрактными категориями – ниже. В лемурийских языках не было обобщающей абстрактной лексики, вроде слов «снег», «дождь», «одежда» и под., но были разные слова для обозначения свежего снега, пороши, старого снега, фирна, мелкого дождя, проливного, слепого и проч.; лемур не мог сказать о ком-либо просто «одетый», «полураздетый» или «раздетый», но вынужден был всегда говорить буквально «в рубашке и штанах», «в штанах», «без штанов и рубашки»; «открыть» что-либо на лемурийских языках всегда буквально означало «дверь толкнуть» (mak-ki-du), даже если речь шла об открытии нового торгового пути, «ласково» – «женски говорить» (uk-gi), «убить» – «голову палкой ударить» (urg-ke-duk), даже после изобретения лука, а потом пороха. Неудивительно, что практически вся лемурийская абстрактная лексика заимствована из атлантических языков. Удивительно же то, что, переняв от атлантов саму привычку к абстрактному мышлению, именно лемуры явились творцами рациональной атлантической науки, точно так же как ранее атлантического искусства.

Странные и тонкие отношения установились между двумя расами, не лишённые взаимного интереса и очарования. Лемуров очаровывала непостижимая целеустремленность атлантов, их способность не

считаться с жертвами, упорное презрение к роскоши и излишествам. Самая физическая слабость атлантов (в сравнении с лемурами) стала в глазах лемуров признаком принадлежности к высшей расе. Лемуры переняли у атлантов все достижения их культуры, кроме одного: когда одним из важнейших элементов частной жизни атлантов стали физические упражнения, а это случилось довольно рано, а в их общественной жизни такое огромное значение приобрели спортивные состязания, прежде всего в военно-прикладных видах спорта, лемурийская знать пестовала в себе физическую слабость; в моду у нее даже вошло неумение плавать, хотя пловцами лемуры были отменными от рождения благодаря инстинкту и рудиментарным плавательным перепонкам на руках и ногах.

## 5

Космогония, принесенная атлантами с собой, не могла, разумеется, в неизменном виде пройти через все тысячелетия атлантической истории, и очистить ее от позднейших наслоений нельзя. В своем же развитом виде она описывает последовательное творение вложенных одна в другую обитаемых сфер. В низшую и худшую из них атланты однажды и были ввергнуты Вседержителем. Нечего, следовательно, было даже и пытаться понять Его замысел, познавая Его творение. Из познания этого мира могло быть извлечено только одно понимание – этот мир создан, чтобы служить наказанием. Теории света как потока светящихся атомов и запахов как потока пахнущих атомов атлантами были в свое время измышлены, но причиной тому послужило опять же не столько желание познать устройство мира, сколько объяснить, почему этот мир так отвратителен на вкус, запах и цвет. Не самое невероятное из объяснений гласило, что мир, из которого атланты были низвергнуты, состоял из других атомов, эти атомы светились по-иному и по-иному пахли.

## 6

Открытие, что Мировой океан – штормящая, туманная, бесконечная пустыня, сначала долго не могло стать достоянием всей атлантической культуры, долго не могло проникнуть и укрепиться в сознании атлантов. Когда же это произошло, атлантическую цивилизацию постиг глубокий кризис.

Земля Му, бывшая для первых атлантов воспоминанием о лесах, холмах, реках, рыбах, птицах и зверях, последующими поколениями сильно и разнообразно мифологизировалась. Северяне превратили ее в страну вечного лета и поместили в верховьях больших континентальных рек, степняки поместили ее за горами на горизонте, горцы превратили ее в недостижимо далекую равнину, и везде она оказалась населенной самыми диковинными существами. Но нигде не помещали ее на небесах, чтобы там пировали павшие в бою воины. Здравый смысл, выпестованный атлантами в себе, не позволял им верить в жизнь после смерти, в потустороннее царство мертвых. И он же заставлял верить в действительное существование Земли Му, на которую можно вернуться. Идея ее поисков всегда жила в атлантах и служила причиной завоевательных походов, в ходе которых побеждали, не имея цели завоевать, купеческих путешествий, суливших одни тяготы, лишения и убытки, научных экспедиций, состоящих из одних картографов. Теперь же, когда выяснялось, что возвращаться некуда и нечего более открывать, что все подвиги и жертвы были напрасны, что нет больше причин совершать новые подвиги и приносить новые жертвы, глубинное отчаяние стало подтачивать самые корни атлантической цивилизации.

Атлантическая властела облачилась в шелка, почувствовала на губах вкус редкостных вин, в любовных утехах забыла свой долг заботиться о благе подданных. Корысть стала склонять к мздоимству неподкупных наместников и градоправителей. Слово атланта утратило крепость, договоры стали нарушаться, клятвопреступления перестали вызывать удивление, братоубийственные распри стали разъедать атлантическое единство, как ржа железо.

Воинство утратило дух победительности и погрузилось в изобретение жестоких дуэльных кодексов, воинские искусства выродились в кровавое зрелище.

Аскеты допустили в сердца гордыню и тщеславие. Божественные заповеди подверглись сомнению, проповедники нашли утеху в изощренном красноречии и защите своих авторских прав. Паства их разбрелась, как слепые без поводыря, храмы пришли в запустение.

Нравственность стала вызывать насмешки, порочностью стали хвалиться. Вошли в моду лемурийские пляски, и не было греха, в ко-



тором нельзя было бы уличить атлантов, без разбора что знатных, что простолюдинов.

И в довершение всему атланты отступили от распорядка межфратриальных браков, верность которому хранили тридцать тысяч лет.

## **V. ПРИТЯЖЕНИЕ ЛУНЫ**

### *1*

В известном смысле взоры атлантов всегда были устремлены в небеса. Там они искали божественные знамения и исчисляли звезды для морской навигации. На Землю же атланты смотрели больше глазами зорких лемуров, нежели собственными. Лемуры были их проводниками, кормчими, рудокопами, строителями, земледельцами, коневодами и картографами.

Практически и вся атлантическая культура была создана лемурами. Атланты прекрасно направляли и распоряжались, но не могли творить новое. Высшая способность к тысячелетнему подвигу не оставляла места для импровизации и интуиции, которые одни побуждают к открытиям и усовершенствованиям, из которых вырастают искусство и наука.

### *2*

Принеся дар творчества в жертву атлантической идее, атланты не лишили себя однако способности верно оценивать усовершенствования, нововведения и открытия, совершенные другими. Собственно говоря, только трезвость, практицизм и ясность мышления атлантов позволяли лемурам устоять перед астрологическими и алхимическими химерами, пифагорейской магией числовых соответствий, схоластическими толкованиями сущностей, и без того очевидных, умственной игрой с произвольными абстракциями, якобы заключающими в себе все разнообразие живой жизни, соблазном громоздких классификаций без достаточных к тому единых оснований и прочими обольщениями самонадеянного разума, только-только пробующего свои познавательные силы. Сходясь наедине сами с собой, лемурийские философы, теологи, грамматик, риторы ругательски ругали косных атлантов, но в диспутах всегда оказывались наголову разбиты логикой здравого смысла, которой в совершенстве владели их оппоненты, прирожденные дипломаты и торгаши. Атланты не измышляли новых теорий, но мгновенно виде-

ли их слабые места, еле заметные лакуны в цепочке безупречных, казалось бы, силлогизмов, которыми упивались неуравновешенные лемуры. Важнейшим элементом лемурийской стратегии выживания всегда была чрезвычайная этикетность поведения, особенно при контактах с иноплеменниками. Чтобы неосторожное слово не вызвало обоюдной губительной вспышки ярости, лемур при встрече со всяким незнакомцем, которого не хотел убить, издали начинал улыбаться и демонстрировать пустые руки, разговор начинал с обязательных расспросов о пути, проделанном встречным, о здоровье его родных, оставшихся дома, охотно пускался в обстоятельное обсуждение погоды и столь же долго прощался, чтобы не получить удар в спину. Атланты изначально вынуждены были освоить лемурийский этикет в совершенстве. Изысканно вежливо, с чрезвычайно пространными выражениями уважения к оппоненту, атланты просили у него уточнений приведенным доводам, осторожно выражали свое сомнение в услышанном, учтиво предлагали обсудить некоторые примеры из практики, не укладывающиеся в концепцию оппонента, и в результате безжалостно разрушали грандиозные умственные построения лемурийских мыслителей, не оставляя от них камня на камне. Уязвленные и разгневанные, те возвращались к себе и, негодуя, восстанавливали руины, попутно устраняя ошибки. Так, совместными усилиями лемуров и атлантов их единая практически цивилизация быстро прошла долгий путь от первобытной магии слова, смежности и подобия к рассудочной, но безжизненной схоластике, а от нее – к зачаткам позитивистской науки, основанной на неумелом еще опыте. Имело, конечно, значение и то, что власть по-прежнему оставалась у атлантов.

И вот тут-то их и постигло великое географическое разочарование, лишившее их надежды на действительное возвращение, погрузившее их души в отчаяние, вызвавшее сумятицу в их умах, внесшее хаос в установления их частной и общественной жизни.

### 3

Наблюдательная астрономия, помогавшая ориентироваться на незнакомой местности и прокладывать курс в океане, всегда была в чести у атлантов; компас они изобрели раньше косого паруса; картографы нуждались в дифференциальном исчислении; астрономам требовались телескопы; нужды кузнечного ремесла диктовали развитие химии. Совершенствовать эти отрасли точного знания времени у лемуров было

в избытке – тысячелетия, так что некоторая приблизительность и нестрогость теоретизирования, присущая лемурам, искупалась интуитивными озарениями и практическими умениями, унаследованными от пращуров и неизмеримо усовершенствованными. Не имея зачатков кристаллографии, они научились выращивать в глиняных горшках кристаллы горного хрусталя размером с человеческую голову, чтобы вытачивать из них линзы для менисковых телескопов. Не создав строгой теории электромагнитных колебаний, они изобрели динамомашину и конденсатор. Явление магнетизма они объясняли родством магнитного железяка и железа, заставляющим их стремиться друг к другу, но мощные электромагниты строить, тем не менее, научились; земное притяжение они объясняли аналогичным образом – наличием «естественного» для каждого предмета места, к которому он и стремится, падая. Чтобы достичь атомарного уровня организации материи, они двести лет совершенствовались первобытную технологию дробления, пока не получили магнитный монополю. Технология так и осталась первобытной, но магнит, сплавленный из монополей северной ориентации, с невероятной силой притягивал даже камень, особенно если присоединить к нему динамомашину; магнит из монополей южной ориентации естественным образом отталкивался от камня. Чем больше он был по размерам, тем труднее было его удерживать в плавильном тигле, а потом у поверхности земли. Стоило кузнецам ослабить или как-нибудь не так сдвинуть по небрежности крепежные цепи, как раскаленный кусок тяжелого металла рвался и улетал в зенит по немыслимой траектории. Траекторию определял состав пород, залегающих под поверхностью земли в этом месте.

Никаких практических нужд эти открытия не преследовали. С их помощью лемуры доказывали упрямым атлантам, что звезды движутся по небесной тверди в соответствии с монохордами неслышимой музыки небесных сфер, токи флогистона пронизывают все сущее, материя бесконечно делима. Практическое применение всегда находилось позже. К примеру, открытие магнитного монополя привело, помимо прочего, к возникновению магнитной геологии. Наблюдая за траекториями монополюсных магнитов, лемуры научились искать месторождения золота и серебра и определять глубину их залегания без кирки и лопаты. Отсюда было недалеко и до открытия магнитотеллурического зондирования.

Хотя многие из своих интуитивных догадок лемуры не могли дока-

затя по объективным причинам. Так, умозрительной осталась гипотеза скрытой материи. По гениальной догадке неизвестного мыслителя такая материя должна состоять из атомов, которые никак не взаимодействуют с атомами обыкновенной материи. Чтобы ее доказать, нужны километровые ускорители тяжелых частиц, опутанные всяческой электроникой.

#### 4

Не желая смотреть под ноги и вокруг себя, атланты всегда держали взор поднятым к небесам. Сначала они высматривали там всяческие знамения и там же стали выискивать свидетельства тому, что Земля Му существует.

Существует если не на Земле, то хотя бы за другими небесными сферами. Даже самые схоласты не могли усомниться в действительности оплавленных камней и кусков железа, падающих с небес. Уцелевшие и найденные метеориты самым естественным образом обращались в фетиши, в объекты массового поклонения, а небесный огонь, их оплавивший, трактовался как эманация неубывающего божественного гнева. Взбунтоваться и ринуться в атеизм атланты, разумеется, не могли: чужеродность мира, которую они ощущали с прежней силой, ежечасно напоминала им о могуществе и гневе Творца, – но могли хотя бы попробовать добиться ответа, долго ли им еще пребывать здесь. Попытка возвести башню до небес, где Огонь полыхает, успехом не увенчалась, но полным успехом увенчалась другая титаническая и безумная попытка. Атланты вздумали построить ловушку для метеоритов. Поимка метеорита без следов оплавления ознаменовала бы, что огонь утихает, и, следовательно, вина искуплена и час Возвращения близок.

Усилиями лемуров в такую ловушку атланты превратили планету. По всей Земле задымились кузни, где плавилась монополярная магниты, забурлили чаны с кислотами, нужными для выплавки кобальта и магния, возводились и намагничивались каменные пирамиды. Направленные магнитные поля, исходявшие от них, складывались в огромную невидимую сеть, способную уловить любое небесное тело, пролетающее в экваториальной плоскости Земли на расстоянии сотен тысяч километров. Все это было сотворено мозолистыми лапами мускулистых лемуров. Единственное, в чем состоял вклад атлантов, так это в том, что они всеми силами направляли это строительство и создали математику, нужную для

расчетов такой сети. Математика, требующая неукоснительной последовательности и строгости мыслительных операций, оставалась единственной отраслью научного знания, в которой превосходство атлантов было незыблемым, несомненным и не оспаривалось даже лемурами.

Когда магнитная сеть полностью развернулась, ее магнитное поле протянулось далеко в космос и разорвало на куски десятый спутник Сатурна. На Землю обрушился метеоритный удар огромной силы, а Сатурн опоясался Кольцами из оставшихся на его орбите обломков. В довершение всему сеть зацепила небесное тело, в поперечнике в четыре раза меньше Земли. Если бы не сеть, тело пролетело бы сквозь Солнечную систему без следа, а так Земля обзавелась спутником.

## **VI. ГИБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ**

### **1**

Устрашающая красота ночного небосклона, расцвеченного огненными болидами, повергла атлантов в отчаяние. «Ярость Бога нашего на нас воздвиглась, небеса на нас огнем обрушились, день с ночью местами поменялись, переменилось естество атлантическое на зверское и лемурийское, и нет казни, какая нам не была бы обещана! Дома наши разрушены, земля кровью, как водой, напоилась, моря на нас вздыбились!» – восклицал анонимный книжник (для большей экспрессивности несколько архаизируя свой стиль). От братоубийственного сведения счетов, фатализма, религиозного пессимизма, гибели в пороках и излишествах атлантов спасло появление на небе ночного светила. Луна, притянутая к Земле, пролила на ее ночную поверхность холодный белый свет и вновь вдохнула в сердца атлантов надежду. Возможность выходить лунными ночами из домов и укрытий, которая у них отныне появилась, атланты восприняли как свидетельство скорой перемены своей участи. Морские приливы и отливы оказались не столь губительны, как представлялось вначале, изменения климата – благотворны. Инерция Луны сдвинула траекторию Земли дальше от Солнца, изменила наклон ее оси, и климат стал суше и холоднее, бесплодные джунгли превратились в богатую травой и зверьём саванну, бесконечные болота – в плодородные нивы. Казалось, сама Земля приготовилась стать атлантам подлинной Родиной.

Если бы притяжение Луны, сдвиг орбиты и смещение земной оси не нарушили равновесия Земли и не раскачали теллурических потоков в ее теле, а изменение ее магнитного поля не вызвало к жизни чудовищ, Пангея раскололась на Африку, Евразию, Америку, Австралию, и новые континенты начали свое расползание по поверхности геоида. Черепахи, крокодилы, игуаны, хамелеоны, змеи начали свое злокачественное, стремительное перерождение в динозавров.

## 2

Перерождение рептилий стало заметным уже через несколько поколений, когда из болотистых джунглей поползли безмозглые злобные твари, не ведающие страха. Атланты вышли на бой с ними плечом к плечу с лемурами и потерпели сокрушительное поражение. Пули, выпущенные из кремниевых ружей, не пробивали чешуйчатой брони чудовищ, чутунные ядра неповоротливых пушек пролетали мимо скачущего Ti-Rex'a. Полчища травоядных динозавров, гонимые голодом, принялись уничтожать посевы и рощи, а по пятам за ними шли кровожадные хищники и нападали на все, что двигалось.

Появление нового врага пресекло начавшиеся было распри между атлантическими государствами и вызвало к жизни технологический скачок в военном деле. Была воздвигнута Стелла Десяти Царств, изобретен напалм, а летающие колесницы, движимые магнитной левитацией, превращены в грозное оружие. Атланты пустили его в ход так же непреклонно, как делали все. Они залили напалмом экваториальные леса, заболоченные низины, заросли камыша в дельтах рек – все места, пригодные для кладки яиц, и наступила зима. Она и завершила уничтожение жизни на Земле, начатое атлантами. Дымы пожарищ закрыли солнце, похолодало, ручьи и реки покрылись льдом, все живое вымерзло, и будущие Австралия, Америка, Евразия и Африка расползались по поверхности планеты совершенно пустынными.

Какие-то виды растительности и животных, конечно, уцелели и приспособились; спустились в экваториальную зону и выжили некоторые северные атлантические и лемурийские племена, владеющие искусством выживания в приполярных областях, в зоне вечной мерзлоты, во льдах и снегах; эти племена сохранили что-то из достижений атлантической цивилизации, но сама цивилизация погибла.

---

– Надеюсь, я не очень вас утомил своим академизмом, – закончил Николай Мирликиевич, видимо устав.

– Так я не понял: откуда они взялись, атланты? – сказал Петр.

– Разве вы не слышали, не читали о параллельных мирах?! Да не может такого быть! Не думаете же вы в самом деле, что всё вокруг вас устроено так просто?!

---

## 5

---

Жизнь в Уточкиной к концу августа у них совершенно наладилась. Животик Небесной надулся, она давала его потрогать, погладить, допуская в молчаливый мир брюхатых, Люся со Светой весь день ходили притихшими сомнамбулами и о чем-то шептались и хихикали между собой, как две дурочки.

Лагерь Людей Радуги не был уже столь многолюден, как в мае. Неофиты и случайные любители хэппенингов разъехались, остались мастера (от англ. master в значении «знающий, владеющий знанием»). Кормились они с огорода Петра, главным образом. Каждое утро приходили по двое-трое и возвращались восвояси с овощами, фруктами и вегетарианским мясом.

Первый июльский ягня забавлял и радовал, как живая плюшевая игрушка, но к августу раскормился в жирного барашка, а с кустов с жалобным детским меканьем отпадали новые. Евстихий резал и обдирал их без всякого сожаления. Толкование барашкам я разыскал в одном из чудных bestiариев, а именно в так называемом «Азбуковнике Основного собрания», семнадцатый век. На странице пятьсот шестнадцатой читаем (лексика, синтаксис и орфография – оригинала; пунктуация приведена в соответствие; яти, еры, юсы малые и большие, йоты – по-большевистски похерены): «Татаре, которые заволские имянуются, имеют некие семена, подобны дынному, токмо менши да подоле. Те семена садят, а что из него вырастет – подобно ягненку. Латынски агнус, сиречь агнец, называют. Высота того ягненка блиско трех ног. Голова и ноги, токмо рогов нет. Вместо рогов шерсть вырастает высока <...> Мясо того ягненка сладко, паче всяких иных мяс. Корень того семени, на котором такие ягнята растут, велми велик и глубок в земли. Аки некие овощи, дозрев, отпадают от ветвей, тако

же и те ягнята от корене отстают и пасутся. И докоих мест корень тот в земли свеж, до тех мест и ягненки тот жив». (Подумать только – семнадцатый век, «Дон Кихот» сто лет как уже написан! Я, пожалуй, так и озаглавлю мою правдивую рукопись – «Славянский бестиарий» – заглавие высшей степени емкости! Но подумая еще.)

Серенькую безногую птичку чуть поболее воробья, упавшую как-то с неба, начетчик Евстихий трактовал так:

– Это манкодис-птица, иначе же птица-гамаюн, иначе же манкория, ея же райскою птицей именуют, – кержак без всякого уважения поднял мертвую птичку за хвостик. – На землю нигде не садится, понеже ног не имеет, падением же своим провозвещает смерть царей, или королей, или коего князя самодержавного. Залетает же из рая и износит оттуда благоухание чудное. Ишь, как наносит-то сладко!

Ягня я пробовал – на самом деле сладко, а райская птичка до меня не долежала – выбросили или прожорливый Хват слопал, не знаю.

---

## 6

---

Почти по-летнему теплым, но уже по-осеннему свежим вечером, закончив с дневными делами, усталые Люся, Света, Василий и Петр тесно сидели за столом перед домиком на лавке. Васька Косой присел на корточки сбоку и был почти невиден, только острая макушка его с детским хохолком торчала над досками. Евстихий устроился лицом к ним на табуретке, уперев натруженные руки в колени. Радуга, перекинувшаяся через падь с одного гребня до другого, сияла над его большой коренастой фигурой, как какой-то нимб.

– Вначале сотворил Бог небо и землю, – мерным глубоким голосом заговорил кержак. – Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

Догоняя, лежавший в густой траве возле туалета, насторожился, заслышав шорох, но снова положил голову на лапы. Смешно подпрыгивая и поводя длинными ушами, большой серый зверек выбрался из спутанных зарослей и мало-помалу подобрался к сапогам Евстихия.

– И ты, тварь бессловесная, хочешь послушать, – ласково сказал зайцу Евстихий. – Ну послушай, послушай... И был вечер, и было утро: день один.



И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле.

– Сейчас врежется, врежется! – закричала Света, захлопав в ладоши.

В возвышенной радужной перспективе, как ослепшая летучая мышь, порхала по небу лазурная, синяя, да какая еще уютно, атлантическая колесница, с каждым броском упорно приближаясь к облачку над ними. Скоро видно стало, как кожаный пилот-француз в очках-консервах энергично дергает поводья, относительно успешно направляя норовистый летательный аппарат в нужном направлении.

– Куда летит этот ...? – нежно просмеялась Небесная из-под осинки, оглаживая себя по голому животу.

– А ... его знает, Небесная, – отвечал Петр, подходя к ней и осторожно кладя руку на ее тугой теплый барабан. – ... его знает, летит куда-то. А может, из винта по нему врезать?

Новый затвор к генеральскому карабину раздобыл Анатолий Карасев. Он не оставил мысли сманить Петра на Таймыр или куда он там собирается.

(На меня он тоже, кстати, заимел виды. Узнав, что я биолог, не задумываясь предложил мне слетать в Австралию:

– Осенью в Австралии все холмы красные от рыжиков. Австралийцы их не едят: им, как всем южанам, все яркое кажется ядовитым, это у них инстинкт. Слтай туда на разведку, проверь: может, они и впрямь там стали ядовитыми. А то найдем папуасов – пускай они рыжики для нас собирают мешками и сушат, а мы их потом – к нам и будем какие-нибудь грибные консервы делать лучше шампиньонов или сразу китайцам продавать. Они из них какое-нибудь лекарство будут делать. Ну, посмотрим

еще, как лучше. А папуасам много платить не надо: мешок с бусами да метр ситца на повязки. Ситец мы им хоть километрами в Иваново будем закупать!

Я обещал подумать.)

## 7

– Посиди со мной, Сероглазый, – попросила Небесная Петра.

Люся со Светой вышли из-за стола, скрылись в домике-сараяе и скоро вышли с полиэтиленовыми сумками в руках.

Петр поднялся с земли и направился к ним.

Евстихий опустился на колени и принялся тихонько выдувать из тлеющих углей струйку дыма, Василий закурил вонючую «Приму» и отправился за оградой ковыряться в «Тойоте», а Косой бочком-бочком подобрался к удочкам и смылся на Уточкину. Охотника из него не вышло. Ему больше по нраву было доставать из быстрой воды большие куски пицци – холодных блестящих рыбин.

– Вода уже холодная, – осторожно предупредил Петр.

Люся засмеялась с болью и насмешкой в голосе:

– Она всегда холодная, зато сейчас там никого нет. Сегодня как – успешно все прошло? Много?

Петр улыбнулся:

– Успешно. Вам достанется. Может, лучше снова естественным образом?

Света зарделась, но Люся вновь решила за нее:

– А сейчас мы хотим чудесным!

Петр кивнул.

– Тогда я пойду с вами. Должен же я как-то поприсутствовать.

– Должен-должен, – согласилась Люся, замирая от интимного «ты». Решаясь вступить с ним в новые отношения, Люся со Светой долго ходили сами не в себе и вот решились.

Они спустились к Уточкиной и вышли к небольшой яме среди белых сучьистых берез. Там и вправду часа, пожалуй, полтора как никого не было, и вода, взбаламученная за день бездетными, успела отстояться. Главное было, чтобы вода втекала, поддерживая в яме постоянный уровень, но не вытекала и не уносила без толку и смысла драгоценное содержимое.

Но вода все равно быстро уходила в землю, приток пришлось сделать

большим, и ее циркуляция оказалась значительной. Добавлять в воду свое семя Петру приходилось два раза в неделю.

В густой тени под страшными березами было сыро и зябко. Раздеваясь, Люся со Светой ежились и медлили.

– Совсем надо?... – рука Светы задержалась на резинке.

– Ты что, в одежде опять хочешь? – рассмеялась Люся, спуская плапочки.

– А вот лифчик ты зря, конечно, сняла, подруга, – наставительно добавила она.

Сама она тоже, впрочем, обнажилась совсем. Сердце Петра дрогнуло и сжалось, когда он увидел пушистые хохолки своих верных и преданных подруг. Приседа в чистую холодную воду, они зачем-то пошло повизгивали. Они были слишком горды, чтобы согласиться «естественным образом» после другой, и они были женщины.

---

## 8

---

К будущей весне у него в Уточкиной будут новые соседи. Люди Радуги потихоньку скупают у нас участки за большие деньги; я свой уже продал. Они хотят потихоньку подкопаться под Золотого Будду, как земля оттает. Сколько знаю, против катакомб у себя под ногами Петр не возражает. Меня от продажи он отговаривал не очень настоятельно. Я решил, что лучше мне прожить свою собственную жизнь. А ему, конечно, не очень приятно было бы ежедневно видеть в моем лице напоминание о своем малодушии: ему предоставили случай совершить по-настоящему достойный поступок, предназначенный именно для него, для свершения которого именно он был создан, а он спихнул ответственность на другого.

Люся со Светой с того раза забеременели, и теперь с ним живут три женщины на сносях. Петр подбирает для младенцев звучные имена, и пока остановился на таких: Леонид, Лаврентий, Илларион; пробовался Исидор, но был отвергнут.

Зимовать он намерен в Уточкиной, и свободного времени у них нет. Они заняты заготовкой дров. Трелюют на собаках из тайги сушины и пилят их двуручной пилой. Угадай и Догоняй тяжело трудятся, как индийские слоны, вывешивая набок длинные красные влажные языки, а хитрый Хват отлынивает и за ним бегают по всему участку, когда наступает его очередь. Петра оскорбляет быть племенным жеребцом, и он

пытается хотя бы так заслужить свой кусочек райского сада, уготованную ему жизнь вечную (ну или почти вечную, если вспомнить Адама...). Он и сам, кажется, отдает себе отчет, что его нынешние труды – это немного чересчур. Я смотрел на них, смотрел, а потом не выдержал и спросил: зачем он сам себе устраивает лесоповал и как они всемером будут зимовать в сарае, занесенном снегом?

– Не в городе же нам в одной комнате жить! – помрачнев, отвечал он. – Ничего, как-нибудь. Как барсуки перезимуем... А может, и не будет у нас тут никакой зимы. Может, у нас тут всегда будет лето.

Так и будет. Луна уже и теперь странно видится из Уточкиной и действует на дворняг, прикормленных дачниками. Она висит в мглистой дымке над самым краешком ночной Земли, как раскаленная багровая глыба, словно не желает больше ходить по небосклону и светить чужим светом, словно мир достиг своих целей и некому и незачем отныне осуществлять жизнедеятельность. Странно стало в Уточкиной. Ночи стоят тихие, теплые, душноватые, как где-нибудь в междуречье Тигра и Евфрата, и дворняги бегают в ночной тишине и темноте беззвучно, словно понимают, что незачем больше им лаять.

Кержаков, целым обозом приехавших мародерствовать на развалинах города, спровадили восвосяи, внятно объяснив, что в противном случае посадят в приемник-распределитель как не имеющих паспортов и прописки; паспорта и прописку никто не отменял. Да они и сами убрались бы: город наш как стоял, так и стоит, что ему сделается.

Старый Рубен назвал Петру свое настоящее имя, но тайны имени не раскрыл. И так, как только прозвучало: «Меня зовут Тиглат Паласар Вахрадур Великий!» – в замшелых внутренностях домины треснуло, как раскаленный камень в ледяной воде, будто старый дом закричал, пробуя присесть всеми своими высокими тяжелыми этажами. (Ну, царствовала в Вавилоне династия Вахрадуров, и что?) Соблазнительную Валентину Петр пощупал, но золотая ли она – на ощупь не определил; что случилось со старшаком Серегой, долго ли Рубен продержал его в своих подземельях, он тоже не выяснял – какая разница?

Прежний наш губернатор, честнейший, милейший и добрейший Леонид Васильевич, трудяга, настоящий сибиряк, ушел в отставку. Он ведь родился и вырос в Сибири. Про мать его мне мало что известно (ну, тоже откуда-то из России), про отца же известно больше.

Отец его происходил из исконных Днепровских граборов. Граборы славились искусством в земляных работах, в котором достигли высочайшей степени совершенства. Они артелями нанимались на рытье канав, прудов, погребов, отсыпку плотин, плантовку лугов, торфяные работы, штыковку садов и огородов и все прочие работы с заступом и тачкой; большевики поначалу их не трогали. А потом началась сплошная коллективизация, и будущий отец нашего будущего губернатора оказался в Сибири. Не то морду набил активисту, не то еще чего натворил по горячей молодости, но нашлись добрые люди и дали ему мудрый совет – вырвать деревню из сердца и бежать, куда хватит сил. Вот он и побежал, и далеко забежал...

Котлован для нашего металлургического комбината рыли методом народной стройки. Молодой грабор споро долбил киркой каменистый сибирский суглинок и уже начинал привыкать к лаврам стахановца и ударника, его назначили бригадиром, он стал покрикивать на простых землекопов, которым в искусстве рытья было до него далеко, и тут в его судьбу опять вмешалась припадочная история молодой советской страны. Рабочих для индустриальных гигантов первых сталинских пятилеток не хватало и их наскоро клепали из чего попало – из крестьян. Когда «горячий цех» достроили, потомственного землекопа навсегда оторвали от земли. Его вынудили отложить любимую лопату с обожженным на костре черенком, чтобы мягче лежала в ладони, скинуть легкие лапти и облачиться в тяжеленные кирзовые башмаки на толстой подошве, брезентовую робу колом, войлочную шляпу с широкими полями – защитой от сыплющихся искр, и, обмирая, на негнущихся ногах приблизиться к черному чудовищу с железной пастью, готовой изрыгнуть длинную струю расплавленного металла, – встать к мартену. Так и вышло, что его сын – наш будущий губернатор – начал трудовой путь не на душистом покосе, а у мартена в душном «горячем цехе», учеником литейщика. А уж номенклатурная его карьера началась много позже и вовсе не была гладкой, как лысина вождя. Прежде он окончил политехнический институт и дорос до должности главного инженера комбината; а всякий, знакомый с производством, хорошо знает, что такое главный инженер крупного промышленного предприятия – это раскидистые дотошные мозги, это знание назубок всех фолиантов с микроскопическими допусками, ГОСТами, классами обработки поверхностей и марками стали, это непреклонный разум, способный со-

общить целенаправленное движение стальной, лязгающей, дымящей неодошевленной махине, чтобы в итоге сложного технологического процесса с рольгангов прокатного стана со звоном скатилась новенькая горячая труба. Это уж потом послушные коммунисты комбината по наводке обкома избрали Леонида Васильевича своим партсекретарем; потом его взяли в обком инструктором по промышленности и сельскому хозяйству. Ну а дальше – дальше известно: энергичного, толкового и, главное, честного партийца отправили подальше от борьбы за лучшее место у корыта. Его направили поднимать промышленность какой-то национальной тьмутаракани, и в нашу губернию он вернулся лишь на мутной волне новых времен, суливших обновление обветшалых государственных построек. Губернатором он, разумеется, стал нелегко и не сразу, но это отдельная история. После катастрофы на стадионе он подал в отставку, и теперь у нас новый губернатор. Поговаривают по секрету, сам он из остзейских немцев, а до губернаторства командовал пограничным округом в Туркмении, говорят – успешно; как он покажет себя у нас – посмотрим.

---

## 9

---

Что же ты так жестока к нам, милая Родина!

Или и впрямь вся наша долгая история есть одна тщетная попытка подпасть под действие всеобщего закона человечества, отмененного по отношению к нам?

## КОНЕЦ

*199... – август 2003 г., Улан-Удэ, пивной бар «Гамбринус».*



А. Игумнов



РОМАН

Отпечатано в ООО "НоваПринт" Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,  
ул. Ранжурова.1-4 Тел.: 8 (3012) 212-552, 212-220.  
Тираж 200 экз. Заказ № 2054